



ИЗДАНИЕ
М. В. ТОЛМАЧЁВА

АБРАМ ЭФРОС
(1888—1954)

СОБРАНИЕ ТРУДОВ

Подготовил
Михаил Толмачёв

ИЗДАНИЕ
М. В. ТОЛМАЧЁВА

АБРАМ ЭФРОС

**ПЕРЕВОДЫ
В СТИХАХ И ПРОЗЕ**

МЮНХЕН
2015

УДК 008 +821.161.1.032–1
ББК 71 + 84 (2Рос=Рус)6–5
Э 94

Эфрос А. М.

Э 94 Переводы в стихах и прозе / Сост. М. В. Толмачёв. — Мюнхен: Издание М. В. Толмачёва, 2015. — 448 с.

ISBN 5-905999-72

Сборник составлен из переводов 1909–1954 гг. с древне-еврейского, итальянского, французского, немецкого, польского языков.

УДК 008 + 821.161.1.032–1
ББК 71 + 84 (2Рос=Рус)6–5

© Наследники А.М. Эфроса
© М.В. Толмачёв (составление,
подготовка текста, биографическая
справка, указатель имен)

ISBN 5-905999-72

БИБЛЕЙСКАЯ ЛИРИКА

1.

ПЕСНЬ О РОДОВОЙ МЕСТИ

(«Песнь Лемеха». «Бытие», 4, 23–24.

За 1000 лет до Р.Х.)

...Адда и Цилла, — услышьте мой глас,
Лемеха жены, — внимлите словам:
Мужа убил я за рану мою,
И отрока за пораненье;
И если за Каина семиждь месть, —
За Лемеха — семьдесят семь раз.

2.

ЗАКЛЯТИЕ ПЛЕМЕН

(Фрагмент. «Заключение Ноя». «Бытие», 9, 26–27.

За 1000 лет до Р.Х.)

...Хвала Ягве, Богу Сима, —
Канаан же да будет рабом ему!
И пусть расширит Бог Яфета,
У шатров Сима пусть сядет он, —
Канаан же да будет рабом ему!

3.
ЗАКЛИНАНИЕ К БОГУ-ВОИТЕЛЮ
(Фрагмент. «Числа», 10, 35–36.
Около 1000 лет до Р.Х.)

...Встань на брань, о Ягве,
И да сгинут враги Твои,
И Твои супостаты да текут пред Тобой!
...Умирись, о Ягве
(И пошли благодать свою)
На мириады мириад Израиля!

4.
ПЕСНЬ О КОЛОДЦЕ В ПУСТЫНЕ
(Фрагмент. «Числа», 21, 17–18.
Около 900 лет до Р.Х.)

...Наполнись, колодец! — пойте ему, —
Колодец, что вырыт правителями,
Ископан вождями народными
Своим скипетром, своими посохами.

5.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЛЮБИМОГО СЫНА

(«Исаак – Иакову». «Бытие», 27, 27–29.

Около 800 лет (?) до Р.Х.)

...Истинно: запах от сына моего
Подобен запаху поля
Благословенного Ягве!
Да подаст тебе Бог от росы небес и от туков земли
Обилие хлеба и вина!
Да будут служить роды тебе,
И поклонятся тебе племена!
Да будешь владыкою ты братьям своим,
Сыновья твоей матери поклонятся тебе!
Да будут прокляты проклинающие тебя,
Благословенны благословляющие тебя!

6.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НЕЛЮБИМОГО СЫНА

(«Исаак – Исаву». «Бытие», 27, 39–40.

Около 800 лет (?) до Р.Х.)

...Так: далеко от туков земли — будет жилье твое
И без удела в росе — с вышних небес,
И от меча твоего — будешь кормиться ты,
И своему брату — будешь покорствовать
(Но время придет: и вот ты восстанешь, и падет его иго
с шеи твоей).

7.
ПЕСНЬ О ПОБЕЖДЕННОМ ПЛЕМЕНИ
(Фрагмент. «Числа», 21, 27–29.
Около 900 лет до Р.Х.)

Запевка

Идите в Хешбон!
— Да крепится и строится
— город Сихона!

Песнь

Вот прынул огонь из Хешбона,
— пламень из града Сихона;
Он пожрал столицу Моава,
— властелина высот Арнона.
Горе тебе, Моав!
— Погиб ты, народ Хамоса!
Беглецами он сделал сынов своих,
— дочерей — добычей сихонской!

8.
ГИМН БОГУ-ПОБЕДИТЕЛЮ
(«Песнь Деборы». «Кн. Судей», 5,2 сл.
1200 лет до Р.Х.)

Запевка

За то, что вожди водительствовали,
— За то, что народ ратоборствовал,
— славьте Ягве!

Песнь

Услышьте, цари,
— внимайте, властители!
Я хочу Ягве,
— я хочу воспеть Ему,
Взыграть к Ягве
— Богу Израиля.

* * *

Ягве! когда Ты шел из Сеира,
— выступал с полей Эдомских,
Земля тряслась, небо капало,
— и капали тучи влагою;
Горы шатались пред Ягве,
— пред Ягве, Богом Израиля!

* * *

В дни Самгара опустели дороги.
Кто шел прямо — пошел околицей.
Праздны пахари во Израиле, — праздны,
Пока ты не восстала, Дебора,
— не восстала ты, мать во Израиле!

.....
* * *

Воспрянь, воспрянь, Дебора,
— воспрянь, воспрянь, пой песню,
Подымись и ты, Барак,
— полони полон, сын Авиноама.

* * *

Сходились беглецы к предводителям,
— Народ Ягве сходил к вождям своим,
От Ефрема — старожилы Амалека,
А вослед — Беньямин с многолюдьем своим,
От Махира сходились правители,
— От Збулона — начертатели заповедей,
И князя Иссахара с Деборою,
И Барак, как Иссахар, в дол стопы принес.

* * *

Но в племенах Рувима раздумывают,
— Что сидишь ты между загонами
да слушаешь свирели пастушеские?
— В племенах Рувима раздумывают,
У Гилада за Иорданом спокойствие,
— Мореходствует Дан на путях своих,
Ашер мирно сидит у берегов морских,
— У заливов своих тихо жительствоует.

* * *

Но Збулон — вот народ, что жизнь на смерть обрек.
С ним Нафтали — на взгорях пажитей!

* * *

Пришли цари, сразились,
— Тогда сразились цари Канаана,
При Танаахе, у вод Мегидо,
— Но себе серебра не добыли,

С неба звезды в бой вступили,
В бой вступили с путей своих с Сисерою.
Поток Киссона понес его,
— Поток древний, поток Киссона.
Следом шествуй, душа моя, грозно!

* * *

Вспять понеслись тогда копыта конские,
От погони, погони за их витязями!

* * *

Прокляните Мерос! — приказал Ягве,
— Прокляните проклятием его жителей,
За то, что на помощь не пришли они,
— На помощь Ягве меж героями!

* * *

Будь славна между жен Иаиль,
— Между жен во шатрах будь славна она:
Он просил воды — молока подала,
— Дала чару молока наилучшего.
А свою руку к колу направила,
— Десницу ж к молоту рабочему,
Ударила Сисеру, била о голову,
— Ему прободила висок его.
К ногам ее пал, нисповергся он.
— А где пал, там и лег, бездыханный.

* * *

Из-за ставни глядит и взывает

— Мать Сисеры из-за решетки:

Что нейдет назад его конница?

— Что замедлился шаг колесниц его?

Отвечает умнейшая из придворных ей,

— И сама она вторит словам ее:

«Верно, взяли, делят добычу они,

— По одной женщине, по две на воина:

Много пестрых одежд для Сисеры,

— Много пестрых одежд, узорчатых,

Двуузорчатых, взятых с плеч пленников».

Концовка

Так да падут все Твои супостаты, Ягве!

Твои верные же — точно солнце, всходящее

в мощности!

9.

ГИМН БОГУ-ПОБЕДИТЕЛЮ

(«Исход», 15, 1 сл.

Около 800 л. (?) до Р.Х.)

Песнь начну я к Ягве,

— ибо ввысь Он вознесен;

Седока и коня

— Он в пучину низверг,

Но мне сила и слава,

— в Нем спасенье мое,

Вот мой Бог — и восславлю Его,

— Бог отца моего — и вознесу Его!

* * *

Ягве, муж брани,
— Ягве — имя ему.
Колесницы фараона
— Он в пучину низверг,
Ратоборцы отважные
— потонули в море Суф.
Поглотили пучины их,
— вглубь пошли они камнем.

* * *

Десница Твоя, о Ягве,
— могуча силой;
Десница Твоя, о Ягве,
— дробит супостата.
Обилием мощи Твоей
— сокрушаешь врагов Ты.
Извергаешь Ты гнев свой,
— как солому, он жжет их.

* * *

Дуновеньем ноздрей Твоих
— вздыбылись воды,
Вверх, текут и прянули,
— отвердели волны средь моря.

* * *

Позамыслил враг:
— «Погонюсь, понастигну я,

Разделю добычу я,
— и насытится ею душа моя;
Извлеку я меч свой,
— истребит их рука моя».

* * *

Но Ты дунул дыханьем своим,
— и покрыло их море,
Как свинец, потонули они
— в могучих водах.

* * *

Кто подобен Тебе
— средь богов, о Ягве?
Кто подобен Тебе,
— о взнесенный в святилище?
Страшный в дивных деяньях,
— творящий чудесное?

* * *

Ты простер свою руку,
— и покрыла земля их.
Ты провел благодатно
— народ, что избавил Ты,
Направлял его твердо
— к жилищу святыни Твоей.

* * *

Народы прослышали
— и задрожали,

Ужас объял
— жителей Филистии.
Тогда-то поникли
— князя Эдема,
Вождей Моава
— охватил трепет,
Стали унылы
— все жители Канаана,
Их обуяло
— смятенье и робость,
От мощи мышцы Твоей
— онемели, как камень.

* * *

Так пусть же пройдет
— народ Твой, Ягве!
Так пусть же пройдет
— народ, что обрел Ты!

* * *

Его принесешь Ты
— к удельной горе Твоей,
На место, что жительством
— себе Ты избрал, Ягве,
О, владыка, в святилище,
— что поставили руки Твои,
Где Ягве будет царствовать
— навсегда и во веки.

10.
ПЕСНЬ О ДВУХ ГЕРОЯХ
(Фрагмент. «1 кн. Царств», 18, 7.
Около 1000 лет до Р.Х.)

...Побил Саул свои тысячи,
А Давид — свои мириады!

11.
ПОВСТАНЧЕСКАЯ ПЕСНЬ
(Фрагмент. «3 кн. Царств», 12, 16.
Около 900 лет до Р.Х.)

...Нет нам удела в Давиде
И наследия — в сыне Исея
Расходись по шатрам, о Израиль!
Берегись же за дом свой, Давид!..

12.
ПЛАЧ ПО УМЕРЩВЛЕННОМ ВОЕНАЧАЛЬНИКЕ
(Фрагмент. «Давид — Абнеру». «2 кн. Царств»,
3, 33–34. Около 1000 лет до Р.Х.)

...Разве смертью бесчестною
— умереть было Абнеру?
Твоих рук не увязывали,
— твоих ног не оковывали, —
Отчего ж, как преступника, так тебя ниспровергнули?..

13.

ПЛАЧ ПО ГЕРОЯМ

(«Давид – Саулу и Ионафану». «2 кн. Царств»,
1, 19–27. Около 1000 лет до Р.Х.)

Лань, о Израиль, лежит на высотах твоих пораженная,
— как пали герои!

Не говорите в Гате,
— Не вещайте на стогнах Ашкелона,
Чтоб филистимские девы не радовались,
— Не ликовали дочери необрезанных!

* * *

Вы, горы Гильбоа!
Ни дождя, ни росы да не будет на вас, поля
смертные!

Ибо щит героев низвергнут здесь,
Щит Саулов, елеем помазанный.

* * *

Без крови поверженных,
Без тука могучих
Лук Ионафана не приходил назад,
И меч Саулов не возвращался втуне.

* * *

Саул и Ионафан, леповидные, слитные,
В жизни и смерти своей не разлучились они,
Орлов быстрейшие
И львов могущественнейшие.

Вы, девы Израиля,
— плачьте вы по Саулу,
Что одевал вас в пурпур,
— хитро изукрашенный,
Что золотым узорочьем
— обводил одеянья вам!

* * *

Как пали герои
— среди ратоборства!
Ионафан как пал,
— пронзенный на высях твоих!

* * *

Горько мне за тебя,
— Ионафан, брат мой,
Ибо очень любил я тебя!
Твоя же любовь мне была
— дивнее женской любви!

* * *

Как пали герои!
Как поверглись доспехи бранные!

1923

СКАЗАНИЯ О САМСОНЕ (Книга Судей. 13–16)

Сказание первое

...

²Жил-был один человек, из Цары, из рода Дана, по имени Маноах. А у него была жена, бесплодная и не рожавшая. ³Однажды объявился этой жене ангел Ягве и говорит ей: Хоть ты и бесплодная, и не рожает, а вот забеременеешь и родишь сына. ⁴Так ты пригляди за собой и ни вина, ни сикера не пей, и запретного ничего не ешь, ⁵потому что понесешь ты и родишь сына, которому бритва головы не тронет, и от самого чрева будет мальчик назореем Божиим.

⁶Бросилась тут женщина и говорит мужу: так и так, — Божий человек пришел ко мне, а вид у него словно бы у Божия ангела, очень страшный. А откуда он, я его не спрашивала, ⁷а имени своего он мне не сказывал; а объявил он мне, что вот-де забеременеешь ты, и родишь сына, — и вина, и сикера отныне не пей, и запретного ничего не ешь, потому-де назореем Божиим будет мальчик, от чрева и по самый день смерти. ⁸Стал тут Маноах молить Ягве: Не обессудь, говорит, Господи, — пусть Божий человек, что присылал ты, придет к нам еще раз и наставит нас, как поступить нам с мальчиком, который народится. ⁹Внял Бог просьбе Маноаха, и пришел Божий Ангел к жене снова. А она сидит в поле, а Маноаха, ее мужа, при ней нет. ¹⁰Заторопилась тут женщина, побежала, и рассказывает мужу: вот, говорит ему, опять объявился мне человек, который приходил ко мне намеренно. ¹¹Встал Маноах и пошел за женой следом.

Подходит он к человеку и говорит ему: Не ты ли будешь человек, который говорил с женой. А тот говорит: Я самый! ¹²А Маноах говорит: Станет вот сбываться твое слово, — какой же тогда будет устав для мальчика и какое обхождение? ¹³А ангел Ягве говорит Маноаху: Все, что я говорил женщине, то пусть и соблюдает. ¹⁴Ничего, что идет от виноградной лозы, пусть не ест, ни вина, ни сикера не пьет и запретного не ест: все, что ей наказал, то пусть и блюдет.

¹⁵Тогда Маноах говорит Ангелу Ягве: Позволь нам задержать тебя: мы тебе приготовили молодого козленка. ¹⁶А ангел Ягве говорит Маноаху: Даже ежели ты меня и удержишь, я твоего хлеба есть не стану. А вот ежели ты сделаешь всесожжение Ягве, то вознеси его. Но Маноах не понял, что это Ангел Ягве. ¹⁷Маноах и говорит Ангелу Ягве: Как твое имя? Вот сбудется твое слово, мы и станем величать тебя. ¹⁸А Ангел Ягве говорит ему: Незачем тебе спрашивать о моем имени: чудно оно!

¹⁹Тогда Маноах взял молодого козленка и хлебное приношение и вознес его на диком камне перед Ягве. Тут-то и случилось чудо, и Маноах с женой его видели. ²⁰Было так: когда пламя стало возноситься с жертвенника, то и Ангел Ягве вознесся в пламени жертвенника. Как увидели это Маноах с женой, так и упали лицом на землю.

²¹С тех пор Ангел Ягве не объявлялся больше ни Маноаху, ни его жене. Тогда-то дознался Маноах, — что это был Ангел Ягве. ²²Маноах говорит жене: умереть, видно, нам — Бога мы видели. ²³А жена ему говорит: Ежели бы Ягве хотел нашей смерти, Он бы не принял ни всесожжения, ни

мучного и не показал бы нам всего этого, о чем доселе мы даже и слухом не слышали.

²⁴И действительно, родила эта женщина сына и дала ему имя Самсон. Мальчик вырос, Ягве его благословил, ²⁵и начал дух Ягве в нем действовать в станове Дана, между Царой и Эштоалом.

Сказание второе

¹Как-то раз пошел Самсон вниз, в Тимнафу. Приглянулась ему в Тимнафе одна женщина, из филистимских девушек. ²Поднялся он назад и рассказывает отцу с матерью: Вот, говорит, женщина мне приглянулась в Тимнафе, из филистимских девушек. Так вы ее мне сейчас в жены засватайте. ³А отец с матерью ему говорят: Разве уж нет жены среди девушек твоей родни да среди всего нашего народа, что ты ходишь сватать жену у филистимлян, у необрезанных? А Самсон говорит отцу: А вот же ее именно и засватай мне, потому что она пришлась мне по сердцу.

[⁴Его отец с матерью не знали, что это от Ягве, что ищет он повода потягаться с филистимлянами, а филистимляне в ту пору держали Израиль под началом.]

⁵Вот пошел Самсон вместе с отцом и матерью вниз, в Тимнафу. Только дошли они до тимнафских виноградников, — глядь, молодой лев рычит ему навстречу. ⁶Нашел тут на него дух Ягве, — и разорвал он его, как разрывают козленка. А в руках у него даже и безделицы не было. Однако отцу с матерью он не сказал о том, что сделал. ⁷Спустился он вниз, переговорил с женщиной, и очень она пришлась Самсону по сердцу. ⁸Некоторое время спустя, отпра-

вился он опять, чтобы сватать ее, — и завернул поглядеть на львиную падаль. Смотрит — а в львином трупe пчелиный рой и мед. ⁹Набрал он его пригоршни — идет и ест. Пришел он к отцу с матерью, дал и им, поели и они, а он не говорит, что набрал меду из львиного трупa. ¹⁰Наконец, пошел его отец вниз за женщиной, и устроил Самсон пир, как делают обычно женихи. ¹¹Когда те увидели его, они выбрали тридцать дружков, чтобы они были при нем. ¹²А Самсон им и говорит: А ну-ка загадаю я вам загадку. Ежели разгадать-разгадаете вы мне ее за семь дней пира и ответ дадите, то я вам дарю тридцать нижних покровов и тридцать перемен одежд. ¹³А ежели не разгадаете — то вы мне дарите тридцать нижних покровов и тридцать перемен одежд. А они ему говорят: Загадывай твою загадку — слушаем. ¹⁴Он им и говорит:

— Из ядущего вышло ядомое,
А из сильного вышло сладкое.

И вот три дня не могли они разгадать загадки. ¹⁵Наступил седьмой день, и говорят они Самсоновой жене: Выпытай-ка у мужа, пусть он откроет нам загадку, а не то мы спалим огнем и тебя, и дом твоего отца. Обобратить нас, что ли, звали вы к себе!

¹⁶Стала тут Самсонова жена перед ним плакаться: Знать, говорит, ненавистна я тебе и не любишь ты меня, — загадал ты загадку моим единоплеменникам, а мне ее не открыл. А он ей говорит: я даже отцу с матерью не открыл, — так тебе, что ли открою! ¹⁷Так плакалась она перед ним семь дней, пока шел у них пир; когда же наступил седьмой

день, он открыл ей, потому что очень уж она к нему приставала; а она и открой загадку своим единоплеменникам.

¹⁸И вот говорят ему люди того города на седьмой день еще до того, как зашло солнце:

— Чему быть слаще меду?
И чему быть сильнее льва?

А он им и говорит:

— Когда б не пахали моей телушкой,
Тогда б не дознались моей загадки.

¹⁹Нашел тут на него Дух Ягве, спустился он вниз, в Ашкелон, убил среди них тридцать человек, взял их одежды и отдал наборы тем, которые разгадали загадку. Только разгорелся он гневом, и ушел он назад в отцовский дом.

²⁰А Самсонова жена вышла за дружка его, из тех, что был дружкой при нем.

Сказание третье

¹Спустя недолгое время, в дни, когда жали пшеницу, решил Самсон понавещать к своей жене для-ради молодого козленка: Зайду-ка, говорит, к жене моей в горницу. Глядь, — ее отец не пускает его войти. ²Отец ее и говорит: Думать было думал я, что крепко ты ее не взлюбил, — вот я ее и отдал твоему дружке. Но только ее младшая сестра еще лучше, нежели она, — так уж пусть она будет тебе вместо той. ³Но Самсон им говорит: на сей раз не будет на мне вины перед филистимлянами, ежели я над ними позлодействую.

⁴Пошел тут Самсон, наловил три сотни лисиц, оборотил хвостом к хвосту, набрал головешек и привязал по головне меж двух хвостов, ⁵потом зажег головни огнем, да и пустил на филистимские пажити. И повыжег он от копны до коло-са, и от лозы до оливы.

⁶Стали филистимляне говорить: Кто же это сделал? А те говорят: — Самсон, зять тимнафянина, за то, что тот взял его жену и отдал дружке. Тогда филистимляне пошли и сожгли и ее, и ее отца. ⁷А Самсон говорит им: Ежели вы так поступили, то уж и я потешусь над вами, а потом — отстану. ⁸И перебил он им ребра и голени великим побоищем. Потом пошел и засел в ущелье скалы Этам.

⁹Двинулись тогда филистимляне, и расположились лагерем в Иудее, сосредоточившись у Лехи. ¹⁰А иудейские люди им говорят: За что вы выступили против нас? А те говорят: Пришли мы изловить Самсона, чтобы сделать с ним, так же, как он с нами сделал. ¹¹Тогда три тысячи человек спустились из Иудеи к ущелью скалы Этам и говорят Самсону: Ведь ты же знаешь, что филистимляне владывают над нами, — что же это ты с нами сделал? А он им говорит: Как они со мной поступили, так и я с ними поступил. ¹²Они ему и говорят: Мы пришли, чтобы изловить тебя и передать в руки филистимлян. Самсон же им говорит: Поклянитесь мне, что вы меня не умертвите. ¹³Они ему говорят: Нет, говорят, мы только тебя изловим и передадим в их руки, а убить тебя — не убьем. Тут связали они его парой новых веревок и повели его от скалы.

¹⁴Дошел он до Лехи, — и заревели филистимляне ему навстречу. Нашел тут на него Дух Ягве, и стали веревки,

бывшие у него на мышцах, словно лен, попаленный огнем, так что лопнули на его руках петли. ¹⁵Отыскал он ослиную свежую челюсть, протянул руку, поднял ее — да и побил ею тысячу человек.

¹⁶Тогда-то Самсон вымолвил сказ:

— Челюстью ослиною — ослиную рать,
Челюстью ослиною — побил я тысячу человек!

¹⁷А как кончил сказ, швырнул он челюсть из рук и наименовал это место Рамат Лехи — Брошенная челюсть. ¹⁸Тут им овладела сильная жажда, и он взмолился к Ягве: Ты совершил, воскликнул он, рукой раба Твоего это великое спасенье. Неужто же теперь умереть мне от жажды и попасть в руки необрезанных? ¹⁹И что же, — Бог разверз овражец, который в Лехе, из него потекла вода, он напился; вернулось к нему мужество, и ожил он. Вот почему и зовется еще и по сей день в Лехе: «Источник Молящего».

[²⁰*Судьей же Израильским он был в дни филистимлян двадцать лет.*]

Сказание четвертое

¹Однажды совершил Самсон путь в Аду. Там увидел он блудную женщину и зашел к ней. ²Среди адетян — говор: Самсон-де пришел сюда. Стали они ходить вокруг да подстергать его всю ночь у городских ворот. Так прохоронились они целую ночь, говоря: рассвета еще не будет, а мы уже прикончим его.

³Самсон же пролежал до полуночи. А в полночь он встал, ухватился за двери городских ворот и за оба кося-

ка, — да и поднял их вместе с затвором, да положил себе на плечи, да и отнес их на вершушку горы, что перед Хевроном.

⁴После того полюбилась ему одна женщина, в долине Сорек. Имя ее — Делила. ⁵Пришли к ней филистимские богатеи и говорят ей: Выпытай у него и доведайся, в чем такая его великая сила и как бы нам его изловчиться его связать и укротить. Мы же дадим тебе по тысяче и сто серебра каждый.

⁶И вот Делила говорит Самсону: Открой мне, в чем великая твоя сила и чем бы можно тебя связать, чтобы укротить? ⁷А Самсон ей говорит: Ежели будут меня вязать семью сырыми тетивами, которые еще не просохли, то разом ослабну я и буду, как один из людей. ⁸Тогда филистимские богатеи принесли ей семь сырых тетив, которые еще не просохли. Она его ими связала. ⁹А засада сидит у нее в горнице. И вот она ему говорит: Филистимляне против тебя, Самсон! И порвал он тетивы, как рвут бичеву из пакли, попаленную огнем. Так и не разгадана была его сила.

¹⁰Тогда Делила говорит Самсону: Видишь, ты обманул меня и наказал мне розказней. Так теперь уж ты мне открой, чем бы тебя связать. ¹¹Он ей говорит: Ежели будут меня вязать новыми веревками, которые не были еще в работе, — то разом ослабну я и буду как один из людей. ¹²Взяла Делила новые веревки и связала его ими. Вот она и говорит ему: Филистимляне против тебя, Самсон! А засада сидит у нее в горнице. И сорвал он их со своих мышц, как нить.

¹³Тогда Делила говорит Самсону: Опять ты насмеялся надо мной и наказал мне розказней. Открой мне, как тебя связывать. Он говорит ей: А вот сплети семь кос моей го-

ловы с пряжей. ¹⁴Прикрепила она их к основе и говорит: Филистимляне против тебя, Самсон! Очнулся он ото сна, да и выдернул прядильную основу вместе с пряжей.

¹⁵Тогда она ему сказала: Что же говоришь ты: «люблю тебя», но твое сердце не со мной. Три раза ты надо мною насмеялся, а так и не открыл мне, в чем твоя великая сила.

¹⁶С этих пор принялась она что ни день томить его своими речами и досаждала ему. Затосковала тут душа его до смерти, ¹⁷и раскрыл он ей все свое сердце. Он сказал ей: Бритва не трогала моей головы, потому что я — назорей Божий, от чрева матери. А вот ежели остричь меня, — то и отступит-ся от меня моя сила, и стану я, как каждый человек.

¹⁸Увидела тут Делила, что он раскрыл ей все свое сердце, и послала она звать филистимских богатеев. Приходите, говорит, на сей раз, так как он раскрыл мне все свое сердце. Пришли филистимские богатеи, принесли с собой серебра. ¹⁹А она усыпила его на своем лоне, потом позвала человека, и приказала ему срезать семь кос с его головы, и вот стала она его испытывать, — глядь, сила-то его от него отошла. ²⁰Тогда она говорит: Филистимляне против тебя, Самсон! А он очнулся ото сна и говорит: Выйду-ка, как в те разы, да потешусь я! [*Он не знал, что Ягве отступился от него.*] ²¹Схватили тут его филистимляне и выкололи ему глаза. Потом повели его в Аду и оковали его медными цепями. И стал он молотильщиком в тюремном доме. ²²Волосы уже у него стали на голове после острижения отрастать.

²³Как-то раз собрались филистимские богатеи принести великую жертву Дагону, своему богу, и попраздновать: предал, говорят, наш бог в руки нам Самсона, нашего не-

друга. ²⁴А народ на него глядел и славил своего бога: Вот, говорит, предал наш бог в руки нам нашего недруга, разорителя нашей земли и умножителя наших убитых. ²⁵Потом, когда повеселело у них на сердце, стали они кричать: позовите Самсона, пусть он потешит нас! И вот позвали Самсона из тюремного дома, и стал он потешать их. Поставили же они его среди столбов. ²⁶Самсон и говорит отроку, водящему его за руку: поставь меня так, чтобы мог я ощупать столбы, на которых покоится здание, — я и прислонюсь к ним. ²⁷А здание было полно мужчин и женщин, были там все филистимские богатеи, а на кровле было до трех тысяч мужеского и женского пола, глядевших на Самсоновы потешания.

²⁸И вот вскричал Самсон к Ягве: Ягве, сказал он, Владыко, помяни же меня и укрепи же меня, — лишь на сей раз, Господи, — да отомщу я филистимлянам единым отмщением за оба глаза мои!

²⁹Охватил тут Самсон оба срединных столба, на которых покоится здание, и сдавил их: один — правой рукой, а другой — левой. ³⁰И проговорил Самсон: «Умри, душа моя, вместе с филистимлянами!» .Уперся он во всю мочь — и рухнуло здание на богатеев и на весь народ, бывший в нем, так что умерших, которых умертвил он, умирая, было больше, нежели умертвил он при жизни.

³¹Пришли тут его братья и весь его отцовский дом, взяли его, пошли и похоронили его между Царой и Эштоалом, в склепе Маноаха, его отца.

Судьей же Израильским был он двадцать лет.

КНИГА РУФЬ

Глава первая

¹Это было в дни, когда Судьи правительствовали, и голод был в стране: пошел тогда некий человек из Бетлехема в Иудее искать себе пристанища среди пажитей Моава, — себе и своей жене, и своим двум сыновьям. ²И имя тому человеку: Элимелек-Богородитель, а имя жены его: Нооми-Любезная, а имя двух сыновей его: Махлон-Болезненный и Кильон-Недолговечный, — все эфратяне из Бетлехема в Иудее.

Пришли они на пажити Моава, там и прижились. ³Но вот умер Элимелек-Богородитель, муж Нооми-Любезной, и осталась она с обоими сыновьями. ⁴Они же взяли себе в жены моавитянок: имя одной Орпа-Своевольная, имя другой Руфь-Верная; и прожили они там около десяти лет. ⁵Но умерли и они оба, Махлон-Болезненный и Кильон-Недолговечный, и осталась женщина одна, без обоих своих сыновей и без мужа. ⁶Тогда она со снохами собралась и пошла с пажитей Моава назад, потому что на пажитях Моава она прослышала, что Ягве умилился над своим народом и уродил ему хлеба. ⁷И вот покинула она то место, в котором жила, и с нею обе ее снохи.

Но когда они пошли в путь, чтобы вернуться в землю Иудеи, ⁸Нооми-Любезная говорит обоим снохам: — Ступайте, вернитесь каждая в материнский дом, и пусть будет к вам ласков Ягве, как вы были ласковы с умершими и со мной. ⁹Даст Ягве — еще обе вы найдете пристанище опять в доме мужа. И она поцеловала их. Но они подняли голос и

заплакали, ¹⁰и сказали ей: Нет, мы хотим с тобой вместе вернуться к твоему народу. ¹¹Нооми же Любезная говорит: — Вернитесь, дочери мои, зачем вам со мной идти? Разве еще есть сыновья в моем чреве, которые могли бы стать вам мужьями? ¹²Вернитесь, дочери мои, ступайте назад, — стара я уже, чтобы снова стать мужнею. Ведь даже если бы и думала я : есть у меня надежда, и еще нынче же ночью буду я с мужем и рожу сыновей, — ¹³то и тогда, разве могли бы вы ждать, пока они вырастут, и разве могли бы дотоле жить безмужними? — Нет, дочери мои, ибо очень тревожусь за вас, так как тяготеет на мне рука Ягве! ¹⁴Тут подняли они опять голос и заплакали, но Орпа-Своевольная распрощалась со свекровью, Руфь же Верная так и осталась с ней.

¹⁵А та опять и говорит: — Вот твоя невестка вернулась к своему народу и к своим богам, — пойди и ты следом за твоей невесткой! ¹⁶Но Руфь-Верная говорит: — Не понуждай меня оставить тебя и не идти за тобой... — Нет!

— Куда ты пойдешь, туда и я пойду,
Где ты будешь жить, там и я буду жить,
Твой народ есть мой народ,
И твой Бог есть мой Бог,
И где ты умрешь, там и я умру,
И буду лежать в могиле.
Пусть воздаст мне Ягве, и пусть усугубит Он,
Если не смерть одна меня разлучит с тобой!

¹⁸Увидала та, что она упорствует продолжать путь вместе с ней, и перестала ее уговаривать. ¹⁹Так и шли они вдво-

ем, пока не добрались до Бетлехема. Когда же вошли они в Бетлехем, то зашумел весь народ вокруг них, и поднялся говор: — Неужели же это Нооми-Любезная?

²⁰Но сказала им Нооми-Любезная:

Не зовите меня Нооми-Любезная,
А зовите меня Мара-Горькая,
Ибо великую горесть Всемощный послал на меня.

²¹Полною уходила в дорогу я,
Но пустой вернул Ягве меня.
Зачем же звать меня Нооми-Любезная,
Когда Ягве обратился против меня
И Всемощный послал мне несчастье?

²²Так и вернулась Нооми-Любезная, с нею Руфь-Верная, моавитянка, ее сноха, пришедшая с пажитей Моава, и пришли они в Бетлехем в начале жатвы ячменя.

Глава вторая

¹У Нооми же Любезной был родственник по мужу ее, человек многоимущественный, из рода Элимелека-Богоподвластного, а имя ему Бооз-Высокородный. ²Однажды говорит Руфь-Верная, моавитянка, Нооми-Любезной: — Пойду-ка я в поле, да посберу колосьев после кого-нибудь, в чьих глазах я найду милость. А та говорит ей: — Ступай дочь моя.

³И вот пошла она, пришла и принялась собирать на поле, следом за жнецами. И нечаянно случилось так, что участок поля принадлежал тому Боозу-Высокородному, который был из рода Элимелека-Богоподвластного. ⁴Бооз же Высо-

кородный как раз пришел из Бетлехема и говорит жнецам: — Ягве в помощь вам! А те ему в ответ: — Благослови и тебя Ягве! ⁵Бооз же говорит своему слуге, присматривавшему за жнецами; — Чья это юница? ⁶А слуга, присматривавший за жнецами, говорит в ответ: — Эта юница — моавитянка, вернувшаяся с Нооми-Любезной с пажитей Моава; ⁷она сказала: — нельзя ли мне будет поднимать и собирать колосья следом за жнецами? Пришла же она и осталась с самого утра по сейчас, и ни на минуту даже не отдохнула. ⁸Тогда сказал Бооз-Высокородный Руфи-Верной: — Вот что, дочь моя, не ходи никуда на другое поле за сбором, отсюда не удаляйся, а оставайся здесь возле моих работниц; ⁹смотри в поле, где они жнут, за ними следом и ходи. Я же отдал приказ моим слугам, чтобы они тебе не препятствовали. А как почувствуешь жажду, тогда иди к сосудам и пей оттуда же, откуда черпают мои слуги. ¹⁰Тут пала она ниц, поклонилась до земли и сказала ему: — Чем снискала я в твоих глазах милость, что ты так ласков со мной? Ведь я же чужеземка! ¹¹И ответил Бооз-Высокородный и молвил ей так: — Сказывать сказывали мне про все, что ты сделала для твоей свекрови, после того как умер твой муж: и то, что оставила ты отца, и мать, и родных, и то, что пошла ты к народу, тебе неведомому ни со вчерашнего, ни с третьего дня. ¹²Пусть Ягве воздаст тебе за твое поведение, и пусть полной мерой будет тебе награда от Ягве, Израилева Бога, под чьими крыльями пришла ты искать пристанища. ¹³И ответила она: — Я нашла милость в твоих глазах, мой господин, раз так утешил меня и так по сердцу говорил со своею служанкой, хотя даже ни одной из твоих служанок я не ровня. ¹⁴В обеденный час опять говорит ей Бооз-Высокород-

ный: — Иди сюда, ешь хлеб и макай в уксус твой кусок. Села она возле жнецов, и он подал ей хлеба, так что не только она наелась досыта, но даже и осталось. ¹⁵Потом она поднялась, чтобы продолжать сбор, а Бооз-Высокородный наказал своим слугам следующее: — Пусть она подбирает далее между снопами, а вы ее не обижайте. ¹⁶И даже еще из снопов понадергайте для нее и оставьте, пускай собирает, вы же и словом ее не троньте. ¹⁷Так и собирала она в поле до самого вечера; когда же намолотила она то, что собрала, то вышло около одной меры ячменя. ¹⁸Подняла она это, пошла в город, показала свекрови, сколько она насобира-ла, выложила и отдала ей все, что осталось после того, как она насытилась. ¹⁹Свекровь же говорит ей: — Где это ты сегодня собирала, где работала? Будь он благословен, милостивец твой. Тогда рассказала она свекрови, у кого она работала, и промолвила: — Имя человека, у которого я сегодня работала, Бооз-Высокородный. ²⁰А Нооми-Любезная и говорит снохе: — Благослови его Ягве за то, что он не оставил своей милостью ни живых, ни умерших. И еще говорит ей Нооми-Любезная: — Кровный нам человек-то; из наших родных! ²¹А Руфь-Верная, моавитянка, говорит: — То-то он мне сказал: оставайся возле слуг, которые принадлежат мне, пока они не кончат всей жатвы, что у меня есть. ²²Нооми же Любезная отвечает Руфи-Верной, своей снохе: — Хорошо, дочь моя, что ты будешь выходить вместе с его служанками, этак никто не обидит тебя на чужом поле. ²³Так и осталась она собирать со служанками Бооза-Высокородного, пока не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, а после опять зажила со своей свекровью.

Глава третья

¹Однажды сказала ей Нооми-Любезная, ее свекровь: — Дочь моя, все-то ищу я тебе пристанища, чтобы было тебе хорошо. ²Так вот: Бооз-Высокородный, родственник наш, со служанками которого ты была, он, ведь, нынче ночью веет на гумне ячмень. ³Поэтому умойся, умастись, надень на себя, что понаряднее, да и спустись на гумно. Знать же себя этому человеку ты не давай, доколе он не кончит есть и пить. ⁴А как ляжет он спать, ты выведай то место, где он ляжет, и пойди туда, да и открой у него место у ног, да и ляг, а уж там он тебе скажет, как тебе быть. ⁵Та и говорит ей: — Как ты мне сказала, так я все и делаю. ⁶И вот спустилась она на гумно, и сделала все, как наказывала ей свекровь. ⁷Между тем Бооз-Высокородный наелся, напился, и стало ему на сердце хорошо, и пошел он спать за скирду зерна. Она же тихонько подошла, открыла место у его ног и прилегла.

⁸Вот о полночь вздрогнул человек нагнулся, — видит, женщина прилегла к месту у его ног. ⁹Он и говорит: — Кто ты? А она говорит: — Руфь-Верная я, раба твоя, простри покрывало твое над твоей рабой, ибо ближайший родственник ты, бракообязанный мне! ¹⁰И говорит он: — Благослови тебя Ягве, дочь моя. Этот последний добрый твой поступок еще лучше, нежели первый: не пошла ты за людьми молодыми, ни за бедными, ни за богатыми. ¹¹Так вот, дочь моя, не бойся: как ты скажешь, так все тебе и сделаю, затем что у всех городских ворот люди знают, что женщина доблестная ты! ¹²Только вот: хотя, конечно, и правда,

что я бракообязанный тебе, однако, есть еще более близкий бракообязанный, нежели я. ¹³Пережди эту ночь, а завтра будет так: если захочет он тебя взять — что делать, пусть берет, а ежели не захочет тебя взять — я за себя возьму тебя, как Ягве жив! Спи же до утра!

¹⁴Так и проспала она у места у его ног до утра, а поднялась раньше, чем один человек может опознать другого, потому что он сказал так: не должно никому знать, что приходила женщина на гумно. ¹⁵Он и говорит ей: — Возьми-ка верхнюю одежду с себя и поддержи ее. Стала она держать, а он отмерил ей шестерку ячменя, взвалил на нее, и пошла она в город. ¹⁶Вот пришла она к свекрови, а та и говорит: — Ну как, дочь моя? Она и рассказала ей, как поступил с ней тот человек; ¹⁷и еще сказала: — Эту шестерку ячменя он мне дал, промолвив: не возвращаться же тебе ни с чем к твоей свекрови. ¹⁸И сказала та: — Оставайся здесь, дочь моя, пока не узнаешь, как все обернулось, потому что человек этот не успокоится, пока не окончит сегодня же этого дела.

Глава четвертая

¹Бооз же Высокородный поднялся к городским воротам и сел там. И вот как раз идет тот самый ближайший родственник, о котором говорил Бооз-Высокородный. Он и говорит: — Зайди-ка, присядь здесь, имярек. Тот зашел и присел. ²А он взял десять человек из городских старейшин и говорит: — Присядьте здесь. Сели и они. ³Он и говорит ближайшему родственнику: — Кусок поля, принадлежащий Элимелеку-Богоподвластному, родичу нашему,

Нооми-Любезная, та что вернулась с пажитей Моава, вынуждена продать. ⁴Вот я и подумал, что должен довести до твоего слуха такое слово: — Соверши куплю в присутствии сидящих здесь и старейшин моего народа. Если хочешь выполнить долг ближайнего, то и будь ближайним; если же долга ближайнего выполнить не хочешь, то скажи мне, чтобы я был извещен, ибо кроме тебя нет никого, кто был бы к тому обязан, а лишь я после тебя. Тот и говорит: — Я выполню долг ближайнего. ⁵Бооз-Высокородный говорит: — Раз ты покупаешь поле из рук Нооми-Любезной, тем самым и Руфь-Верную, моавитянку, оставшуюся после покойного, ты тоже покупаешь, дабы восстановить имя умершего в его уделе. ⁶А ближайший и говорит: — Не могу я выполнить долга ближайнего, иначе расстрою свой удел. Сделай ты, как ближайний, то, что должен был бы по ближайшему родству сделать я, потому что я выполнить долга ближайнего не могу. ⁷А искони было у Израиля при родовом выкупе и обмене так: чтобы такое дело закрепить, снимал человек с себя башмак и давал его другому, это и есть у Израиля сделка. ⁸Вот и говорит ближайший родственник Боозу-Высокородному: — Покупай ты себе! и снял башмак. ⁹Тут говорит Бооз-Высокородным старейшинам и всему народу: — Вы свидетели нынче, что я откупаю у Нооми-Любезной все, что было у Элимелека-Богоподвластного, и все, что было у Кильона-Недолговечного и у Махлона-Болезненного. ¹⁰Но тем самым и Руфь-Верную, моавитянку, жену Кильона-Недолговечного, откупаю я себе в жены, чтобы восстановить имя умершего в его уделе, дабы имя умершего не искоренилось между его родича-

ми и у ворот его родного города, тому вы свидетели нынче!¹¹ И весь народ, который был у городских ворот, и старейшина сказали: — Свидетели мы! Пусть Ягве уподобит жену, входящую в твой дом, Рахили и Лее, которые построили вдвоем дом Израиля; величайся же среди Эфрата, да будет славно твое имя в Бетлехеме.¹² А потомством, которое пошлет тебе Ягве от этой юницы, пусть уподобиться твой дом дому Переса, которого Фамарь родила Иуде.

¹³ Так вот и взял Бооз-Высокородный Руфь-Верную, и стала она ему женой, и вошел он к ней, и Ягве послал ей беременность, и родила она сына.¹⁴ Тогда сказали женщины Нооми-Любезной: — Благословен Ягве, который не отказал тебе ныне в родимом внуке, пусть повторяют имя его в Израиле,¹⁵ и пусть он будет тебе покоем души и благодетелем твоей старости, потому что ведь и родила его твоя сноха, которая так любит тебя и которая лучше для тебя, нежели семь сыновей.¹⁶ Взяла тут Нооми-Любезная дитя и прижала к своей груди, и принялась его пестовать,¹⁷ а соседки и имя ему дали, говоря: — Сын родился у Нооми-Любезной, и дали они ему имя: Овед-Опора. Это и есть отец Ишая, отца Давида.

[¹⁸Родословная же Переса такова: Перес родил Хесрона,¹⁹а Хесрон родил Рама, а Рам родил Аминадаба,²⁰а Аминадаб родил Нахшана, а Нахшан родил Салмона,²¹а Салмон родил Бооза, а Бооз родил Оведа,²²а Овед родил Ишая, а Ишай родил Давида].

1925

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

Глава первая

- ¹О пусть он целует меня
поцелуями уст своих!
Ибо лучше вина
твои ласки!
- ²Запах —
приятный у масл твоих,
елей изливаемый —
имя твое,
оттого
тебя девушки любят!
- ³Влеки ты меня!
За тобой побежим мы!
Он привел меня, царь,
в покои свои.
О тебе
возликуем и возрадуемся мы!
Вспомним ласки твои,
что лучше вина!
Истинно,
любят тебя.
- ⁴Черна я,
но красива,
девы

Иерусалима,
как шатры Кейдара,
как завеса
Соломона!

⁵На меня не смотрите,
что я смугловата,
что сожгло меня
солнце!
Сыновья моей матери
на меня рассердились,
стеречь виноградники
поставили меня;
моего виноградника
не сберегла я.

⁶Скажи мне, ты,
кого любит
душа моя:
где ты пасешь?
где
ты покоишь в полдень стада?
Для чего мне быть
печальной
возле
стад товарищей твоих?

⁷Коль не ведаешь ты,
прекрасная

в женах,
то пойдй себе
по следам овец
и паси
козлят твоих
возле
жилищ пастухов.

⁸Кобылице моей
в колеснице фараона
уподобил тебя я,
подруга моя!

⁹В нанизях —
щеки красивы твои,
в ожерельях —
шея твоя!

¹⁰Из золота нанизы
тебе сделаем мы,
с блестками из серебра.

¹¹Пока за трапезою
был царь, —
мой народ
издавал свой запах!

¹²Букет
мирры —

мой друг
для меня!
Меж моими грудями
он будет спать.

¹³Кисть кипера —
мой друг
для меня,
среди виноградников
Ен-Геди!

¹⁴Вот ты прекрасна,
подруга моя!
Вот ты прекрасна!
Глаза твои — голуби!

¹⁵Вот ты
прекрасен, мой друг,
и приятен!
И наше ложе —
зеленеющее.

¹⁶Кровли домов наших —
кедры,
Наша утварь —
кипарисы.

Глава вторая

¹Я —
нарцисс Сарона,
лилия
долин!

²Как между терниями
лилия, —
так между дев
моя подруга!

³Как меж деревьев леса
яблоня, —
так между юношей
мой друг!
В его тени
сидела и томилась я,
и плод его
устам моим был сладок.

⁴Он привел меня
в дом вина,
и его знамя надо мной —
любовь!

⁵Подкрепите меня
пастилою,
подайте на ложе

мне яблоч,
ибо я
любовью полна!

⁶Его левая рука
под моей головой,
а десница его
обнимает меня.

⁷Заклинаю я вас,
девы Иерусалима,
газелями
или
ланями поля:
не будите
и не тревожьте
любовь,
пока сама не захочет она!

⁸Голос друга моего!
Вот
идет он!
Скачет он
по горам,
прыгает
по холмам.

⁹Мой друг подобен
газели

или
молодому оленю.
Вот он стоит
за нашей стеною,
заглядывает
в окна,
засматривает
в ставни.

¹⁰Воскликнул друг мой
и молвил мне:
«Встань,
подруга моя, прекрасная моя,
и иди!»

¹¹«Ибо вот зима
прошла,
дождь
миновал,
пронесся».

¹²«Цветы
на земле показались,
время песен
настало,
и голос горлицы
слышен в стране нашей».

¹³«Смоковница
соком наполнила смоквы свои,

и виноградные лозы, цветы,
издают запах.
Встань,
подруга моя, прекрасная моя,
и иди!»

¹⁴«Голубка моя
в ущелье скалы,
под кровом
утеса,
дай мне увидеть
твой лик,
дай мне услышать
твой голос!
Ибо твой голос — приятен,
и лик твой красив!»

¹⁵Наловите нам
лисиц,
маленьких лисиц,
что портят виноградники!
а наши виноградники —
в цвету!

¹⁶Друг мой мне принадлежит,
а я — ему,
пасущему
среди лилий!

¹⁷Пока день
не дохнет прохладой
и тени
не станут бежать, —
резвись,
будь, друг мой, подобен
газели,
молодому оленю
на расселинах гор!

Глава третья

¹На ложе моем,
по ночам,
я искала
того, кого любит
моя душа.
Я искала его,
но его не нашла.

²Дай — встану я
и обойду я город,
по улицам и площадям!
Я буду искать
того, кого любит
моя душа.
Я искала его,
но не нашла.

³Меня встретили
стражи,
обходящие город:
«Не видали ли вы
того, кого любит моя душа?»»

⁴Лишь только
от них отошла я,
как встретила я
того, кого любит
моя душа.
За него я ухватилась
и его не отпускала,
пока не привела его
в дом матери моей
и в комнату
моей родительницы.

⁵Заклинаю я вас,
девы Иерусалима,
газелями
или
ланями поля, —
не будите
и не тревожьте
любовь,
пока сама не захочет она!

⁶Кто та,
что всходит
из пустыни,
как струи
дыма,
в курениях ладана,
и мирры,
и всяких
порошков торговца?

⁷Вот
постель
Соломона!
Шестьдесят храбрецов
вокруг нее
из храбрецов Израиля.

⁸Все они
держат меч,
опытны
в ратном деле.
У каждого меч
на бедре,
из-за страха
ночей.

⁹Носильный одр
себе сделал
царь Соломон

из Ливанских
дерев.

¹⁰Его столбы —
из серебра он сделал;
его локотники — из золота;
его сидение —
из пурпура;
внутри
он выложен любовью
дев
Иерусалима.

¹¹Выходите
и смотрите,
девы Сиона,
на царя Соломона,
на венец, чем венчала его —
его мать
в день его свадьбы,
в день
празднества его сердца!

Глава четвертая

¹Вот ты
Прекрасна, подруга моя,
вот ты прекрасна!

Голуби — очи твои
из-под фаты твоей!
Твои волосы,
как стадо коз,
что сошли
с гор Галаада.

²Твои зубы,
как стадо овец остриженных,
что вышли
из умывальни;
они все
родились двойней,
и бесплодной
нет среди них.

³Как красная нить —
твои губы,
и уста твои
красивы.
Как полграната —
щеки твои
из-под фаты твоей.

⁴Твоя шея,
Как башня Давида,
что построена
для оружий.
Тысяча щитов

повешено на ней,
все —
щиты храбрецов.

⁵Две груди твои,
как два молодых оленя,
двойни газели,
что пасутся
среди лилий.

⁶Пока день
не дохнет прохладой
и тени
не станут бежать, —
пойду я
на гору мирры
и на холм
ладана.

⁷Вся ты прекрасна,
подруга моя,
и нет
недостатка в тебе!

⁸Со мною с Ливана,
невеста,
со мною
с Ливана иди!

Спустишь
с вершины Амона,
с вершины Хермона
и Снира,
от львиных жилищ,
с тигровых гор.

⁹Пленила ты меня,
сестра моя, невеста!
Пленила ты меня
единым взглядом глаз твоих,
единым ожерельем
на шее твоей!

¹⁰Как прекрасны твои ласки,
сестра моя, невеста!
Насколько лучше твои ласки,
чем вино,
и запах твоих масел,
чем все ароматы!

¹¹Каплет из уст твоих
сотовый мед,
невеста,
мед и молоко
под языком твоим,
и запах одежды твоей,
как запах ливана.

- 12 Запертый
сад —
сестра моя, невеста,
запретный родник,
источник запечатанный:
- 13 Твои побегги —
сад гранатов,
с плодами драгоценными,
с киперами
и нардами —
- 14 Нард
и шафран,
благовонный тростник,
и корица,
и все деревья ладана,
мирра и алоэ,
и лучшие все ароматы;
- 15 Источник сада —
колодец
вод живых
и текущих
с Ливана.
- 16 Проснись, ты, северный ветер,
и примчись, ты, ветер с юга,
ты повеи на мой сад!

Пусть польются его ароматы,
пусть сойдет мой друг
в свой сад
и пусть ест
его плоды драгоценные!

Глава пятая

¹Пришел я в мой сад,
сестра моя, невеста,
набрал я моей мирры
с бальзамом моим;
а ел мои соты
с медом моим,
вино мое пил я
с моим молоком.
Ешьте, возлюбленные!
Пейте и пьянейте,
друзья!

²Я сплю,
но сердце мое бодрствует.
Голос!
Друг мой стучится:
«Открой мне,
сестра моя, подруга моя,
голубка моя, чистая моя,
ибо моя голова

росою полна,
кудри мои —
мелкими каплями ночи!»

³Сняла я
мой хитон,
так как же
его надену я?
омыла мои ноги —
так как же замараю их?

⁴Мой друг
простер свою руку
сквозь скважину, —
и внутренность моя
взволновалась о нем.

⁵Я встала,
чтобы открыть моему другу,
и с рук моих капала мирра,
и с пальцев моих
мирра сбегала
на ручки замка.

⁶Открыла я
другу моему,
а друг мой
ускользнул, ушел.

Душа
покинула меня, когда он говорил!
Я искала его,
но не нашла его;
призывала его,
но он мне не ответил.

⁷Меня встретили
стражи,
обходящие город;
побили меня, поранили меня,
стащили мое покрывало
с меня
охранители стен.

⁸Заклинаю я вас,
девы Иерусалима!
Если встретите вы
друга моего,
что вы скажете ему? —
что я
любовью больна!

⁹Чем друг твой лучше других
друзей,
прекрасная
в женах?
Чем друг твой лучше других
друзей,

что ты так
заклинаешь нас?

¹⁰Мой друг румян
и ясен,
выделяется
среди десятка тысяч!

¹¹Голова его —
чистое золото;
его кудри —
завитки виноградные,
черные,
как ворон.

¹²Его глаза,
как голуби
у потоков воды,
что купаются
в молоке,
что сидят
в отраде.

¹³Его щеки,
как цветники ароматов,
гряды
благовонных растений;
лилии —
губы его,

с которых каплет
мирра текущая.

¹⁴Руки его —
кругляки золотые,
испещренные топазами;
его живот —
изделие слоновой кости,
покрытое сапфирами.

¹⁵Его голени —
столбы из мрамора,
что поставлены
на подножье из золота.
Его вид,
как Ливан;
он крепок,
как кедры.

¹⁶Уста его —
сладкие яства,
и весь он —
желанный!
Таков мой друг,
и таков мой возлюбленный,
девы
Иерусалима!

Глава шестая

¹Куда пошел твой друг,
прекрасная
в женах?
Куда свернул твой друг? —
мы будем искать его
вместе с тобой.

²Мой друг
сошел в свой сад,
к цветникам ароматов,
пасти
среди садов
и собирать
лилии.

³Я другу моему принадлежу,
а друг мой — мне,
он, что пасет
среди лилий!

⁴Прекрасна
ты, моя подруга,
как Фирца;
красива,
как Иерусалим;
грозна,
как войско с знаменами!

⁵Отверни от меня
твои очи,
потому что они
взволновали меня!
Твои волосы,
как стадо коз,
что сошли
с Галаада.

⁶Твои зубы,
как стадо овец остриженных,
что вышли
из умывальни;
они все
родились двойней,
и бесплодной
нет среди них.

⁷Как полграната, —
щеки твои
из-под фаты твоей.

⁸Их шестьдесят —
цариц,
и восемьдесят —
наложниц,
а девушкам —
числа нет!

⁹Единая ж она,
голубка моя, чистая моя,
единая она
у матери своей,
избранная она
у родительницы своей!
Видали ее девушки —
и вознесли ее;
царицы и наложницы —
и славили ее!

¹⁰Кто это, смотрящая,
как заря?
как луна — прекрасная?
светлая,
как солнце?
грозная,
как войско с знаменем?

¹¹В ореховый сад
я спустилась
взглянуть
на зелень потока,
взглянуть
расцвела ли лоза,
дали ль цвет
гранаты.

¹²Не знала я,
что возведет меня любовь моя
на колесницу,
среди вельмож народа моего.

Глава седьмая

¹Обернись, обернись,
Суламифь!
Обернись, обернись,
и мы будем глядеть на тебя!
Что вам глядеть
на Суламифь,
словно на пляску
в два стана?

²Как прекрасны
в сандалиях
ноги твои,
благородная дева!
Округления бедр твоих,
как украшение,
изделие
рук художника.

³Пуп твой —
круглая чаша:
не преходит

вино ароматное;
Живот твой —
ворох пшеницы,
обставленный
лилиями.

⁴Две груди твои,
как два молодых оленя,
двойни газели.

⁵Твоя шея,
как башня слоновой кости;
твои очи,
как озера в Хешбане
у ворот
Бат-Раббима;
твой нос,
как башня Ливана,
что смотрит
в лицо Дамаску.

⁶Твоя голова на тебе,
как Кармель;
и космы твоей головы,
как пурпур.
Царь —
узник кудрей!

⁷Как ты прекрасна
и как ты приятна
твоим наслаждением,
любовь!

⁸Этот стан твой
подобен пальме,
и твои груди —
гроздьям.

⁹Я подумал:
взберусь я на пальму,
я схвачусь
за ветви ее,
и пусть будут груди твои,
как грозди винограда,
и запах от носа твоего,
как от яблонь.

¹⁰А уста твои —
как доброе вино;
оно прямо течет
к твоему другу,
делает болтливыми
уста спящих.

¹¹Я другу моему принадлежу,
и его стремление —
ко мне!

¹²Иди, мой друг!

Мы выйдем в поле,
переночуем
среди кипер.

¹³Рано утром пойдем

в виноградники,
поглядим,
расцвела ли лоза,
распустились ли цветы,
дали ль цвет
гранаты.
Там
я дам мои ласки
тебе.

¹⁴Мандрагоровые яблоки издали запах,

и близ наших дверей
всякие плоды драгоценные,
новые
и старые.
Мой друг,
для тебя сберегла я!

Глава восьмая

¹О, когда б ты был
брат мне,
сосавший
грудь моей матери!
Тебя встретила я бы на улице,
целовала б тебя
и
меня не порочили бы!

²Повела бы тебя я!
Привела бы тебя
в дом моей матери.
Ты учил бы меня.
Я поила б тебя
вином ароматным,
соком
гранатовым!

³Его левая рука
под моей головой,
а десница его обнимает меня.

⁴Заклинаю я вас,
девы Иерусалима!
к чему будите вы
и к чему тревожите
любовь,
пока сама не захочет она?

⁵Кто та,
что всходит
из пустыни,
опираясь
на друга своего?
Разбудила я тебя
под яблоней;
там родила тебя твоя мать,
там родила
твоя родительница.

⁶Положи меня печатью
на сердце твое,
печатью —
на мышцу твою!
Ибо сильна, как смерть,
любовь,
как ад — безжалостна
ревность!
Ее стрелы —
стрелы
огня,
пламя Господне!

⁷Многие воды
не смогут
загасить любовь,
и реки
ее не зальют!

Если б кто-нибудь дал
все добро его дома
за любовь —
презрели,
презрели бы им!

⁸Сестра у нас
мала,
и грудей
нет у нее.
Что сделаем мы
с нашей сестрой
в день,
когда будут к ней свататься?

⁹Когда б стеной была она,
на ней бы выстроили мы
серебряный чертог!
А если б дверью была она,
ее бы обложили мы
кедровой доской!

¹⁰Я — стена,
и груди мои
словно башни!
Оттого
я стала в глазах его,
как исток благодати!

¹¹Был виноградник у Соломона
в Баал-Гомоне.
Отдал он виноградник
сторожам;
каждый
должен был приносить за плоды
его
тысячу сребреников.

¹²Виноградник мой, тот, что у меня —
предо мной.
Это тысяча — тебе,
Соломон,
двести же —
тем, кто стережет его плоды.

¹³Ты, живущая в садах!
Внемлют голосу твоему
Товарищи, —
мне его услышать дай!

¹⁴Беги, мой друг,
и будь подобен газели
или молодому оленю
на горах ароматных!

1909—1910

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

Песнь первая

- ¹Как сидит одиноко столица
— многонародная!
Словно осталась она вдовою
— племен владычица.
Меж городами первейшая
— сделалась данницей.
- ²Плачет, плачет она в ночи
— и слеза на щеке ее.
Более нет утешителя ей
— меж всех любивших ее.
Все друзья изменили ей,
— стали гонителями.
- ³Пошла на чужбину Иудея от бед
— от рабства тяжелого.
Меж народов сидит она,
— но нет покоя ей.
Понастигли гонители
— среди теснин ее.
- ⁴Скорбны пути Сиона,
— ибо нет паломников.
Все врата его пусты,
— стонут жрецы его.
Плачут девы его,
— а он — горько ему!
- ⁵Верх его недруги взяли,
— благо врагам его.

Ибо Господь утеснил
— за много грехов его.
В плен пошли его дети
— перед гонителем.
⁶Так отошла от дщери Сиона
— вся красота ее.
Стали вожди ее ланям подобны,
— не нашедшим пастбища.
И обессилев идут они
— перед погонщиком.
⁷Думает думу Иерусалим
— о днях потрясений и битв своих
(О всем достоянии своем,
— что было в далекие дни),
Как пал народ от вражьих рук,
— и никто не помог ему,
Как на него взирали враги,
— услаждались погибелью.
⁸Впала во грех дщерь Иерусалима,
— и вот стала мерзостью.
Все восхвалители презрели ее,
— узрев срамоту ее.
И восстенала она сама
— и отвернулася.
⁹Она запятнала одежды свои,
— что с ней будет, не чаяла,
И вот внезапно пала она,
— и нет утешенья ей.

- Господи, виждь горесть мою,
— ибо враг возвысился.
- ¹⁰Враг протянул свою руку
— за всем, что ей дорого.
Видит она, как народы
— вошли во святилище,
Ты ж заповедал о них,
— да не внидут в собрание Твое.
- ¹¹Весь народ ее стонет,
— и ищет хлеба он.
Отдал за пищу он все достояние,
— да будет жива душа.
Господи, виждь и воззри,
— как я унижена!
- ¹²О вы все, что проходите мимо,
— воззрите и виждьте,
Есть ли скорбь, что подобна моей,
— той, что познала меня,
Той, чем Господь меня утеснил
— в день своей ярости!
- ¹³Он с высоты послал огонь,
— в кости мои Он низвел его.
Он разостлал ногам моим сеть,
— он навзничь поверг меня.
- ¹⁴Он дозировал прегрешенья мои,
— сплетены они дланью Его,
Он возложил их на шею мою,
— и низвергнул Он силу мою.

- Предал Господь меня в руки тех,
— от которых не встану я.
- ¹⁵Всех сильнейших моих поверг
— Господь во среде моей,
Кликнул клич Он против меня,
— чтобы сразить моих юношей.
Во топях топтал Господь
— деву, дочь Иудеи.
- ¹⁶Из-за того и рыдаю я
— глаз мой, глаз мой слезой истек,
Ибо далек Утешитель мой,
— что укрепил бы дух мой.
Стали бездомны дети мои,
— ибо враг осилил.
- ¹⁷Сион простирает руки свои,
— но нет утешенья ему.
Господь устремил на Иакова
— врагами соседей его.
Сделалась дочь Иерусалимская
— меж них как нечистая.
- ¹⁸Праведен Он, мой Господь,
— ибо слова Его я послушалась.
О, народы, внимлите мне
— и воззрите на раны мои:
Девы мои и юноши мои
— ушли полоненными.
- ¹⁹Я воззвала к любившим меня,
— но они обманули меня,

Старцы мои и жрецы мои
— никнут средь города.
Пищи себе искали они
— чтоб укрепить свою душу.
20Господи, виждь, ибо тесно мне,
— взволновалось нутро мое,
Сердце мое повернулось во мне,
— ибо стала ослушницей я.
Рыщет он снаружи, меч,
— а смерть — по дому.
21Они услышали, что плачу я,
— и нет утешителя мне.
Враги услышали о беде моей
— и ликуют, что Ты то содеял.
Так приведи же назначенный день,
— и да будет им, как мне.
22Да встанет вся злоба их пред Тобой,
— и да воздашь Ты им.
Подобно тому, как воздал Ты мне
— за все прегрешенья мои.
Ибо велики стенанья мои,
— и тужит сердце мое!

Песнь вторая

- ¹Как помрачил в своем гневе Господь
— дочь Сиона,
Он низринул наземь с небес
— пышность Израиля.
И не вспомнил подножье Свое
— в день Своей ярости.
- ²Господь сокрушил, не помиловал
— все пажити Иакова.
Разрушил во гневе Он крепости
— дщери Иудиной,
Пригнул до земли, изничтожил Он
— князей и царство ее.
- ³В яростном гневе сломал Он
— всю силу Израиля,
Он отвратил свою руку
— от неприятеля.
Он возгорелся средь Иакова пламенем,
— всепожирающим.
- ⁴Он натянул свой лук, как враг,
— простер десницу, как недруг,
Он поразил все
— приятное взорам;
Он излил, как огонь, свою ярость
— во шатре дщери Сиона.
- ⁵Стал Господь подобен врагу,
— сокрушил Он Израиля.

Он сокрушил все чертоги его,
— изломал его крепости.
Он умножил во дщери Иудиной
— стон и стенание.

⁶Он разрушил свой сад и шатер,
— Он сломал собрание свое.
Предал забвенью в Сионе Господь
— субботы и праздники.
В яростном гневе своем Он отверг
— царя и священника.

⁷Господь пренебрег алтарем Своим,
— презрел святилищем.
Предал Он вражеской длани
— стены чертогов его.
Подняли крик враги в доме Господнем
— как в день праздничный.

⁸Он порешил разрушить, Господь,
— стену дщери Сиона.
Он натянул нить, не отвел
— руки сокрушительной;
Он истребил стену и вал,
— оба разрушены.

⁹Пали на землю ее врата,
— Он сломал, разбил их затворы.
Царь и вельможи ее — средь племен,
— и более нет закона.
Даже к пророкам ее не пришло
— видений от Господа.

- ¹⁰Сидят на земле и безмолвствуют
— старцы дщери Сиона.
Посыпали пеплом главу свою,
— препоясались вретischem.
Поникли до праха главой своей
— девы Иерусалимские.
- ¹¹Иссякли слезы в глазах моих,
— взволновалось нутро мое.
Наземь излилась желчь моя
— из-за гибели дщери народа моего.
Затем, что никнут юнец и дитя
— на улицах города.
- ¹²Своим матерям говорят они:
— «где же вино и хлеб?»
И словно убитые падают
— на стогнах столицы.
И душу свою отдают они
— у грудей матери.
- ¹³С чем сопоставить и с чем мне сравнить тебя,
— дщерь Иерусалимская?
Чему уподобить, дабы утешить тебя,
— дева, дочь Сиона?
Ибо, как море, велика твоя рана,
— кто исцелит тебя?
- ¹⁴Тебе прорекали пророки твои
— небылицы да вымыслы.
Они не раскрыли греха твоего,
— чтобы плен отворотить твой.

- Они прорекали виденья тебе
— ложь для отверженства.
- ¹⁵Плещут руками теперь над тобой
— все проходящие.
Свистят и качают главою своей
— над дочерью Иерусалимскою:
«Это ли град, что зовут совершенной красой,
— услада вселенной всей?»
- ¹⁶На тебя разверзают уста свои
— все твои недруги.
Свистят и скрежещут зубами они,
— говорят: «Поглотили мы!»
«Вот тот день, что мы чаяли,
— дождались, узрели мы!»
- ¹⁷Господь совершил положенное,
— исполнил слово Свое,
То, что назначил Он издревле,
— поверг, не помиловал.
Он усладил тобой недруга,
— вознес рог врага твоего.
- ¹⁸Воскричи своим сердцем к Господу,
— дева, дочь Сиона,
Источай, как поток, твои слезы
— денно и ночью.
Да не узнаешь покоя ты,
— не утихнет зеница твоя.
- ¹⁹Встань и рыдай в ночи,
— с каждою стражей.

Источай, как поток, твое сердце
— пред ликом Господним.
Воздень твои руки, к нему
— о жизни детей твоих,
Что чахнут от голода
— на всех перекрестках.
²⁰Господи, виждь и воззри:
— с кем поступил Ты так?
Не ели ли жены свой плод,
— детей возлеянных?
Не пали ль убиты, в Господнем святилище,
— жрецы и пророки?
²¹Лежат на земле по улицам
— старцы и отроки,
Девы мои и юноши мои
— мечом пронзены.
Убил Ты их в день Твоей ярости,
— заклал, не помиловал.
²²Созвал Ты словно на празднество
— все мои приговоры,
Не было в день гнева Божьего
— беглеца и спасенного.
Тех, что вскормил я и вырастил,
— мой враг уничтожил их.

Песнь третья

- ¹Я — тот муж, что изведаль горе
— под бичом Его ярости.
- ²Он устремлял и водил меня
— в тьму беспросветную.
- ³Лишь надо мной не устал заносить
— каждодневно Он длань свою.
- ⁴Он измолот мою кожу и плоть,
— разбросал Он кости мои.
- ⁵Строил и вел Он окоп вокруг меня
— ядом и тяготой.
- ⁶Средь темноты поселил Он меня,
— как навеки умерших,
- ⁷Тыном обнес, чтоб не выйти мне,
— отягчил Он узы мои.
- ⁸Даже когда воплю и взываю я,
— безответна мольба моя.
- ⁹Он преградил камнями мой путь,
— искривил Он тропу мою.
- ¹⁰Медведем алчущим стал Он мне,
— львом поджидающим.
- ¹¹Он уклонил мой путь и терзал меня,
— соделал пустынным меня.
- ¹²Он натянул свой лук и поставил
— целью для стрел меня.
- ¹³Он устремил во нутро мое
— стрелы колчана Своего.

- 14Стал я помехой народу моему
— его песнью целый день.
- 15Он накормил меня горечью,
— напоил полынью меня.
- 16Он сокрушил о кремень мои зубы,
— истоптал во прах меня.
- 17Отторгнул от мира Ты душу мою,
— забыл о довольстве я.
- 18И сказал я: погибла сила моя
— и моя надежда на Господа.
- 19Помни о нужде и обиде моей,
— о полыни и горечи.
- 20Помни, помни, что согбенна она
— во мне, душа моя.
- 21Вот, что приму я на сердце свое,
— отчего и надеюсь я:
- 22Милости Божьи не кончаются,
— не преходит любовь Его.
- 23Каждое утро вновь они,
— велико постоянство Твое.
- 24Удел мой — Господь, говорит мне душа,
— оттого на Него вознадеюсь я.
- 25Благ Господь к уповающим на Него,
— и к душе, что ищет Его.
- 26Благо молчать и надеяться
— на спасенье от Господа.
- 27Благо мужу, носившему
— ярмо в своей юности.

- 28Пусть одиноко сидит и молчит он
— когда на него возлагают его.
- 29Пусть склонит до праха уста свои,
— быть может, спасенье есть.
- 30Пусть подставит щеку биящему
— и насытится срамом он.
- 31Ибо навек не отвергнет
— Господь его,
- 32Но удручит — и помилует
— по большой Своей благодати,
- 33Ибо теснит не по прихоти
— и мрачит Он сынов людских.
- 34Попирать под стопами своими
— земных всех узников,
- 35Не дать правосудья мужу
— пред ликом Высшего,
- 36Обижать человека в тяжбе:
— Господь ли не зрит сего?
- 37Кто сказал — и исполнилось,
— без Господня веления?
- 38Не от уст ли исходит Всевышнего
— худое и благодное?
- 39Что скорбит человек, живя,
— скорбит о возмездии?
- 40Испытаем наш путь и исследуем
— и вернемся к Господу.
- 41Вознесем на руках наше сердце
— к Богу небесному.

- 42Мы согрешили, послушались,
— Ты ж не простил того.
- 43Укрылся Ты гневом и гнал нас,
— убивал и не миловал.
- 44Укрыл Ты себя за облаком,
— да не внидет моление,
- 45Отбросом и сором Ты сделал нас
— между народами.
- 46На нас разверзали уста свои
— все наши недруги.
- 47Страх и страданье было нам,
— пустынь и погибель.
- 48Потоки слез источает мой глаз
— из-за гибели дщери народа моего.
- 49Глаз мой лиет, не иссякнет,
— не ведает отдыха,
- 50Доколь не узрит и взглянет Он,
— Господь, от небес Своих.
- 51Глаз мой печалит душу мою
— о всех дочерях моего города.
- 52Гнались за мной, как за птицей,
— беспричинно враги мои,
- 53Мучили жизнь мою в яме,
— бросали камнями в меня.
- 54Стлалась вода над главой моей,
— я подумал: погиб я.
- 55Звал Твое имя я, Господи,
— изо рва глубочайшего.

- 56Глас мой Ты слышал, замкнешь ли
— слух Твой для зова моего?
- 57Ты близок был в день, когда звал я Тебя,
— Ты сказал мне: не бойся.
- 58Тягался, Господь, Ты за душу мою,
— жизнь мою спас Ты.
- 59Ты видел, Господь, притеснения мои,
— яви ж правосудье мне!
- 60Ты видел все злые их умыслы,
— все думы их против меня.
- 61Ты слышал хуленья их, Господи,
— все думы их против меня.
- 62Слова супостатов и вымыслы их
— обо мне целый день.
- 63Сидят ли, стоят ли они: смотри,
— я в напевах их.
- 64Да воздашь им отплатой, Господи,
— по деянью их руки.
- 65Да пошлешь слепоту им сердечную
— Твое проклятье им.
- 66Да помчишься во гневе и исторгнешь их
— Из-под Божьих небес.

Песнь четвертая

- ¹Как помрачилось злато, потуск
— металл благородный.
Камни бесценные кинуты
— на всех перекрестках.
- ²Дети Сиона избранные
— равноценные золоту,
Как уподобились глиняной утвари
— изделию рук художника.
- ³Даже шакалы стремят сосцы
— и кормят детей своих,
Дщерь же народа моего жестока
— как в пустыне страусы.
- ⁴Язык младенца прилип
— от жажды к гортани его.
Дети взывают о хлебе
— и никто не протянет им.
- ⁵Те, что вкушали лакомства,
— никнут на улицах,
Те, что взлелеяны в пурпуре,
— грязь обнимают они.
- ⁶Ибо превысил грех дщери народа моего
— беззаконье Содома:
Тот был низвергнут в мгновенье,
— и не тщились руки над ним.
- ⁷Были князя ее чище, чем снег,
— белее молока.

- Телом краше кораллов,
— сапфировый — стан их.
- ⁸Стало темнее, чем мрак, их лицо,
— не узнать их на улицах.
Сморщилась кожа на их костях,
— иссушилась, как дерево.
- ⁹Лучше тем, что убиты мечом,
— чем убитым голодом,
Тем, что погибли пронзенные,
— чем лишенным плодов полевых.
- ¹⁰Руки жен милосердных
— варили детей своих,
Они становились им пищей
— в час гибели дщери народа моего.
- ¹¹Господь довершил свой гнев
— излил Он ярость Свою,
Он возжег на Сион огонь,
— что пожрал основанья его.
- ¹²Земные цари не поверили
— ни же все жители мира,
Что вступит гонитель и враг
— во врата Иерусалимские —
- ¹³За беззаконья пророков его,
— за грехи жрецов его,
Что средь него проливали
— кровь праведников.
- ¹⁴Бродили слепцами по граду они,
— осквернялися кровью,

- И прикосаться нельзя было
— к их одеяню.
- 15 «Прочь, нечистый!» — кричали о них,
— «Прочь, прочь, не касайся!»
Они шли и блуждали, и твердили народы:
— «пусть здесь не медлят они!»
- 16 Господен лик их рассеял
— и более не взглянет на них.
Лику жрецов нет пощады
— и старцам нет милости.
- 17 Все еще ждали глаза наши
— помощи, — тщетно!
Мы ожидали на страже нашей
— народа — не спас он!
- 18 Они стерегли шаги наши,
— чтоб не шли мы по улицам,
Стал он близок, конец наш,
— полны дни наши, близок конец наш.
- 19 Легче были враги наши,
— чем орлы поднебесные,
По горам они гнались за нами
— поджидали в пустыне нас.
- 20 Наше дыханье, помазанник Божий,
— был уловлен во рвы их,
Тот, под чьей сенью, думали мы,
— будем жить средь народов мы.
- 21 Веселись и ликуй, о дочь Эдома,
— ты, что живешь в стране Уц.

И до тебя также чаша дойдет
— и ты во хмелю обнажишься.
22Искуplen твой грех, о дочь Сиона,
— гнать Он не станет тебя!
Раскрылся твой грех, о дочь Эдома,
— Он явит беззаконья твои!

Песнь пятая

1Господи, вспомни, что случилось с нами,
— виждь и воззри на позор наш.
2Наше наследье досталось врагам,
— наши дома иноземцам.
3Сиры мы стали, отца у нас нет,
— матери наши, как вдовы.
4Воду нашу за пеню мы пьем,
5В выю нашу гонимы мы,
— мы устали, но отдыха нет нам.
6Длань простираем к Египту мы
— и к Ассуру, чтоб хлебом насытиться.
7Наши отцы согрешили, их нет
— а мы за вины их терпим.
8Отданы мы во власть рабам,
— и нет избавленья от руки их.
9Кровью мы добываем наш хлеб
— из-за меча в пустыне.
10Кожа наша, как печь, горит
— из-за алканий глада.

- 11 Жен во Сионе насилуют
— и дев в городах Иудей.
- 12 Вельможи повешены за руки,
— лицо стариков не уважено.
- 13 Юношей к жерновам тащат,
— под топливом отроки падают.
- 14 Нет стариков при воротах,
— и юношей нет для песен.
- 15 Нет веселия в сердце,
— обратились в печаль наши пляски.
- 16 Пал венец с головы нашей,
— горе нам, ибо мы согрешили!
- 17 Из-за того и болит наше сердце,
— оттого и темны наши очи.
- 18 Из-за Сионских высот, что пусты они,
— что по ним лисицы блуждают.
- 19 Господи, Ты ж пребываешь вовек,
— и престол Твой в роды и роды,
- 20 Что же совсем забыл Ты о нас,
— что покинул на долгие сроки?
- 21 Боже, верни нас к Себе, — и вернемся мы,
— обнови наши дни, как древле,
- 22 Иль неотвратно презрел Ты нас,
прогневился на нас безмерно?

1921

ДАНТЕ. ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН»*

Сонет XXVI

Кто, не страшась, осмелится взглянуть
В прелестные глаза отроковицы,
Где все мое злочастие таится
И к гибели проходит верный путь?

Моей судьбы, о смертный, не забудь!
Я избран Провиденьем, чтоб явиться
Примером тем, кто дерзостно решится
На лицезренье донны посягнуть.

Такой конец назначен мне не даром:
Нам должно пренебречь своей судьбою,
Чтоб отвратить от гибели других.

Но все ж, увы, я был чрезмерно ярым
В стремлении пожертвовать собою: —
Знать, злой Планеты луч меня настиг!

* Перевод и нумерация по изданию: Dante Alighieri. Tutte le opere / Nuovamente rivedute nel testo dal Dr. T. Moore. — Oxford, MDCCCCIV. В настоящее время не все сонеты, включенные в это издание, считаются бесспорными произведениями Данте. Переводы недостоверных сонетов обозначены звездочкой. — *М.В. Толмачёв.*

Сонет XXVII

Из глаз мадонны льется дивный свет,
И там, куда лучом он проникает,
Родится жизнь, какой наш ум не знает,
Затем, что ей подобья в мире нет.

Но для меня — в нем преизбыток бед,
Он мне смятением сердце насыщает;
Я мыслю: «Стой! Здесь гибель все вещает!»
Но сам же нарушаю свой запрет.

Я рвусь туда, где сердцу нет надежды,
Я робким взорам мужество внушаю,
Чтоб лицезреть великий светоч вновь;

Но, подходя, увы, смыкаю вежды
И доблестным порывом иссякаю...
Еще хранит мне, видно, жизнь Любовь!

***Сонет XXVIII**

Тот светоч, что пробег свой направляет
По воле Эмпирея и чей трон
Меж Марсом и Сатурном водружен,
Как это Астрономия являет;

И пламенник, что в нас любовь вливает
Как это вменено ему в закон;
И тот, что, неразрывно сопряжен
С четвертым небом, мною управляет;

И пламенник Меркурия прекрасный,
В чьих предвещаньях свет его огней;
И та Звезда, что первым небом правит;

И та, чью волю третье небо славит,
Пустого велеречья недруг страстный, —
Все семь Планет отобразились в ней!

Сонет XXIX

Я видел донн, прелестною гурьбою
Прошедших близ меня в день Всех Святых.
Из них одна, опередив других,
Взяв за руку вела Любовь с собою.

Из глаз ее шел свет такой волною,
Как если б Дух огня глядел сквозь них,
И, вся в лучах сияя золотых,
Она плыла, как ангел, предо мною.

Кто был достоин, слышал тихий глас
И примечал очей благоволенье;
Он черпал чистоту душой своей.

Знать, небо видело ее рожденье
И на землю она сошла для нас, —
Вот почему блаженна встреча с ней.

Сонет XXX

Спор о Любви затеяли две донны,
Пришедшие к вершинам дум моих;
В одной — сиянье чувств и дел благих,
Долг, с разумом и честью сопряженный;

В другой — сверканье юности, влюбленной
В огонь и блеск порывов молодых;
А я, вассал Любви, к подножью их
Склоняюсь, внимаю спор незавершенный.

Их доводы достойно ум тревожат:
Они исследуют, как сердце может
Одновременно полюбить двух донн.

Но Высший Суд несет свое решение:
В прелестной донне чтим мы наслажденье,
А в добродетельной мы чтим закон.

***Сонет XXXI**

Упрямей корня дерево не знает,
Не знает камень жесткости такой,
Как в донне, что снедает мой покой
И лаской взоров казни не смягчает.

Пусть встречный человек не обращает
К ней взглядов, пусть идет своей тропой,

Иначе — смерть, затем что никакой
Пощады в ней Любовь не вызывает.

Увы, зачем же эта власть дана
Очам такой жестокосердной донны,
Что жизнь теряет раб, в нее влюбленный?

Кто делает ее столь непреклонной,
Что даже и над гибнущим она
Прекрасные не склонит рамена?

Сонет XXXII

О, если б — Гвидо! — Лапо, ты и я
Перенеслись волшебным мановеньем
На ту ладью, в какой по всем теченьям
Гуляет прихоть, ваша иль моя;

И злобный рок, не входящий в те края,
Не мог бы нам мешать сопротивленьем;
И жили б мы единым устремленьем,
Согласная и крепкая семья;

И монну Ладжу, вместе с монной Ванной
И с той, что обозначена Тридцатой,
К нам перенес бы добрый маг туда;

Спор о любви вели б мы неустанно,
И донны нам платили б той же платой,
Какою мы платили им всегда.

***Сонет XXXIII**

Клянусь тот день, в который я впервые
Увидел свет неверных ваших глаз,
Когда, пути покинув низовые,
Душа к вершинам сердцам поднялась.

Клянусь любви усилья молодые
Вместить в стихи, творимые для вас,
Всю звучность рифм и краски столь живые,
Что не забудут люди мой рассказ.

Клянусь стремленья моего упорство:
Быть возле той, в ком пагуба моя,
Чтоб видеть лик, властительный и гордый.

Увы! Любви так свойственно притворство,
Что смех толпы кругом лишь слышу я,
И мнится мне: мой руль — в руке нетвердой,

Сонет XXXIV

Я вне себя от этих ваших строк
И должен вам сказать, мессере Чино,
Что впредь я стану плыть другой пучиной,
Как мой корабль от берега ни далек!

Уж не однажды слышал я намек
Что вас несет на все крючки стремниной;

Я мыслю это вескою причиною,
Чтоб вам жестокий высказать попрек:

Кто влюбчив так, кто так непостоянен,
Кому, как вам, любой кусок желанен,
Того Любви царапнет лишь стрела.

У вас соблазнов сердца слишком много, —
Одумайтесь, мессере, ради Бога,
Чтоб жили в дружбе речи и дела!

Сонет XXXVI

Я жизнь связал с Любовью воедино
В девятом круге Солнца моего, —
Узнал ее поводий торжество
И прихоть ласк и гнева властелина.

Кто б смел перечить воле исполина?
Он стал бы лишь подобием того,
Кто мнит, что звон бубенчика его
Слышней, чем гром, когда летит лавина.

В бойнице арбалету не дано
По вольной воле выбрать направленья, —
Оно для стрел предопределено;

Конь чувствует уколы новых шпор,
Пусть он устал, — запретно замедленья,
И должен он скакать во весь опор!

***Сонет XXXVIII**

Что есть Любовь? Одни обильем слов
Ее черты рисуют, — но напрасно:
Мыслителю по-прежнему неясно,
В чем суть ее и смысл ее каков.

Другим в ней видится высокий зов
Ума, горящего мечтой прекрасной,
Для третьих, в ней — желанья голос страстный,
Стремленье к наслажденью без оков.

Я ж мыслю так: субстанции в ней нет,
Она — не осязаемый предмет,
Но облика лишённое влечение

К всесовершенной форме естества;
У сердца здесь верховные права,
И с красотой здесь слито наслажденье.

***Сонет XXXIX**

Я ничего мучительней не знаю,
Чем служба той, кто жизнь во мне мертвит,
Кто жар свой в льдистом озере студит,
Меж тем как я в костре любви сгораю.

Ее жестокосердию нет края,
Ее прекрасных черт надменен вид,

Но тяжкий жребий так меня манит,
Что я другой отрады не желаю.

Не сводит глаз, спешит светило дня
К изменчивой с любовью неизменной,
Чтоб ей не знать печали никакой;

И так как ты не в силах для меня
Смягчить, Любовь, жестокости Надменной,
То хоть вздохни из жалости со мной!

Сонет XL

О, сладостные строки, что спешат
Почтительно склониться перед донной, —
Придет к вам некто, коего вы склонны
Приветствовать словами: «Вот наш брат!»

Но я молю ему не верить! Рад
Прикрыться он личиной незаконной, —
Не поводырь он для души влюбленной,
Его посулы с правдой не дружат.

Но если все ж, прельстясь его словами,
Направитесь вы к донне, — о, тогда
Не медлите, пока вам путь открыт;

Скажите: «Донна, мы пришли сюда
Замолвить слово за того пред вами,
Кто горится: «Где взор, что жизнь дарит?»

Сонет ХLI

В какой тоске идете вы сюда!
Откуда вы? — Ответьте благосклонно
Смятенному: уж не с моей ли донной
Стряслась непоправимая беда?

Поведайте, о донны, мне: когда
Вы видели ее? Душой смущенной
Боюсь прочесть ответ ваш затаенный.
Ужель пришла злочастная череда?

Молю понять, как мне рассказ ваш нужен!
Я должен знать, стою ли у могилы,
Отвергнут ли Любовью я вполне?

Взгляните пристально: как я недужен, —
Последние уже уходят силы...
Подайте же, о донны, помощь мне!

***Сонет ХLII**

Уж весел мир, — уже цветы и травы
Узоры ткут смеющимся лугам;
Уж нет пути туманам и дождям,
И звери в чащах начали забавы;

Уж все сердца любовной ждут отравы,
Запели птицы, и веселый гам

Сменил унылый крик по деревьям
И мчится через горы и дубравы;

И внемля этот гомон, звон и смех
Я оживаю вслед за Примаверой, —
Надежда гонит прочь из сердца тьму;

Затем что Властелин, что выше всех,
Кому служу и правдою и верой,
Вновь щедр ко мне, вассалу своему.

Сонет XLIII

Слова мои, которым дал рожденье
И в свет послал я в дни, когда слагал
Стихи для Той, по коей изнывал:
«Вы, третьей сфере давшие движенье...», —

Ступайте к Ней и ей мое мученье
Поведайте, открыв, как я страдал;
Скажите ей: «Мы — ваши; не дерзал
Еще никто вам так нести служенье...»

Но с ней не медлите: Любовь не там, —
Лишь в траурных одеждах вокруг ведите,
Как древле ваши сестры, хоровод;

Когда ж мелькнет другая донна вам,
К ее стопам смиренно припадите,
Сказав: «Должны мы вам воздать почет!»

***Сонет XLV**

Ни подлой клеветой клеветников,
Ни злоязычьем черни нетерпимой
Не подобает донне многотимой,
Чье имя выше всех поносных слов,

Терзаться в опасенье, что таков
Есть общий суд. Навет проходит мимо,
А добродетель отовсюду зрима,
И правда ей — защита и покров.

Как роза посреди шипов алеет,
Как золото средь пламени не тлеет,
Так блещете везде достойно вы;

Пускай толпа чернит еще ехидней, —
Ведь ваша чистота тем очевидней,
Чем многословней наговор молвы!

Сонет XLVI

Мне не с кем здесь поговорить о Той,
Кому и вы, и я несем служенье,
Меня ж томит великое влеченье
Сказать вам, как я полн своей мечтой!

Не доходил к вам долго голос мой,
Но верьте: тут одно лишь объясненье:
Я здесь живу как будто в заточенье,
И одинокий, и для всех чужой.

Здесь донны нет; устав Любви здесь бремя;
Здесь некому твердить ее слова;
Слывет глупцом, кто ей приносит клятвы;

Меж тем, мессере Чино, мчится время,
Уходит жизнь, — но начат труд едва,
И мы еще не собирали жатвы.

***Сонет XLVIII**

Когда б я не жил вдалеке от той,
Чей милый взор встречать всегда желаю,
По ком томлюсь, и плачу, и вздыхаю,
Влеком ее прелестной красотой, —

Тогда бы все, что ныне маетой
Меня гнетет без меры и без краю,
Все, от чего я жизнь почти теряю,
Как человек, обманутый мечтой, —

Все стало б мне желанно и приятно!
Но нет, увы, со мной, кого люблю,
И вот я убиваюсь и скорблю,

Лежу без сна и свой покой гублю,
И то, что манит каждого стократно,
То для меня и чуждо, и отвратно!

1952

**СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗ КНИГИ ДЖОРДАНО БРУНО
«О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ» (1585)**

Луиджи Тансилло (1510–1568)

I

Как часто, Музы, был я к вам суров!
И все ж упрямо на мои стенанья
Спешите вы, чтоб облегчить страданья
Мне избытком мыслей, рифм, стихов.
С тщеславцами ваш навык не таков, —
Не знают мирт и лавров их созданья;
Так будьте ж впрямь мне якорь и причал,
Раз прежний путь стопам запрещен стал!
О девы вещие, Парнас, ключи,
Близ вас живу, учусь и размышляю.
Вершу свой труд и мирно расцветаю;
Здесь дух парит, здесь чувства горячи:
О кипарисы, мертвецы, могилы,
Преобразитесь в лавры, в жизнь, светила!

II

В строенье плоти сердце — мой Парнас,
Куда всхожу искать отдохновенья;
А мысли — музы, мне они подчас
Приносят в дар прекрасные виденья.
Пусть щедро слезы падают из глаз, —
Восполнит Геликон иссякновенье;
Недаром здесь, средь гор и нимф, поэт

Велением небес увидел свет.
Ни императора щедроты,
Ни милость королевского ларца,
Ни ласковость святейшего отца
Не принесут так много мне почета,
Как эти лавры, что дает
Мне сердце, мысль и говор вещей вод.

III

Призыв трубы под знамя капитана
Порой тревожно воинов зовет,
Но кое-кто спешит не слишком рьяно
Занять места; кто вовсе слух запрет;
Кого убьют; кого не пустит рана, –
Так многих в строй отряд не соберет.
Так и душа свести в ряды не может
Стремления – их смерть и время гложет.
И все ж, влеком одной мечтой,
Я лишь одной пленяюсь красотой,
Лишь пред одним челом главу склоняю.

Одна стрела пронзает сердце мне,
В одном пылаю я огне.
И лишь в одном раю я быть желаю.

IV

Любовь, судьба и цель моих забот,
Гнетет и манит, мучит и ласкает;
Амур безумный к красоте влечет,
А ревность – та на гибель обрекает.

Любовь то явит рай, то оттолкнет,
То жалует блага, то отнимает;
Душа и сердце, дух и разум мой
Так погружаются то в лед, то в зной.
Настанет ли конец войне?
Кто — тот, в чьей власти скорбь сменить на
радость?
Кто мирного труда пошлет мне сладость?
(Кто в небеса откроет двери мне?)
Кто прекратит мои мученья,
Кто напоит мой жар и утолит влеченья?

V

Почетная и сладостная рана —
Стрелы Амура избраннейший дар.
Высокий, смелый, драгоценный жар,
Что душу мчит на крыльях урагана, —
Нет снадобий на свете, нет дурмана,
Чтоб сердце оторвать от этих, чар:
Чем яростнее жжет меня пожар,
Тем казнь свою люблю все боле рьяно.
О новый, редкий, сладостный недуг!
Смогу ль, скажи, ярем низвергнуть твой,
Когда гоню врача, а боль лелею?
Взор — госпожи моей стрела и лук —
Рази быстрее, ранения удвой,
Раз так прельщен я пыткой моею!

VI

Любви и зависти неистовая дочь,
Меняющая отчью радость в стоны,
Стоглазый Аргус зла, незрячий крот закона, —
О Ревность, злой тиран, чью плеть терпеть
невмочь,

Ниспровергающий людское счастье в ночь,
С зловоньем Гарпии, с злорадством Тизифона;
Жестокий сухойей, что косит без препоны
Цветы моих надежд и их уносит прочь;
Зверь, ненавидящий и самого себя;
Вешунья горестей, не знающих исхода;
Боль, наводняющая сердце, все губя;
О, если б у тебя отнять ключи от входа!
Как было бы светло нам в царствии любви,
Когда б не погрязал мир в злобе и в крови!

VII

Амур, что к истине влечет мой жадный взгляд,
Черно-алмазные затворы отпирает
И божество мое сквозь очи вглубь впускает,
Ведет его на трон, дает ему уклад,
Являет, что таят земля, и рай, и ад,
Отсутствующих лиц присутствие являет,
Прямым ударом бьет и силы возрождает,
Жжет сердце и опять целит его стократ.
Внемли же истине, презренная толпа,
Открой свой слух словам без лжи и без убранства,
Вели, коль силы есть, глядеть глазам своим,
Иди за Отроком, раз ты сама слепа:

Нестойкая, ты в нем клеймишь непостоянство,
Незрячая, его ты смеешь звать слепым!

VIII

Ступай теснить других, мой злобный рок,
И ревность, — прочь из мира уходи ты!
Без вас могли б высокий дать урок
Твой светлый облик, о любовь со свитой!
Любовь дает крыла, рок — боль зажег;
Пред ней — я жив, пред ним — лежу убитый;
В нем — смерть, в ней — избавленье от обуз;
Она — опора, он — тяжелый груз.
Но так ли должно о любви сказать?
Она и он не есть ли суть и форма?
И не одна ль дана им власть и норма?
И не одна ли их на мне печать?
Не двое их! Они в единстве дали
Моей судьбе блаженство и печали!

IX

Несу любви высоко знамя я!
Надежды — лед, но кипятик — желанья;
Я нем, но голосит гортань моя;
Меня знобят и стужи и пыланья;
На сердце — искры; на душе — рыданья;
Я жив, но мертв, смеюсь, но слезы лья;
Везде — вода, но пламя пышет рьяно;
Пред взором — море; в сердце — горн Вулкана;
Мне люб другой, но только не я сам;

Раскину ль крылья, — все к земле теснится;
Взнесу ль все вверх, — и должен вниз стремиться.
Все убегает, — раз гонюсь я по следам;
Кого ни позову, — не отвечает;
К кому стремлюсь, — бесследно исчезает.

Х

Какой удел дала природа мне!
Живу во смерти смертью живою,
Казним любовью казнию такою,
Что разом я и жив и мертв вполне.
Едва лишусь надежды, — ад во мне;
А есть надежда, — рай мечтами строю;
Но к полюсам запретны мне пути, —
Ни в ад, ни в рай мне не дано войти.
В груди не иссякает стон;
Я вижу с перекрестка две дороги,
Их колеей идти не могут ноги;
Сам за собой я мчусь, как Иксион,
Затем, что там, где безысходны споры,
Их не решат ни удила, ни шпоры.

XI

Филенио. Пастух!

Пастух. Кто кличет?

Филенио. Что с тобой?

Пастух. Страдаю!

Филенио. Чем?

Пастух. Жизнь и смерть меня равно томят.

Филенио. Кто виноват?

Пастух. Любовь!..

Филенио. Убийца!

Пастух. Знаю.

Филенио. А где она?

Пастух. Здесь, в сердце, сеет яд...

Филенио. Злосчастный!

Пастух. Ах!

Филенио. Ты гибнешь?

Пастух. Умираю...

Филенио. От взоров?

Пастух. Да! В них двери в рай иль в ад.

Филенио. Чего ж ты ждешь?

Пастух. Пощады...

Филенио. От кого же?

Пастух. Все от нее, кто сердце мукой гложет!

Филенио. Дождешься ли?

Пастух. Как знать!

Филенио. Твой ум мутится.

Пастух. Пусть так! Душе такой конец лишь мил.

Филенио. А что ж любовь?

Пастух. Молчит...

Филенио. А ты б молил!

Пастух. Молю, — и честь упрека не боится...
Филенио. Не лучше ль...
Пастух. Что?
Филенио. Бежать, забыть о ней?.
Пастух. Ее презренье мук моих страшней!

XII

Когда летит на пламя мотылек,
Он о своем конце не помышляет;
Когда олень от жажды изнемог,
Спеша к ручью, он о стреле не знает;
Когда сквозь лес бредет единорог,
Петли аркана он не примечает;
Я ж в лес, к ручью, в огонь себя стремлю,
Хоть вижу пламя, стрелы и петлю.
Но если мне желанны язвы мук,
Тогда зачем огонь так едок ранам?
Зачем порывы стянуты арканом?
Зачем меня так остро жалит лук?
Зачем везде мне в сердце, в душу, в разум
Костры, арканы, стрелы метят разом?

XIII

Так чист костер, зажженный красотой,
Так нежны путы, вяжущие честь,
Что боль и рабство мне отраднo несть,
И ветер воли не манит мечтою.
Я цел в огне и плотью и душою,
Узлы силков готов я превознесть,

Не страшен страх, в мученьях сладость есть,
Аркан мне мил, и радуюсь я зною.
Так дорог мне костер, что жжет меня,
Так хороши силков моих плетенья,
Что эта мысль сильней, чем все стремленья!
Для сердца нет прелестнее огня,
Изящных уз желанье рвать не смеет,
Так прочь же, тень! И пусть мой пепел тлеет!

XIV

Увы, увы! Неистовая кровь
Приказывает мне считать опорой
Ту муку неизбывную, которой
Как счастьем дарит меня любовь.
Душа моя! Иль ты забыла время,
Когда иным речам внимала ты?
Зачем же ныне тирании бремя,
Держащее в оковах маяты,
Я больше, чем стремленье к воле, славлю?
Довольно! Я свой парус ветру ставлю,
Дабы, презрев и гавань и лазурь,
В желанную нестись опасность бурь.

XV

Хоть тяжелой мукой ты меня томила,
Любовь, тебе я славу воздаю,
За то, что ты мне сердце полонила,
Проникнув через раны в грудь мою,
Чтоб показать, как чудотворна сила

В том божестве, кому хвалу пою.
Пусть для толпы мой жребий непригляден,
Надеждой нищ, а вождельнем жаден, —
Ты помогай мне в подвиге моем!
И если даже цель недостижима
Иль второпях душа несется мимо,
Я счастлив тем, что мчит ее подъем,
Что ввысь всегда меня ты устремляешь
И из числа презренных отделяешь.

XVI

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной;
Так дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын себя не обесславил
Паденьем; мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил?
Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Держанье
Нам принесет в расплату лишь страданье...»
А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный...»

XVII

Тот бог, что мир громами сотрясает,
К Данае сходит золотым дождем,
Он Леду видом лебедя прельщает,
Он Мнемозину ловит пастухом,
Драконом Прозерпину обнимает,
А сестрам Кадма предстает быком.
Мой путь иной: едва лишь мысль взлетает,
Из твари становлюсь я божеством.
Сатурн был лошаком, Нептун — дельфином,
Лозою — Вакх, а бог богов — павлином,
Был вороном пресветлый Аполлон,
Был в пастуха Меркурий превращен,
А у меня — обратная дорога:
Меня Любовь преображает в бога!

XVIII

Средь чащи леса юный Актеон
Своих борзых и гончих псов спускает,
И их по следу зверя посылает,
И мчится сам по смутным тропам он.
Но вот ручей: он медлит, поражен,-
Он наготу богини созерцает:
В ней пурпур, мрамор, золото сияет;
Миг, — и охотник в зверя обращен.
И тот олень, что по стезям лесным
Стремил свой шаг, бестрепетный и скорый,
Свою же теперь растерзан сворой...
О разум мой! Смотри, как схож я с ним:

Мои же мысли, на меня бросаясь,
Несут мне смерть, рвя в клочья и вгрызаясь.

XIX

Пустынный путь ведет меня туда,
Где разум мой восторгом наполняет.
Останься здесь! Здесь все тебя питает
Возможностью искусства и труда.
Здесь возродись! Из твоего гнезда, —
Наперекор тому, что рок мешает, —
Пусть сюда полет свой направляет
Твоих птенцов бездомная чреда.
Иди ж, — и да познаешь изумленье
Нежданных встреч! И пусть тебя ведет
Тот бог, кого глупец слепым зовет.
Иди, храня священное почтенье,
К той полноте, что миру зодчий дал, —
И не лети ко мне, когда чужим ты стал.

XX

Безумцы, пестуйте свои сердца!
Мое ж ушло далекою тропою,
Где, схваченное грубою рукою,
С восторгом ждет смертельного конца.
Я ежечасно кличу беглеца,
Но вольный сокол, новой горд судьбою,
Не хочет знать, безумец, над собою
Ни власть мою, ни зова бубенца.
Прекрасный хищник, ты мне душу точишь

Пометинами клюва и когтей,
Ожогом взглядов, звяканьем цепей!
Но если впрямь вернуться ты не хочешь,
Пылаешь, страждешь, ширишь взмахи крыл, —
Пошли судьба им обновленья сил!

XXI

Дерзання, глуби, взлеты дум моих!
Зачем спешите вы уйти из лона
Моей души? Зачем из-за заслона,
Как лучники, в глубины чресл родных
Вы целитесь? А на тропах крутых
Ждет хищник вас у своего притона...
Вернитесь! Приведите от лесной
Богини сердце, изгнанное мной!
Храня огонь родного очага,
Не позволяйте взорам
Прельщаться чуждым пламенем, которым
Вас манит злонамеренность врага, —
Спешите, други, сами
Прийти к душе с отрадными вестями!

XXII

И вы, мои жестокие сыны,
Меня на муку бросили из мести, —
Вам любо продолжение войны,
Вы все шипы оставили на месте.
О небо, на уродство и бесчестье
Зачем все связи чувств обречены,

Как не затем, чтоб мной явить примеры
Слез без конца и горестей без меры?
Сыны мои, молю вас, бога ради, –
Оставьте мне крылатый пламень мой,
И пусть хотя б один из вас живой
Из лап судьбы придет к родной ограде!
Но нет, — никто мне сна не возвратит
И жгучих ран моих не остудит!

XXIII

Псов Актеона яростная стая!
Когда свою богиню я искал,
Я глас надежды слышал в звуках лая,
Пока ваш бег ручья не достигал.
Как вы теперь впились в меня! Какая
В вас ярь и страсть, чтоб жизнь я потерял?
Позволь, о жизнь, мне к солнцу устремиться,
Пусть не на мне возмездие свершится!
Скажи, судьба, когда мой тяжкий груз
Даст естеству разъять меня на части?
Когда уйду я из-под низкой власти,
И в высоту с восторгом вознесусь,
И сердцу моему под небесами
Найду приют с родимыми птенцами?

XXIV

Когда, судьба, я вознесусь туда,
Где мне блаженство дверь свою откроет,
Где красота свои чертоги строит,

Где от скорбей избавлюсь навсегда?
Как дряблым членам избежать стыда?
Кто в изможденном теле жизнь утроит?
В боренье с плотью дух всегда сильней,
Когда слепцом не следует за ней!
И если цели у него высоки,
И к ним ведет его надежный шаг,
И ищет он единое из благ,
Которому дано целить пороки, —
Тогда свое он счастье заслужил
Затем, что ведал, для чего он жил.

XXV

Сквозь два луча, ничтожный ком земли,
Немало слез привык струить я в море;
И из груди, где сердце давит горе,
Немало вздохов ветры унесли;
Пыланья сердца, ширясь на просторе,
На небесах огни свои зажгли; —
Так приношу средь вздохов и рыданий
Огню, воде и воздуху я дани.
Ко мне огонь, и воздух, и вода
Благоволят; лишь у моей богини
Ко мне нет милосердия доныне;
Она не обернется никогда
На мой призыв, мольбы моей не слышит
И на меня лишь равнодушьем дышит.

XXVI

Сойдет ли Солнце к знаку Козерога —
Дожди вздувают все ручьи полней;
К экватору ль ведет его дорога, —
Послы Эола носятся слышней;
А возле Рака Солнце понемногу
Дневное время делает длинней.
Мои ж томленья, вздохи и невзгоды
Не знают смен ни от какой погоды.
Я в равной мере слезы лью
От избытка страсти и печали,
И, как они меня б ни волновали,
Им не дано унять тоску мою.
Моим влечениям нет граней,
И, ровень с ними, нет их для страданий.

XXVII

На вышине, над облачной грядою,
Как часто я парю своей мечтой,
Одумавшись, полет снижаю свой
И, вспыхнув вновь, воздушный замок строю.
О, если б снисходительной судьбою
Был огражден высокий пламень мой
От холода, вражды и безучастья, —
Мучение я принял бы как счастье.
Увы, судьба не чувствует, не знает
Твоих приманок, Отрок, и оков,
Губительных для смертных и богов,
Которых плен и рабство ожидает.
Но чтобы ты познала боль мою,
Тебе, Любовь, ключ замка отдаю.

XXVIII

На гнет любви я сетовать не стану,
Я без нее отрады не хочу,
Пусть бередит она мне в сердце рану, —
О вожденном я не умолчу.
Идет ли мгла, иль время быть лучу, —
Тебя, мой Феникс, ждать я не устану;
Кому ж дано распутать узел тот,
Которого и смерть не разорвет?
Для разума, для сердца, для души
Нет наслажденья, жизни и свободы,
Что были б так желанно хороши,
Как те дары судьбы, страстей, природы,
Которые столь щедро за мой труд
Мне муку, тяготу и смерть несут!

XXIX

Победоносный вождь Фарсальского сраженья!
Когда усталый строй твоих солдат встречал
В бою твой грозный лик, он силу в них вливал, —
И гордого врага постигло поражение.
Так и мои к добру высокие стремленья,
Когда я им в борьбе мечту свою являл,
Избыв смятение, опять бросались к цели
И яростней любви порывами кипели.
Воспоминание о том
Дает душе столь мощно обновиться.

Что властная ее державная десница
Все непокорное сгибает под ярем;
Но мной она так мирно правит,
Что ни моих цепей, ни блеска не бесславит.

XXX

О Феникс, птица солнца, царь сияний,
Чей возраст равен миру, чей зенит
Над радостной Аравией стоит;
Ты — тот, что был, а я — не тот, что ране.
В огне любви я гибну от страданий,
Тебе же солнце вечно жизнь дарит;
Ты лишь в одном, я в каждом месте гасну;
Зажжен ты Фебом, я ж Амуром властным;
Для долгой жизни дан предел
Тебе обширный, — мой же краток срок,
И что ни шаг, то гибели примета;
Чем был, чем будет дальше мой удел, —
Не знаю я; мой вождь — незрячий рок,
А ты, ты вновь придешь к истоку света.

XXXI

Ты, Солнце, умеряешь свет Вола,
Со Львом даешь тепло и созреванье,
А в жале Скорпиона шлешь пыланье,
Чтобы Земля все соки обрела;
Но Водолей, изгнав блага тепла,
Несет затем телам отсыреванье.
Мне ж весны, лета, осени и зимы

Равно томительны и нестерпимы.
Меня одно желанье жжет,
Все вновь и вновь я в вышину взлетаю,
Где свой предмет высокий созерцаю.
Который к звездам пламень мой влечет;
И нет во времени мгновенья,
Что утишить могло б мои томленья.

XXXII

Нестойкая, ущербная луна
То полный диск, то узкий серп являет,
То хмурится, то светится, бледна,
То северным Рифеям луч бросает,
То к южной Ливии обращена,
Пологих гор уступы озаряет.
Не такова моя луна: она
Всегда ущербна, вечно неполна.
На горе мне моя звезда
Уносится, ко мне не возвращаясь,
Жжет издали, ко мне не приближаясь,
Всегда враждебна, но мила всегда,
И лик ее, которым я изранен,
Ко мне жесток, но мне всегда желанен.

XXXIII

О старый дуб, ты распростер в лазури
Свою листву, а корни в землю врыл;
Ни сдвиг земных пластов, ни ярость бури,
Что Аквилон в долину устремил,

Ни лютое дыханье зимней хмури,
Тебя не свалят: ты — все тот, что был.
Ты образ истинный моих воззрений,
Не дрогнувших средь стольких потрясений.
Все ту же пядь земли своей
Ты крепко держишь, вечно обнимаешь,
И в благостное лоно погружаешь
Признательную сеть своих корней.
Так я, влеком одной мечтою,
Тянусь к ней чувством, мыслью и душою.

XXXIV

Меня раскаты Этны не влекут,
Когда с ее вершины Зевс грохочет;
Я, увалень-Вулкан, останусь тут,
Где молодой Титан воспрянуть хочет,
В ком новые дерзания живут
И против неба гордый гнев клокочет;
Здесь тяжелее молот, крепче жар,
И горн, и наковальня, и удар.
Здесь грудь так вздохами полна,
Что, как мехи, они в ней распаляют
Огонь, которым душу закаляют,
Чтоб яд мучений вынесла она.
Но слышит слух скрежещущие звуки
Испытанных обид и долгой муки.

XXXV

Венера, неба третьего богиня,
Мать отрока, чей беспощаден лук, –
Главой отца рожденная Афина, –
И Гера, старшая среди супруг, –
Спросили Пастуха-Троянца: чья гордыня
Оправдана? кто краше из подруг?..
Моя ж богиня выше их! Ей мера –
Не Гера, не Паллада, не Венера!
Она поспорит красотой
С Кипридою, а разумом с Минервой,
Она и близ Юноны будет первой.
Хоть много величавости у той;
Она прекрасней их обличьем, –
Умом, и красотой, и величьем!

XXXVI

Аврорины, Астревы сыны,
Колеблющие небо, землю, море, –
Вы непокорства все еще полны?
Вы все еще с богами в гордом споре?
Прочь из пещер Эолии! Должны
Вы путь себе искать в ином просторе:
Я вам велю вместиться в эту грудь,
Чтоб в горестях она могла вздохнуть!
Вы, от кого морям покоя нет,
Вы, двигатели бурь их и волненья,
Одно вам может дать успокоенье:
Двух звезд губительно-безвинный свет,

Которые, открыты иль сомкнуты,
Вернут покоя вам и гордости минуты.

XXXVII

Уходит из дому крестьянин рано,
Едва встает с груди Востока день;
Когда ж начнет жечь солнце слишком рьяно,
Томимый зноем, он садится в тень.
И снова до вечернего тумана
Он трудится в поту, изгнавши лень;
Потом он спит. Я ж не смыкаю очи
Ни на заре, ни в полдень, ни средь ночи.

Затем что два пылающих луча,
Что взоры солнца мне бросают,
С пути души моей не исчезают;
Их ярость неизменно горяча
И, волею судьбы моей, жжет властно
Мне горестное сердце ежечасно.

XXXVIII

Есть время сеять, время — собирать;
Ломать — и строить; плакать — и смеяться;
Трудиться — и безделью предаваться;
Держать — и двигать; бегать — и лежать;
Есть время класть — и время поднимать;
Целить — и ранить; ждать и устремляться;
Меня ж за мигом миг, за годом год
Любовь пытается, дыбит, ранит, жжет.

Она мне сокрушает члены,
Она меня ввергает, как палач,
Из стонов в стоны и из плача в плач;
И нет моим мученьям перемены,
И их однообразный ход
Ни роздыха, ни смерти не дает.

XXXIX

Змея! Томясь на плотном снежном слое,
Ты корчишься, дрожишь, ты кольца вьешь
И, чтоб смягчить страдание такое,
С пласта на пласт от холода ползешь.
Не видит лед твоё томленье злое,
Он глух к тому, что ты его зовешь, –
Будь иначе, он на твои мученья
Ответил бы хоть каплей сожаленья.
А я меж тем в неистовом огне
Вращаюсь, корчусь, мерзну и пылаю;
В моей богине я не примечаю
Ни склонности, ни жалости ко мне;
Она, как лед, не видит и не слышит,
Какою стужею мой пламень дышит.

XI

Ты хочешь ускользнуть, но тщетно, змей!
Смыкаешь пасть, но пасть твоя зияет,
Свиваешься, но сила иссякает,
Ты льнешь к земле, но снег лежит на ней;
Ждешь милосердия, но к мольбе твоей

Крестьянин глух и колом угрожает;
Звезда, заступник, место, хитрость, труд
Тебя уже от смерти не спасут.
Мне мил твой снег, тебе же мил мой зной;
Ты ежишься, я растворяюсь в боли;
Я рвусь к твоей, а ты к моей недоле;
Но не дано свершить обмен судьбой;
И ты и я давно уж не невежды:
К нам злобен рок, – оставим же надежды!

**Стихотворения из Диалога четвертого
(Рассуждение о девяти слепых)**

LXXI

Говорит поводырь девятого слепца:
Вы счастливы, влюбленные слепые!
Вы муки ваши в силах описать
И за свои рыдания глухие
Обрести участие добрых благодать.
У моего ж ведомого иные
Мученья — в них он осужден пылать.
Не раскрывая уст: где сил набраться,
Чтоб мог своей богине он признаться?
Толпа! Открой же путь
Страдальцу с ликом, скорбью истомленным!
Взгляни на жертву взором благосклонным:
Стучит его измученная грудь
У погребальной двери:
Ведь смерть ему милей его потери!

Стихотворения из Диалога пятого

LXXII

Песнь главного слепца перед нимфами Темзы

О дамы! Здесь, пред вами, – те (не скрою!),
Чья чаша заперта и чьи сердца больны,
Но на природе в этом нет вины;
Тут только воля рока,
Который истерзал жестоко
Нас несмертельной смертью – слепотою.
Нас – девять, тех, кто много лет блуждали,
Ища познания, шли чрез много стран,
Пока не заманила нас в капкан
Судьба столь бессердечно,
Что вы воскликнете, конечно:
«О любомудры! тяжко вы страдали!»
Цирцея та, которая немало
Гордится тем, что солнце – ей отец,
Предстала нам, измученным вконец,
И из открытой чаши
Плеснула влагой в лица наши,
Потом вершить свои заклятья стала.
И ждали мы конца ее деянья.
Внимая молча, словно простецы,
Пока она не молвила: «Слепцы!
Отныне прочь ступайте
И в выси те плоды срывайте,
Которые доступны без познания».
«О дочь и мать мрака и напасти, –
Ответил ей ослепший в трудный час, –

Ужель тебе так сладко мучить нас,
Страдальцев, что, судьбою
Гонимые, перед тобою
Предстали, чтоб твоей предаться власти?»
Потом наш гнев унынием сменился;
Потом дал новый поворот в судьбе
Иные чувства нам обречь в себе:
Чтоб гнев смягчить мольбою,
Один из нас тогда с такою
К Цирцее речью скорбно обратился:
«Прими от нас, волшебница, моление!
Во имя ль славы, жаждущей венца.
Иль жалости, смягчающей сердца.
Будь нам врачом желанным
И многолетним нашим ранам
Поддай своими чарами целенье!
И хоть твоя рука нетороплива,
Все ж не откладывая спасенья час,
Не отдавай в добычу смерти нас,
И пусть твои движенья
Исторгнут слово восхищенья:
Мучитель наш врачует нас на диво!»
Она ж в ответ: «О любомудры, знайте:
Вот чаша здесь со влагою другой!
Ее открыть нельзя моей рукой;
Вы сами с чашей этой
Идите вдаль и вглубь по свету,
Во всех отважно областях пытайте.
Решеньем рока, миру на потребу,
Лишь мудрости в единстве с красотой,

Слиянной с благородной добротой,
Дано снять крышку с чаши;
Иначе все усилья ваши
Не смогут предъявить ту влагу небу.
И тот из вас, кто из прекрасных дланей
Целебной влагой будет окроплен,
Высокую познает милость он,
И для его мученья
Желанное придет смягченье,
И он узрит двух дивных звезд сиянье.
Но остальных пусть зависть не тревожит.
Как долго бы для них ни длился мрак;
Под небосводом не бывает так,
Чтоб радость награжденья
Не стала платой за мученья, –
Там, где старанье человек приложит!
Вот почему дороже всех жемчужин
Теперь для вас должна явиться та,
К которой приведет вас слепота:
Пусть бьет она жестоко,
Но так ее лучисто око,
Что свет иной для мудреца не нужен».
Но мы устали! Слишком долго время
Водило наши бедные тела
Дорогами земли, и приняла
Надежда наша ныне
Обличье миража в пустыне, –
Все, что манило, превратилось в бремя.
Злосчастные! Как поздно мы нашли.
Что та колдунья хочет за страданья

Нас обмануть миражем, ожиданьем,
Считая, что напрасно
Поверим мы обманщице прекрасной,
Не угадав в небесных ризах лжи.
Но если впрямь бесплодны ожидания,
Смиренно примем то, что шлет нам рок,
Из наших тягот извлечем урок
И робкою стопою
Бредя житейскою тропую,
Влачить мы будем наше прозябанье.
О нимфы Темзы, вы, что игры ваши
Ведете по зеленым берегам,
Позвольте с просьбой обратиться к вам:
Дерзнуть попыткой смелой
Открыть для нас рукою белой
То, что судьба укрыла в этой чаше.
Как знать! Быть может, здесь, где с моря волны
Несут в своих быстринах Нереид,
Где в Темзе, снизу вверх, прилив стремит
Широкое течение,-
Предначертало провиденье
Замок снять с чаши, дивной влаги полной!

Песни слепцов перед Цирцеей и нимфами Темзы

LXXIII

Первый заиграл на цитре и пропел следующее:

О кручи, о шипы, о бездны, о каменья,
О горы, о моря, о реки, о луга, –
Какие дивные таятся в вас блага!

Своею помощью не вы ли
Нам таинства небес открыли?
О, наших быстрых ног счастливое движенье!
Второй заиграл на мандолине и пропел:
О, наших быстрых ног счастливое движенье!
Цирцея дивная! О ты, венец трудов
Унылых месяцев, оплаканных голов!
О, дивных милостей отрада!
Она пришла для нас, награда,
За бремя стольких мук, и тягот, и томленья!
Третий заиграл на лире и пропел:
За бремя стольких мук, и тягот, и томленья
Мы в гавань прибыли, укрытую от бурь.
Восславим же теперь небесную лазурь!
Закрыло небо пеленою
Наш взор с заботою одною:
Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключение.
Четвертый заиграл на скрипке и пропел:
Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключение,
На долгие года закрыл нам зренье мрак.
Вот цель, что выше всех земных утех и благ, —
Забота, полная тревоги,
Чтоб к свету нас вели дороги,
Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья.
Пятый заиграл на испанском бубне и пропел:
Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья,
Чтоб высшую мечту в желания вдохнуть,
Единственный для нас был уготовлен путь,
Который нам явил сегодня
Творенье лучшее Господне, —

Заботливой судьбы здесь явно попеченье!
Шестой заиграл на лютне и пропел:
Заботливой судьбы здесь явно попеченье;
К утехам от утех сплошной дороги нет,
И беды не ведут вслед за собою бед;
Все движется, коловращаясь,
То поднимаясь, то спускаясь,
Как день и ночь ведут чредой свои явления.
Седьмой заиграл на ирландской арфе и пропел:
Как день и ночь ведут чредой свои явления,
Как прячет в темноте покров светил ночных,
И солнечный полет, и блеск лучей дневных,
Так правящий судьбой вселенной
Законом силы неизменной
Несет простым венец, а знатным унижение.
Восьмой заиграл смычком на виоле и пропел:
Несет простым венец, а знатным унижение
Тот, кто механике пространств дал точный ход,
Кто быстро, медленно иль мерно их ведет,
Вращенье их распределяя,
С пределом масс соизмеряя.
Загадки естества раскрылись постиженью!
Девятый заиграл на рожке:
Загадки естества раскрылись постиженью!
Не отрицай, — скажи, что близится конец
Безмерному труду, что уж готов венец
Ему среди пространств веселых,
Средь гор и рек, в лесах и в долах.
Где кручи, где шипы, где бездны, где камня?

LXXIV

Песнь прозревших

«Зачем питать мне зависть к небесам,-
Сказал Нептун, надменно улыбаясь,-
Когда так полно наслаждаюсь,
О Зевс, я тем, чем обладаю сам?»
«А чем ты горд? — ответил Зевс ему,-
Свои богатства чем ты приумножил?
Чем буйство волн ты растревожил?
И спесь твоя раздулась почему?»
«Пусть ты царишь, — сказал властитель вод, —
В том светозарном небе, где пылает
Стезя, которой пробегает
Твоих светил несметный хоровод;
И пусть меж ними солнце — всех светлей;
Однако же оно не так прекрасно,
Как та звезда, которой властно
Я вознесен над гордостью твоей.
В моих водах, не знающих преград,
Лежит страна-счастливица, в которой
Струится Темзы ток нескорый,
Пристанище прелестнейших наяд;
Средь них одна — других стократ милей;
И даже ты, о грозный Зевс, не споря,
Отвергнешь небо ради моря,
Чтоб видеть солнце меркнувшим пред ней!»
Но Зевс ответил: «Не допустит рок,
Чтоб кто-либо затмил меня блаженством!
Однако можешь ты равенством

Мне уподобиться, о водный бог:
Твоя Наяда — солнце вод твоих;
Но и по тем же вековым законам,
В другой стихии отраженным,
Она есть солнце и для звезд моих!»

ИЗ ГЁТЕ

Фульский король

Жил Фуле король. До гроба
Он верность хранил одной.
Умирая, его зазноба
Дала ему кубок златой.

Он с кубком не расставался
За трапезами с тех пор;
Когда ж устами касался,
Слеза застилала взор.

И вот подошла кончина:
Он отдал все города
Наследникам до едина,
Но кубок, — нет, никогда!

В последний раз восседали
Сыны и он за столом
В высоком дедовском зале,
Над морем, в замке своем.

И вставши, бражник согбенный
Свой кубок испил до дна
И кинул залог священный
Вниз, где кипела волна.

Он видел, как падал, тонул он,
Как скрыла его вода;
Смертельно очи сомкнул он, —
Он больше не пил никогда.

1939

БОДЛЕР. ИЗ «ЦВЕТОВ ЗЛА»

Читателю

Ошибки, глупости, падения, пороки
Насилуют наш ум и наше тело жрут;
Мы кормим совести ленивые упреки,
Как кормит вшей своих в ночлежке нищий люд.

В грехах настойчивы, в раскаяньях ленивы,
Мы требуем себе за исповедь наград;
И снова шлепаем по грязи торопливо,
Дешевою слезой смочив себя стократ.

На изголовье зла баюкает и холит
Наш ум сам Трисмегист, верховный Сатана, —
И металлическая твердость нашей воли
Премудрым химиком в труху превращена.

Поводья наши Черт себе на пальцы ниже,
К отвратным пакостям нацеливши наш шаг;
И к Аду, что ни день, подходим мы все ближе,
Беспечно шествуя через зловонный мрак.

Как нищий потаскун, в припадке вождельня,
Изношенную плоть Старухи страстно мнет,
Так мимоходом мы ворuem наслажденья,
Укрыв за пазухой их высосанный плод.

Миллионами глистов шевелится, роится
В нес племя Демонов, густея что ни час;
И с каждым вздохом Смерть к нам в легкие струится,
Незримою рекой точа уныло нас.

И если яд, кинжал, огонь, насилье краше
Не могут расцветить обыденной канвы
Неизменяемых, унылых судеб наших,
Так значит, робкая душа у нас, — увы!

Однако среди змей, стервятников, шакалов,
Клещей, тарантулов, лемулов, обезьян, —
Всей злобной нечисти, какой кругом немало
Рычит, свистит, шипит в зверинце, что нам дан, —

Есть чудище страшней, бесстыдней и позорней,
Что тихо, не будя тревожности ни в ком,
Хотело б плюнуть мир в комочек грязи черной
И проглотить его одним своим зевком:

То — Скука! жгя гашиш, туманя глаз слезою,
Она ждет гильотин, чтоб возмутить покой.
Она стоит всегда в глазах у нас с тобою,
О мой двойник, — мой брат, — ханжа! читатель мой!

Альбатрос

Нередко пленником досужих моряков
Бывает альбатрос, пернатый страж простора,
Неспешный спутник шхун, скользящих меж валов
Соленых пропастей морского кругозора.

Едва лишь сброшен он на палубный настил,
Как этот князь небес, лишенный сил и власти,
Неловко волочит громады белых крыл,
Как волочит корабль оборванные снасти.

Крылатый паломник, как грузен он и хром!
Как на былую стать смотреть смешно и жалко!
Один, дразня его, в клюв тычет кулаком,
Другой, насмешничая, ходит в перевалку.

Поэт — подобие властителя высот:
Ни грозы, ни стрелки к нему не достягают,
Но сброшен на землю, он средь пинков живет,
И мощные крыла ходить ему мешают.

Соответствия

Природа — это храм, где строй живых колонн
Перекликается чуть приглушенным хором,
И чащей символов объят со всех сторон
Проходит человек под ласковым их взором.

Как эхо эху шлет протяжный свой ответ
В повторном тождестве начала и развязки,
Всеобнимающем, как ночь и как рассвет, —
Так сродны запахи, созвучия и краски.

Есть запахи свежей, чем детские тела,
Нежней, чем пенье флейт, и зеленее прерий,
И есть торжественные, как колокола,

Исполненные тайн, преданий и поверий:
То — запах мускуса, корицы, амбры, сот,
В которых ярость чувств и разума живет.

Больная муза

О муза! бедная! Скажи мне, что с тобой?
Уж утро, а твой взгляд полн сумрачных видений;
Безумие и страх кладут наперебой
На твой холодный лоб безжизненные тени.

Суккуб ли бледный иль румяный домовой
Плеснули в твой фиал отравой наваждений?
Иль, может быть, кошмар властительной рукой
Топил тебя в волнах великих наводнений?

Нет, нет! В груди твоей пусть веет аромат,
Чтоб каждый вздох ее был свежестью богат,
Чтоб в жилах кровь твоя текла волной ритмичной,

Как череда слогов в поэзии античной,
Где песни светлый Феб слагает средь олив
Иль спит великий Пан, хозяин тучных нив.

Враг

Я молодость провел под сумрачной грозою,
Сверканьем ярких солнц пронзенной кое-где;
Дожди и громы шли по ней такой чредою,
Что не было цветов ни на одной гряде.

И вот уже вступил я в осень размышлений,
И грабли с заступом потребны мне опять,
Чтоб норы оползней, промоины течений
Натаस्कанный землей прикрыть и уравниять.

Как знать, взращу ли я из тех семян, что сеял,
Цветы, которые в мечте своей лелеял,
И сок размытых почв во благо ль будет им?

О горе! Задержать жизнь времени не может
И тайного Врага, что наше сердце гложет,
Своею кровью мы питаем и растим.

Цыгане в пути

Пророчественный клан с горящими зрачками
Вчера пустился в путь, привесив за спиной
Младенцев иль кормя их ненасытный рой
Млекообильными, отвислыми сосцами.

Мужчины тянутся пешком, звеня клинками,
Вдоль каждого возка, груженного семьей, —
А их туманный взор, насыщенный тоской
Несбывшихся химер, скользит под облаками.

Кузнечик, в конуре песчанистой своей,
Завидя шествие, звенит еще звончей,
Кибела ласковой манит красотой цветущей,

Пустыня травами, скала ручьем шумит,
Встречая путников, которым приоткрыт
Вход в сокровенный мир безвестности грядущей.

Человек и море

Свободный человек, ты кровно любишь море!
В нем — зеркало твое: ты созерцанья полн
Своей души, когда следишь за зыбью волн,
И полн раздумий, внемля зову бездн в просторе —

Ты вглубь своей души как водолаз ныряешь,
Чтоб распознать себя наедине с собой,
И настороженно вдруг слышишь сердца бой,
И с диким стоном волн его сопоставляешь.

Вы оба пасмурны, таитесь молчаливо.
Кто может, Человек, измерить глубь твою?
Кому ты, Море, дашь исчезь казну свою?
Дороги ваших тайн преграждены ревниво.

Так вы проходите сквозь долгий ряд столетий,
Всегда в борьбе, с врагом сплетясь лицом к лицу,
Влача ослабшего безжалостно к концу, —
Борцы-соперники! Одной утробы дети!

Дон Жуан в преисподней

Лишь только Дон Жуан сошел к стигийским волнам
И свой обол в ладонь Харону положил, —
Какой-то сумрачный бродяга, с взором полным
Надменной мстительности, челн за борт схватил.

Рой женщин корчился, расшнуровав корсажи
И выставив сосцы под облачной грядой,
И, словно стадо жертв в своем предсмертном раже,
Вослед отплывшему протяжный поднял вой.

Насмешник Сганарель за труд просил дублонов,
А дряхлый Дон Луис, встав с ложа своего,
Указывал теньям, толпившимся вдоль склонов,
На сына, что попрал честь седины его.

Под крепом, кроткая и тощая Эльвира
В несытой страстности дрожала все сильней,
Моля неверного супруга и кумира
Улыбкой подтвердить обеты прежних дней.

Прям, в каменной броне, средь волн, текущих мимо,
У схода высылся огромный Командор, —

Но, опершись на меч, Герой невозмутимо
Следил за быстринной, не поднимая взор.

Красота

Как мраморный чертог, прекрасна я, о люди!
И те, кто отдают мне жизни вновь и вновь,
Вкушают из моей чудотворящей груди
Как мир недвижимую и вечную любовь.

Я — молчаливый сфинкс, царящий в выси синей,
Я — белоснежный лебедь с сердцем изо льда,
Я — враг движения, что портит строгость линий,
И я не радуюсь, не плачу никогда.

Поэты черпают из рук моих просторных
Первины высших дел и замыслов людских
И жизнью жертвуют свершенью дум упорных.

И тем я властвую над сонмом слуг покорных,
Что мир обычностей преображен для них
В зеркальном свете глаз, широких глаз моих.

Гигантша

Во дни, когда природа в страстности живой,
В неудержимости неистоцимых родов,
Выбрасывала в мир титанов и уродов, —
Я стал бы жить вблизи Гигантши молодой,

Как кот у ног княжны. Я стал бы созерцать
Ее ужасных игр огромные движенья,
В туманах глаз ее — желаний пробужденья,
То угрожающих, то дремлющих опять;

Скользить по выпуклостям форм ее могучих
Или, вскарабкавшись, сидеть на мощных кручах
Ее колен. Когда ж в час зноя, средь полей,

Она раскинется на отдых в дреме томной
И я бы стал дремать в тени ее груди,
Как бугорок земли в тени горы огромной.

* * *

Ты согнала б весь мир в свой переулок, сука!
В несытости твоей; тебя терзает скука
Ты ждешь, чтоб каждый день тебе был пленник дан
И новая душа попала в твой капкан.
Твои глаза горят огнем витрин столичных
Иль блеском факелов на празднествах публичных.
Ты манишь каждого на зов их красоты,
Хоть тайной власти их не разумеешь ты.
Орудье палача, бездушное, слепое,
Вампир неистовый, губящий все живое,
Ужель ты — без стыда? Ужель не прочитал
Твой взор судьбы твоей в свидетельствах зеркал?
Ужель, с таким искусством сея в мир заразу,
Не отшатнулась ты от дел своих ни разу,

Когда свой тайный план природа возлюбя,
Использует тебя, о женщина, — тебя,
О низменная тварь, — чтоб зародился гений?
— О, блеск из мерзостей, величье из растений!

* * *

Волной своих шелков нам застилая мир,
Когда она идет, то словно бы танцует,
Подобная змее, которую факир
Касаньем посоха ритмически волнует.

Как мертвые пески под вечной синевой,
Перед страданием людским невозмутима,
Как длинной пеною лежащийся прибой,
Неизменяема, она проходит мимо.

Бесценный сплав камней горит в орбитах глаз,
И в этом существе, чужом, необъяснимом,
Где слит античный сфинкс с небесным серафимом,

Где все есть золото, сверканье, сталь, алмаз,
Остывшею звездой коснеет в безразличье
Бесплодной женщины холодное величье.

* * *

В ту ночь, что я провел с Еврейкою ужасной,
Когда как будто труп близ трупы возлежал,
У наготы ее, продажной и бесстрастной,
Иной красавицы я образ вызывал, —

Той, что была со мной наивно-величавой,
Чей взор был грацией и силой наделен,
Душистый шлем волос поил меня отравой,
Которой я поднесь еще воспламенен.

О как лобзал бы я строй членов благородных,
Весь стан твой, от ступней до сумеречных кос,
Как расточал бы я щедроты ласк свободных

Тебе, Царица мук, которые я нес,
Когда б хоть раз, в ночи, невольный приступ слез
Смягчил жестокий блеск зрачков твоих холодных!

Песнь Осени

I.

Охватят скоро нас холодные туманы.
Прощай, живой огонь недолгих летних дней!
Уж на дворе топор наносит мрачно раны
Деревьям, и его удары все слышней.

Опять в меня войдет зима, — начнут недуги,
Гнев, ужас, ненависть, немилый труд томить.
Как солнце, стынущее в заполярном круге,
Во мне багровой льдиной сердце будет стыть.

Я с дрожью слушаю стук сучьев, их паденья, —
Как будто ночью, глухо, строят эшафот,
Мой ум подобен башне, ждущей разрушенья,
В которую таран неутомимо бьет.

И этот нудный звук душе моей несносен,
Мне мнится, кто-то гроб соорудить спешит.
Кому? — Мелькнуло лето, наступает осень;
Завороженный шум прощанием звучит.

II.

Как ваших долгих глаз люблю я свет зеленый!
Но, кроткая моя, все горько нынче мне:
Ни ласка, ни уют, ни камелек бессонный
Мне не заменят луч, скользящий по волне.

И всё ж, о нежная, бежать меня не надо!
Пусть через вас к строптивцу, к грешнику, сойдет, —
Подруга и сестра! — короткая отрада:
Величье осени иль солнечный заход.

Ненадолго! Могила ждет, — она ревнива!
Позвольте ж опустить в колени к вам чело,

И чувствовать на нем, прощаясь молчаливо,
Нежаркий, желтый луч, — последнее тепло...

* * *

Дарю тебе стихи, чтоб ежели они
Счастливо выплывут в столетия иные
И именем моим займут умы людские,
— Корабль, завидевший причальные огни, —

То память о тебе в литавры золотые
Гремела б, словно миф, сложенный искони,
И вновь сплели б со мной, как в нынешние дни,
Моих надменных строф созвучия литые,

Тебе, клейменная, кому ни рай, ни ад,
Никто, никто уже, опричь меня, не внемлет,
Тебе, вперившая во все свой ясный взгляд,

Тебе, поправшая стопами стройных ног
Чернь, что тебя хулит и тупо не приемлет,
— Янтарноглазый сфинкс, бронзоголовый бог!

Грустная Луна

Сегодня вечером Луна грустит лениво,
Подобно женщине, что прежде, чем уснуть
На куче тюфячков, груди своей извивы
Рассеянной рукой поглаживает чуть.

Уже дремотным обессилена покоем
Она коснеет на перинах пуховых,
Меж тем как смутный взгляд следит за белым роєм
Растущих в сумраке теней вечеровых.

Когда ж, в истоме сна, она в наш мир порою
Скользнет нечаянной и беглою слезою, —
Почтительный поэт, бессонный друг ночей,

Вместит в свою ладонь жизнь этой капли малой,
Хранящей радужные отсветы опала,
И спрячет на сердце от солнечных лучей.

Треснувший колокол

Легко и горестно, средь полночи, зимой,
Внимать пред камельком, трепещущим и дымным,
Воспоминаниям, что хор далекий свой
В трезвон колоколов вплетают смутным гимном.

О, счастлив колокол, что вопреки годам
Звучит и в старости, всеслышимый и ярый,
Крича воинственно осанну небесам,
Как у шатра кричит в дозоре воин старый.

Моя душа, увы, расколота. И ей
Не приглушить осанной холода ночей,
И часто глас ее, без веры и без силы,

Звучит, как стон бойца, которого забыли
Среди кровавых луж, под грудой мертвцов,
Теряющего жизнь без отклика на зов.

Сплин

Плювиоз, хрипун, брюзга, кому весь свет не мил,
Из урн своих туман холодным льет разливом
На бледных жителей погостов и могил
И мстит болезнями предместиям строптивым.

Мой кот на кафелях, не находя подстил,
Бессонно ерзает скелетом шелудивым;
А призрак старого поэта, что здесь жил,
Гудит сквозь водосток чувствительным мотивом.

Шмель нудно плачется; дымя, дрова шипят;
Осипший маятник им вторит невпопад;
А средь колоды карт, замусленных и бурых,

К которым дряблый нос подагрика приник,
Ловкач, — валет червей, — и злюка, — дама пик, —
Судачат о своих стариннейших амурах.

Сплин

Я словно царь страны, туманами обильной:
Он юн, но он уж дряхл, — богатый, но бессильный;
Весь этикет Двора в ничто им превращен,

Лишь сворою собак устало занят он;
Его нельзя развлечь ни соколиным гоном,
Ни умирающим народом пред балконом;
Его любимый шут злоречием баллад
Не вызывает в нем уже былых отрад;
Его постель с гербом — угрюмее могилы;
Прелестницы, кому любые принцы милы,
Не в силах изобрести такой наряд срамной,
Чтоб на него смешком отвечивал больной;
Алхимик, что монарха золотом снабжает,
Лекарств, чтоб излечить недуг его, не знает;
И ванны римские, где человечья кровь
Державным дряхлецам дарует силы вновь,
Не могут прекратить коснения скелета,
Затем, что в нем не кровь, а мертвенная Лета.

Одержимость

Великие леса, вы жутки, как соборы,
Ревут органы в вас. Отверженным сердцам
Отгулы сводов, где рыдают скорбно хоры,
Подобны вою чащ, их стонам и псалмам.

Будь проклят, Океан! Твой гул, твои волненья
Я узнаю в себе... И смех, которым полн,
Разбитый человек, боль, горечь, возмущенье, —
Я слышу в хохоте огромных этих волн...

Ты мне милей, о Ночь! Но только звезд не надо, —
Их трепет говорит привычным языком;
А я хочу в ничто, я в голый мрак влеком,

Ведь мрак — лишь занавес, неплотная заграда:
За нею тысячи живущих видит глаз, —
Родные существа, ушедшие от нас.

Старушки

(Виктору Гюго)

I.

В извилинах морщин стариннейших столиц,
Где все, вплоть до уродств, манит меня соблазном,
Люблю я наблюдать калек и странных лиц,
В чередовании причудливом и разном.

Их звали женщинами прежде — эту моль!
Но Хлои скрючились, Лаисы изветшали...
Подумайте о них! Живет душа и боль
В лоскутьях юбок их и в дырах этих шалей!

Изябши от ветров, измокши от дождей,
Шарахаясь, когда грохочут экипажи,
Они идут, идут, прижав к груди своей
Подобья сумочек, цветистых, как витражи.

Они хромают, как подбитые зверьки,
Иль пританцовывают, кукольно-неловки,

Иль дергаются, как старинные звонки,
Которых Сатана хватает за веревки.

Согнувшись пополам, они буравят нас
Зрачками, острыми, как луч в глубоких норах,
Иль зачарованно не сводят детских глаз
С прохожих модников в затейливых уборах.

— Заметили ли вы, что для старух гроба
Нередко делают как бы на рост ребенка?
Тут Смерть подсказывает нам, что их судьба
Есть символ, выраженный вдумчиво и тонко.

И вот когда бредет такое существо
По муравейнику Парижа еле-еле,
Мне мнится, что состав изношенный его
К своей младенческой стремится колыбели.

И мне приходит мысль, что надо начертить
Геометрическую схему их увечий,
Чтоб гробовщик сумел по ней соорудить
Ларец, вмещающий их остов человеческий,

— Глаза их — водоем: в нем миллионы слез,
Металлизированные в тигелевой ванне,
И тот, кто через жизнь Злочастье пронес,
Неизъяснимое в них пьет очарованье.

II.

Весталка страстная античного Фраскати;
И жрица Талии, которой имя знал
Лишь умерший суфлер; и Эльф, что в аромате
Роз Тиволи скользил, парил и исчезал, —

Прекрасны вы! Но есть прекрасней между вами, —
Те, что, как радости, страданья возлюбив,
Сказали верности, одевшей их крылами:
«Неси меня в лазурь, могучий Гиппогриф!»

— О ты, приявшая всей Родины кручину;
— Ты, кинувшая жизнь супругу под сапог;
— Ты, Богоматерь, вновь скорбящая по сыну, —
Где русло, что вместит всех ваших слез поток?

III.

Как я люблю бродить за ними по следам!
Одна из них, в тот час, когда закат багряный
Кровоточащие являет в небе раны,
Садилась на скамью, в сторонке, дабы там

Внимать звучанию неиствующей меди
Военной музыки, что в парках, в этот час,
Вкус к героическому пробуждает в нас
И в мирные сердца внедряет зов к победе.

Она сидела там, — так прямо, как могла, —
Как будто в честь нее звенели все литавры,

И бледный лоб ее как бы венчали лавры
И старые глаза метали взгляд орла!

IV.

Так вы проходите, без жалоб, как немые,
Сквозь сутолоку толп, сквозь крики и огни,
Блудницы, матери-страдалицы, святые,
Которых имена гремели в оны дни.

Вас, бывших некогда их радостью, их славой,
Никто не узнает! И пьяный грубиян
Порой пристанет к вам бесстыдною забавой,
А юный сорванец ткнет в язвы ваших ран.

Вы жметесь возле стен, морщинистые тени,
Согбенно-робкие, стыдящиеся жить,
У граней бытия последние ступени, —
И не спешит никто поклоном вас почтить!

И только я один любовно и ревниво
За шаткой поступию ваших ног слежу,
Как если бы вам всем я был отцом (о диво!),
И в вас таинственную прелесть нахожу:

Мне вашей юности открыты вожделенья;
И вашей зрелости — лучей и тьмы черед;
Пороки ваши льют мне в сердце восхищенье,
А ваших добрых дел душа отраду пьет.

Куски одной семьи! Частицы, мне родные!
Мне хочется всегда склонить пред вами взор...
Но что ж ждет завтра вас, о Евы вековые,
Когда уж страшный Бог свой коготь к вам простер?

Слепые

Взгляни на них, душа: они и впрямь страшны!
Как все в них кукольно! Повадки их комичны,
Телодвижения противно-лунатичны,
Безвзорные шары в ничто устремлены.

Глаза, с рождения живущие во мгле,
С живой обыденностью связи не имея,
На небо подняты; и никогда их шея
Не клонит голову раздумчиво к земле.

Так вот они бредут сквозь беспредельный мрак,
Подобье вечности бескрайной... о Париж!
Пока ты мечешься, смеешься, ищешь хлеба

И к наслаждениям неистово спешишь, —
Я, как они, влачусь! Но тягостен мне шаг, —
Я говорю: «Слепцы... Что ждут они от Неба?»

Прохожей

Надрывно улица вокруг меня ревела...
В глубоком трауре, строга, стройна, тонка,
Мелькнула женщина, покачивая смело
Фестон, который чуть приподняла рука

Над ножкой статуи, что грацией пленяет.
А я, весь скрючившись, шатаюсь, точно пьян,
Пил нежность, что живет, и страсть, что убивает,
Из сини глаз ее, где дремлет ураган.

Блеск молнии — и ночь! О, искорка моя,
В чьем взгляде новое обрел рождение я,
Ужель вновь встретиться лишь вечность нам поможет?

Но где же? Но когда? Иль никогда, быть может?
Тебе — сокрыт мой путь, мне — цель твоих дорог,
Но знала ты, что я тебя любить бы мог!

Разрушенье

Вокруг меня всегда юлит какой-то Демон,
Я им, как воздухом, незримо окружен;
Неодолимый яд своих философов он
Вливает в легкие мои со всех сторон.

Порой используя мою любовь к искусству,
Он принимает вид прекраснейшей из дев,

И отдает меня измышленному чувству,
Восточным чубуком влечение разогрев.

Так он уводит прочь меня от взора Божья,
Изнемогающим, согбенным, в бездорожья
Вселенской Скуки, и с равнин ее тоски

Велит моим глазам, исполненным смятенья,
Глядеть на гной одежд, на рваных тел куски,
На весь кровавый арсенал изничтоженья.

Путешествие *(Фрагмент)*

Смерть, старый капитан! Дай знак поднять ветрила!
Пора! Нам этот край наскучил... Отплывем!
Пусть океан и небо черны как чернила, —
Смотри, сердца у нас живым горят огнем.

Лишь дай нам твоего, о Смерть, отведасть яда,
Чтоб жгущий мозг огонь помчал нас к крутизне
Пучин, — не всё ль равно каких, Небес иль Ада? —
Но вглубь Безвестного, навстречу новизне!

Голос

В младенчестве моем я спал в библиотеке, —
В кроватке, втиснутой меж хаоса томов;
Там были фаблио, трактаты, фарсы, греки,
Рим... Сам я был с инфолио, — нескольких вершков...

Два голоса со мной беседовали. Властно
Один внушал: «Земля — роскошнейший пирог;
«Я дам тебе вкусить всей сладости прекрасной,
«И даже более, чем ты вместить бы мог!»
Другой: «Лети, лети в миры видений нежных,
«Над явью бытия, в непознанную высь!..»
И этот голос пел, как ветер дюн прибрежных,
Как дух, явившийся откуда ни возьмись,
Который нежит слух и, вместе с тем, пугает...
И я сказал: «Иду, на зов твой!» С этих пор
И выясилось то, что мир во мне считает
Болезнью раздвоения. Сквозь кругозор
Огромной пестроты явлений, в бездне черной,
Я вижу очерки причудливых миров,
И, жертву зоркости, меня язвит упорно
В пяты впиваясь, яд змеиных языков;
И с той поры я сам, как свойственно пророкам,
Люблю покой пустынь и хмурый океан,
Смеюсь среди гробов, вхожу на пир с упреком,
И чем горчей вино, тем слаще вкус мне дан;
И явью кажутся мне часто привиденья,
И я слежу из ям за бегом облаков...
Но голос мне твердит: «Храни свои виденья, —
«Безумцы красотой богаче мудрецов!»

* * *

Смирись, о Скорбь моя, — будь мудрой и не ной!
Ты вчера ждала: он сходит, он уж рядом.
Прикрыли сумерки Париж густым нарядом,
Одним неся тоску, другим даря покой.

Пока всю эту чернь, безжалостной рукой,
Порок, занесши бич, послушным гонит стадом
В притоны похоти к презреннейшим отрадам, —
О Скорбь, дай руку мне, и мы уйдем с тобой

От них в поля... Взгляни: вон отжитые годы
С балконов неба нам былые кажут моды;
Из глуби вод встает улыбчивый Упрек;

Мертвея, на покой, под арку солнце сходит,
И длинным саваном подернулся Восток.
Ты слышишь, милая: к нам кротко Ночь подходит!

1954

ИЗ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

* * *

В пути повстречался мне рыцарь, с укрытым решеткой
лицом, —
И рыцарь-Злочастье ударил мне в старое сердце копьем;

И брызнуло старое сердце нещедрой, багряной струей,
И кровь заиграла на травах, потом испарилась росой;

И тьма мне подернула очи, из уст моих вырвался крик,
И смерти неистовый трепет мне в старое сердце проник;

А рыцарь-Злочастье подъехал и слез с боевого коня,
И камень притиснул стопую, и тронул рукою меня;

И палец, одетый железом, водвинул он в рану мою,
И голосом жестким и властным поведал мне волю свою;

И только лишь сердца коснулся тот палец в холодной
бронь,
Как гордо и непорочно оно возродилось во мне,

И сердце опять причастилось божественной чистоте
И юным биеньем забилося во благодати и красоте.

А я, дрожа и шатаясь, еще поверить не мог,
Как тот, кого удостоил своим посещением Бог;

Но рыцарь, опершись о стремя и тронув поводьем коня,
Ко мне повернулся и строго опять поглядел на меня,

И крикнул (я *все еще* слышу тот голос, полный огня):
«Смотри же, будь осторожен! Вторично не встретишь
меня!»

1949

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

ИЗ «РАССКАЗОВ О ГОСПОДЕ БОГЕ»

Чужой человек

Чужой человек написал мне письмо. Не об Европе писал мне чужой человек, не о Моисее, не о больших и не о малых пророках, не об императоре российском или о царе Иване Грозном, его ужасном предшественнике. Не о бургомистре или соседе-сапожнике, не о близлежащем городе, не о дальних городах; равно и о лесе со столькими сернами, где блуждаю я каждое утро, ничего в письме не говорится. Он отнюдь не рассказывает мне о своей матушке или о сестрах, которые, разумеется, давно уже замужем. Быть может даже, его матушка уже умерла; иначе, как бы могло случиться что на четырех страницах письма нигде не нахожу я упоминания о ней. Он оказывает мне куда большее доверие; он делает меня своим братом, он говорит мне о своей нужде.

Вечером чужой человек приходит ко мне. Я не зажигаю лампы, помогаю ему снять пальто и прошу его напиться со мной чаю, так как это как раз время, когда я ежедневно пью чай. А при таких близких посещениях незачем в чем-либо стеснять себя. Когда мы уже собираемся садиться за стол, я замечаю, что гость мой беспокоен; на лице у него явственный страх, и его руки дрожат. «В самом деле, говорю я, вот тут есть письмо для вас». И затем принимаюсь разливать чай. «Кладите сахару... — может быть, вам лимону? Я в России научился пить чай с лимоном. Не же-

лаете ли испробовать?» Затем я зажигаю лампу и ставлю ее далеко в угол, чуть высоко, так что сумерки, собственно, остаются в комнате, но лишь несколько более теплые, чем прежде — красноватые. И тогда лицо моего гостя начинает казаться увереннее, теплее и много знакомее. Я еще раз приветствую его словами: «Знаете, я давно поджидал вас». И прежде еще, нежели чужой человек успевае удивиться, я объясняю ему: «Я знаю одну историю, которую не хочу рассказывать никому, кроме вас; не спрашивайте меня, почему, а скажите мне только, удобно ли вам сидеть, достаточно сладок чай и желаете ли вы выслушать историю». Мой гость вынужден был улыбнуться. Потом он ответил просто: «Да». — «На все: да?». — «На все».

Мы откинулись оба одновременно на стулья, так что лица у нас ушли в тень. Я поставил свой стакан с чаем, порадовался тому, как золотисто блестит чай, медленно позабыл об этой радости снова и вдруг спросил: «Вспоминаете ли вы еще когда-либо о Господе Боге?»

Чужой человек задумался. Глаза его углубились в темноту и, со своими маленькими бликами света в зрачках, стали подобны двум листовым сводам в каком-нибудь парке, над которым сверкающе и широко раскинулось лето и солнце. Те тоже начинаются так, круглым сумраком, и уходят во все более суживающуюся темноту, вплоть до некой далекой мерцающей точки, потустороннего выхода в, может быть, еще много более светлый день. Пока я это распознавал, он произнес, колеблясь и как будто лишь неохотно пользуясь своим голосом: «Да, я еще помню о Боге». «Ладно, — поблагодарил я его, — потому что в моей исто-

рии дело как раз идет о нем. Только сначала скажите мне еще вот что: беседуете ли вы иногда с детьми?» — «Да, случается, так, мимоходом по крайней мере...» — «Вам, может быть, известно и то, что Бог, вследствие дурного послушания рук Своих, не знает, как собственно выглядит готовый человек?» — «Об этом однажды я где-то слышал, только не знаю, от кого...» — ответил гость, и я видел, как смутные воспоминания побежали по его лбу. «Все равно, — перебил я его, — слушайте дальше. Долгое время Бог сносил эту неизвестность. Ибо терпеливость его, как и Его мощь, велика. Но как-то раз, когда густые тучи залегли между ним и землей на много дней подряд, так что он уже стал было сомневаться, не примерещилось ли ему все это, — мир, и люди, и время, — кликнул он правую Свою руку, которая так долго пребывала в изгнании и хоронилась от Его лика за разного рода малыми, незначущими делами. Та с готовностью поспешила явиться, ибо думала, что Бог хочет, наконец, даровать ей прощение. Когда ее увидел Бог так пред Собой, — в красоте, юности и силе, — он уже, было, возжелал отпустить ей грех. Но вовремя одумался и приказал, не обращая к ней взгляда: «Ты опустишься на землю. Ты примешь такой же облик, какой увидишь у людей, и подынешься, в наготе своей, на гору, так чтобы я мог созерцать тебя. Как только спустишься вниз, подойди к какой-нибудь молодой женщине и скажи ей, но только совсем тихо: "Я хочу жить". Сначала вокруг тебя будет малый мрак, затем большой мрак, который именуется детством, потом ты станешь взрослым мужем и подынешься на гору, как я тебе повелел. Все это займет только мгновение. Прощай».

Правая рука простилась с левой, назвала ее многими ласковыми именами, причем существует даже утверждение, будто она внезапно опустилась перед той на колени и сказала: «...Ты, Дух Святой...» Но тут же подошел апостол Павел, отторгнул у Господа Бога правую руку, а один из архангелов подхватил ее и понес прочь под своим широким облачением. Бог же зажал себе шуйцей рану, дабы Его кровь не пролилась на звезды, а с них не просочилась скорбными каплями вниз на землю. Немного времени спустя, Бог, внимательно наблюдавший за всем происходящим внизу, заметил, что люди, в железных одеяниях, возятся вокруг одной горы больше, чем вокруг всех прочих. И Он стал ждать, что там именно увидит Он, как начнет восходить Его рука. Но появился только некий человек, в точно бы красном одеянии, тащивший наверх что-то черное, шатающееся. В то же мгновение Божья шуйца, лежавшая поверх его открытой крови, стала проявлять беспокойство и затем внезапно, прежде чем Бог успел помешать ей, покинула свое место и стала блуждать, точно одержимая, промеж звезд и кричать: «О бедная десница... а я-то не могу ничем помочь ей». При этом она рвалась прочь с Божьего левого предплечья, на котором висела, и пыталась высвободиться. Вся земля покраснела от Божьей крови, так что нельзя было распознать, что там внизу происходит. В это время Бог чуть было не умер. Из последних сил позвал Он десницу свою обратно; она пришла, бледная и дрожащая, и легла на свое место, как больной зверь. Но и шуйца, которая ведь кое-что уже знала, так как распознала тогда внизу, на земле, правую Господню руку, когда та в крас-

ном одеянии поднималась на гору, — все же не могла ничего выпытать у нее о том, что же дальше случилось на этой горе. Видимо, произошло нечто очень страшное. Ибо десница Господня все еще не оправилась от того события и страдает от воспоминания о нем не меньше, нежели от прежнего гнева Божья, так как Господь все еще не простил своим рукам!» Голос мой немного отдохнул. Чужой человек закрыл лицо руками. Долго так сидел он. Потом сказал чужой человек голосом, который я давно знал: «А для чего рассказали вы мне эту историю?» — «А кто бы мог еще понять меня? Вы приходите ко мне без звания, без должности, без какого-либо временного чина, почти без имени. Было темно, когда вы вошли, но я заметил в ваших чертах сходство...» Чужой человек вопрошающе поднял глаза. «Да, — ответил я его тихому взору — я часто думаю, не сновали ли в пути рука Господня...»

Дети узнали эту историю, причем, явно, она была им передана так, что они смогли все понять; ибо эту историю они любят.

Как завелась измена на Руси

Есть у меня еще один друг по соседству. Это — светловосый параличный человек, неподвижно сидящий и зимой, и летом все у того же окна. Он может казаться очень молодым, и даже, порою, в его настороженном лице есть нечто мальчишеское. Но бывают также дни, когда он дряхлеет, минуты проходят точно годы над ним, и вот он — уже старик, и его усталые глаза почти уже отказались от жизни.

Мы знакомы давно. Сначала мы обычно поглядывали друг на друга, затем невольно обменивались улыбкой, целый год здоровались, а Бог весть с какого времени рассказываем друг другу всякую всячину, что придется, невзначай. «Добрый день, — окликнул он, когда я шел мимо, а его окно было еще настежь раскрыто в богатую и тихую осень. — Давненько я вас не видел». — «Добрый день, Эвальд». — Я подошел к его окну, как делал обычно, когда случалось идти мимо. — «Я был в отъезде».

«А где вы были?» — спросил он, нетерпеливо глядя. — «В России». — «О, так далеко...» — он откинулся, и потом: «Что это за страна, Россия? Очень большая, не правда ли?» — «Да, — сказал я, — велика она, а кроме того...». — «Я глупо спросил», — улыбнулся Эвальд и покраснел. «Нет, Эвальд, напротив. Вы спросили: что это за страна? И мне стало кое-что ясно. Например, к чему примыкает Россия...» — «На востоке?» — перебил меня друг. Я подумал: «Нет!» — «На севере?» — допытывался параличный. «Видите ли, — соображал я. — Чтение географических карт испортило людей. Там все планы и тому подобное, и когда вы обозначили четыре части света, то вам кажется, будто все сделано. Но ведь страна-то не атлас. У нее есть горы и пропасти. Должна же она также и сверху, в снизу примыкать к чему-нибудь». — «Гм, — задумался друг, — вы правы. Что же может быть у России по соседству с этих двух сторон?» Вдруг у больного точно бы стал вид мальчика. «Вы же знаете!» — воскликнул я. «Может быть, Бог?» — «Вот именно, — подтвердил я, — Бог!» — «Так», — вполне понимающе кивнул мне друг. Лишь потом на него напали какие-то

сомнения: «Да разве Бог это — страна?» — «Не думаю, — возразил я, — но в первобытных языках у многих вещей одно и то же название. Существует государство, которое называется “Бог”, и тот, кто им правит, тоже называется “Бог”. Простые люди часто не умеют отличить свой край от своего царя; тот и другой велик и благостен, страшен и велик».

«Понимаю, — медленно сказал человек у окна. — А чувствуется ли в России такое соседство?» — «Его чувствуешь при любой оказии, влияние Божье очень велико. Чего только ни привезут из Европы, все эти западные вещи превращаются в камень, едва лишь минуют границу. В том числе бывают и драгоценные камни, но это исключительно для богатых, для так называемых “образованных”; меж тем как оттуда, из другого царства, идет хлеб, которым живет народ». — «Но этого-то у народа, конечно, в избытке?» Я колебался: «Нет, это не так, ввоз из Бога в силу некоторых обстоятельств затруднен...» Я попытался отвлечь его от этой мысли: «Но все же многое из обычаев той обширной приграничной страны перенято. Например, весь церемониал. С царем говорят на подобие, как с Богом». — «Вот как, значит, ему не говорят “ваше величество”?» — «Нет, их обоих называют: батюшка». — «И перед обоими становятся на колени?» — «Перед обоими падают ниц, касаются лбом земли, плачут и говорят: “грешен я, прости ты меня, батюшка”. Немцы, которым довелось это видеть, утверждают, что это совершенно недостойное раболепие. Я же думаю иначе. Что должно означать коленопреклонение? Смысл его таков: я выказываю почтение. Для этого доста-

точно обнажить голову, считает немец. Ну, само собой, приветствование, поклон тоже могут до некоторой степени выразить это, но они суть сокращенности, возникшие в странах, где нет достаточного пространства, чтобы каждый мог лечь на землю. Однако сокращенностями пользуются обычно машинально и не отдавая отчета в их смысле. Поэтому-то хорошо, там, где есть еще для этого место и время, изобразить всю статью этого прекрасного и важного слова: почтение».

«Да, ежели бы я мог, я тоже стал бы на колени», — по мечтал параличный. — «Но и многое другое, — продолжал я после паузы, — в России идет от Бога. Там испытываешь чувство, будто всякая новизна происходит от него, каждое платье, каждое блюдо, каждое доброе дело, — и даже каждый грех должен сперва получить разрешение, нежели он войдет в обычай». Больной взглянул на меня почти испуганно. «Это только сказка, на которую я ссылаюсь, — поторопился я успокоить его, — так называемая былина, по нашему сказать — история. Вкратце изложу ее содержание. Ее заглавие: “Как завелась измена на Руси”».

Я прислонился к окну, а параличный закрыл глаза, как обычно любил это делать, когда начинался какой-нибудь рассказ.

— «Грозный царь Иван захотел наложить дань на соседних князей и пригрозил им великой войной, ежели не пришлют они ему золота в Москву, белокаменный град. Князь же, подержав совет меж собой, ответили все как один человек: “загадаем мы тебе три загадки. Приходи в назначенный нами день на Восток, к белому камню, куда и мы

соберемся, и дай нам три ответа. Ежели верны они будут, то отдадим мы тебе двенадцать бочек золота, которые ты от нас требуешь”. Сначала принялся, было, думать царь Иван Васильевич сам, да помешало ему множество колокольного звону в белокаменном его граде Москве. Позвал он тогда к себе ученых и мудрецов, и каждого, кто не мог дать ответа на загаданное, велел он отводить на большую Красную площадь, где как раз строилась церковь, в честь Василия, блаженного человека, и попросту отрубать ему голову. В эдаком занятии время летело у него так быстро, что наступил вдруг для него срок отправляться в путь на Восток, к белому камню, у которого дожидались его князья. Ответа ни на одну из трех загадок у него не было, но путь был долог, и все еще был случай повстречать мудрого человека, ибо в те времена много мудрецов состояло в бегах, так как все цари приняли обыкновение рубить им головы, ежели они казались им недостаточно мудрыми. Ни одного такого навстречу не попалось; но как-то утром приметил он старого, бородатого мужика, который строил церковь. Дело у него зашло так далеко, что выводил он уже стропила крыши и крыл их малыми планками. Было только удивительно, что старый всякий раз слезал с церкви на землю, чтобы поодиночке таскать каждую узенькую планку вместо того, чтобы сразу набрать их охапку в свой широкий кафтан. Так постоянно принужден он был лазить вверх и вниз, и не виделось даже конца, когда сможет он на эдакий манер вообще перенести все сотни планок на место. Царь потерял поэтому терпение: «Дурак, — закричал он (так обыкновенно зовут в России мужиков), — тебе на-

братъ поболее, а потом и лезть на церковь, оно и вышло бы куда проще». Крестьянин, который был как раз на земле, остановился, приложил руку к глазам и ответил: «а уж это ты предоставь мне, царь Иван Васильевич, каждый понимает свое ремесло лучше; только, кстати, раз уж ты здесь путь мимо держишь, скажу я тебе разгадку трех загадок, которую надо будет тебе знать у белого камня на Востоке, совсем неподалеку отсюда». И стал он вдалбливать ему все три ответа подряд. Царь от удивления едва сообразил, что нужно его отблагодарить. «Чего хочешь от меня в награду?», — спросил он наконец. «Ничего», — сказал мужик, взял планку и хотел взбираться на лестницу. «Стой, — приказал царь, — так негоже, должен ты что-нибудь себе пожелать». «Что ж, батюшка, раз ты приказываешь, — отдай мне одну из двенадцати бочек золота, которые ты получишь от князей на востоке». — «Ладно, — кивнул царь, — дам я тебе бочку золота». Потом поехал он поспешно дальше, чтобы не забыть разгадок.

Спустя время, когда царь с двенадцатью бочками вернулся с Востока, заперся он в Москве, в своем дворце, среди пятивратного Кремля и стал опорожнять одну бочку за другой на блещущий пол палаты, так что выросла настоящая гора золота, от которой падала большая черная тень наземь. По забывчивости опорожнил царь и двенадцатую бочку. Принялся было он ее снова наполнять, да стало жалко ему столько золота брать назад из великой кучи. Ночью спустился он во двор, наложил тонкого песку бочку, пока не наполнил ее на три четверти, вернулся потихоньку во дворец, положил золота поверх песку и послал

заутра бочку с нарочным в ту местность далекой Руси, где старый крестьянин строил свою церковь. Когда тот увидел посланца, слез он с кровли, которая была еще далеко не достроена, и крикнул: «Не к чему тебе подъезжать ближе, дружище, — отправляйся-ка назад вместе со своей бочкой, в которой три четверти песку да малая четверть золота. Не нужна она. А господину своему скажи, — не было до сей поры измены на Руси. Отныне же сам он виноват, коли заметит, что ни на одного человека положиться впредь нельзя; ибо сам он теперь показал, как заводят измену, и из века в век будет его пример вызывать по всей Руси многих подражателей. Золота мне не нужно, я могу прожить и без золота. Ждал я не золота от него, а правды и справедливости. Он же меня обманул. Так и скажи это твоему господину, грозному Ивану Васильевичу, что сидит в белокаменной своей Москве, с дурной совестью в золотом платье».

Отъехав немного обернулся посланец: глядь — ни крестынина, ни церкви нет. Да и сложенных планок больше не было, а только пустое, ровное место. Тогда помчался в страхе человек назад в Москву, предстал запыхавшись перед царем и рассказал ему довольно нескладно о том, что случилось и что пресловутый крестьянин не иной кто был, как сам Господь Бог».

«А разве он был прав?» — заметил тихо мой друг, после того как мой рассказ затих.

«Все может быть... — ответил я, — только знаете, народ ведь... суеверен... а теперь, все же, мне надо идти, Эвальд». — «Жаль, — сказал искренне параличный. — Не расскажете ли вы мне как-нибудь на днях еще какую-ни-

будь историю?» — «Охотно... но только с одним условием». Я снова подошел к окну. «А именно?» — удивился Эвальд. «Вы должны все это при случае пересказать детям по соседству», — попросил я. — «О, дети приходят ко мне так редко!» Я утешил его: «Они станут приходить. У вас явно в последнее время не было охоты им что-либо рассказывать, а может быть не было о чем или слишком много. Но ежели кто знает действительную историю, то неужто, думаете вы, ее можно утаить? Боже упаси, она идет кругом, в особенности промеж детей! До свидания». На этом я ушел.

И дети узнали историю в тот же самый день.

Как случилось, что наперсток стал Господом Богом

Когда я отошел от окна, вечерние облака все еще стояли на месте. Они словно бы выжидали. Уж не следует ли рассказать и им какую-нибудь историю? Я предложил им это. Но они меня совсем не слушали. Чтобы можно было меня понять и чтобы сократить расстояние между нами, я крикнул: «я тоже вечернее облако». Они остановились; они явно разглядывали меня. Потом они протянули мне свои тонкие, просвечивающие, розоватые крылья. У вечерних облаков это — манера здороваться. Они признали меня.

«Мы над землей, — объяснили они, — как раз над Европой, а ты?» Я медлил: «есть тут некая страна...» — «Как она выглядит?» — осведомились они. «Да вот, — отозвался я, —

сумерки с вещами...» — «Это тоже Европа», — засмеялось одно облако. «Возможно, — сказал я, — но только я всегда слышал: вещи в Европе умерли». — «Да уж само собой, — презрительно заметило другое, — что за чепуха была бы: живые вещи!» — «Нет, — упрямылся я, — мои вот живы. В этом-то вся разница. Они могут становиться другими, и вещь, которая появляется на свет в виде карандаша или печки, еще не должна из-за этого отчаиваться в своей будущности. Карандаш может при случае стать палкой, а при удаче — мачтой, печка же — по меньшей мере, городскими воротами».

«Мне сдается, что ты изрядно простовато», — сказала молодое облачко, которое уже и раньше выражалось так мало сдержанно. Старое облачище испугалось, не обидело ли это меня. «Бывают очень разные страны, — примирительно заметило оно, — мне довелось как-то призадуматься над одним большим немецким княжеством, и я по сей день еще не верю, что оно составляет часть Европы». Я поблагодарил его и сказал: «я вижу, нам будет трудно столкнуться. Позвольте мне просто рассказать вам то, что в последнее время я заметил внизу под собой, — так будет лучше всего». «Пожалуйста», — согласилось за всех других мудрое облачище. Я начал: «в комнате — люди. Я, надобно вам заметить, довольно высокого роста, и поэтому выходит так: они представляются мне детьми; так что я буду говорить просто: дети. Итак: в комнате дети. Двое, пятеро, шестеро, семеро детей. Понадобилось бы много времени, чтобы разузнать, как их зовут. Впрочем, дети как будто бы ревностно заняты разговором, а при таких обстоятельст-

вах можно тем или иным именем и ошибиться. Они стоят так, сгрудившись, едва ли уже не целую минуту, ибо старший (предполагаю, что его зовут Ганс) делает своего рода заключение: «нет, решительно, так продолжаться дальше не может. Я слышал, что прежде родители всегда рассказывали детям вечерами, — ну, скажем, избранными вечерами, — разные истории, пока те не засыпали. А разве теперь это бывает? — небольшая пауза, потом Ганс сам ответил: — нет, не бывает, ни у кого. Поскольку дело касается меня, то так как я в некотором роде большой, я охотно дарю им эту пару несчастных драконов, над которыми им нужно было помучиться; но, все-таки, надлежало бы им сказать нам, что существуют ведьмы, гномы, принцы и чудовища». — «У меня есть тетья, — заметила одна крошка, — она иногда рассказывает мне...» — «Ах, что там, — коротко оборвал Ганс, — тетки не в счет, они врут». Все общество было очень напугано этим смелым, но непререкаемым утверждением. Ганс продолжал: «да и речь идет прежде всего о родителях, ибо на них в известной мере лежит обязанность этому обучать нас: для других это — дело доброй воли, и требовать от них этого нельзя. Однако, вы поглядите только: что делают наши родители? Они ходят взад и вперед со злыми, оскорбленными лицами, все им не так, они кричат и ругаются, и вместе с тем они так равнодушны, что провались мир, они едва бы заметили это. Есть у них нечто, что они именуют «идеалами». Может быть, это тоже своего рода маленькие дети, которых нельзя оставлять одних и которые требуют много ухода; но тогда им незачем было иметь нас. Так вот, ребята, я думаю так: что родители

нами пренебрегают, это разумеется, печально. Но мы могли бы еще снести это, ежели бы не было доказательств, что взрослые вообще начинают глупеть — идти вспять, если можно так выразиться. Мы упадка их задержать не можем, ибо не можем в течение всего дня оказывать на них влияние, а когда возвращаемся поздно из школы домой, тогда ни один человек не в праве от нас требовать, чтобы мы присели на место и стали пытаться заинтересовать их чем-либо порядочным. И так уже каждому бывает достаточно не по себе, когда сидишь, сидишь у лампы, а мать не понимает даже пифагоровой теоремы. Да, ничего иного не бывает... эдак взрослые будут становиться все глупее... пусть; что мы теряем от этого? Воспитание? Они приподнимают, встречаясь, шляпу и, когда при этом обнаруживается лысина, смеются. Если бы по тем или иным поводам совесть не заставляла нас плакать, то и вовсе не было бы никакого равновесия в этом отношении. При этом они еще высокомерничают: они даже утверждают, будто кайзер — взрослый человек. А я читал в газетах, что испанский король — ребенок; и все короли и императоры таковы, — пусть не вздумают уверять вас в обратном! Однако, при всех ненужностях есть у взрослых нечто, к чему мы никак не можем быть равнодушными: Господь Бог. Правда, я ни у кого из них Его не видел, но это-то именно подозрительно. Мне пришло на мысль, что они, по своей рассеянности, занятости и спешке, могли Его где-нибудь затерять. А без него многое не может быть: солнце не может всходить, дети не могут появляться, да и хлеба не будет больше. Когда запасы иссякают даже у булочника, тогда Господь Бог си-

дит и вертит большие мельницы. Словом, легко привести ряд доводов, почему Господь Бог есть нечто такое, без чего нельзя обойтись. Поскольку же однако твердо установлено, что взрослые о нем не заботятся, этим должны заняться дети. Послушайте, что я придумал. Нас здесь как раз семеро ребят. Каждый должен носить при себе Господа Бога в течение одного дня, — тогда Он всю неделю будет у нас, и можно будет всегда знать, где именно Он находится».

Тут возникло большое затруднение. Как это осуществить? Разве Господа Бога можно зажать в ладони или сунуть в карман? К тому же один малыш рассказал: «я был один в комнате. Маленькая лампа горела возле меня, а я сидел в кровати и читал молитву на сон грядущий — очень громко. Что-то зашевелилось у меня в сложенных ладонях. Оно было мягкое и теплое — точно бы крохотная птичка, я не мог разнять ладони, потому что молитва еще не окончилась, но мне было очень любопытно, и я молился страшно быстро. Потом, когда я сказал “аминь”, я сделал вот так (малыш развел ладони и растопырил пальцы), но там ничего не оказалось».

Это всем было ясно. Даже Ганс не мог ничего посоветовать. Все смотрели на него. И вдруг он сказал: «ведь это же глупо. Каждая вещь может стать Господом Богом. Надо только это ей сказать». Он обратился к стоящему всех ближе к нему рыжеволосому мальчику: «Животное этого не может, оно убегает. Но вещь, видишь ли, она всегда на месте, ты войдешь в комнату, ночью ли, днем ли, она вечно тут, — она, конечно, может быть Господом Богом».

Понемногу, все оказались убежденными. «Но только нам нужна маленькая вещица, которую можно носить с со-

бой, иначе это не имеет смысла. Вывертывайте-ка карманы!» Тут появились на свет очень странные предметы: полоски бумаги, перочинные ножи, стиралки, перья, бечевки, винтики, свистки, колышки и всякое другое, что издали нельзя даже разобрать или для чего у меня нет названий. И все эти предметы лежали на неемких детских ладонях, точно бы испуганные неожиданной возможностью стать Господом Богом; и каждый, кто мог хоть немножечко блеснуть, блестел, чтобы понравиться Гансу. Выбор долго колебался. Наконец, у крошки Розы нашелся наперсток, который она как-то раз стащила у матери. Он сиял точно серебряный, и за свою красоту он-то и стал господом Богом. Сам Ганс надел его на палец, ибо черед начался с него, и все дети целый день ходили за ним следом и гордились им. Лишь с трудом сговорились, кому перейдет он завтра, и тогда Ганс тут же предусмотрительно установил точную очередь на всю неделю, дабы не возникало ссор.

Такого рода порядок оказался в общем очень целесообразным. У кого находился Господь Бог, того можно было узнать с первого взгляду. Ибо тот ходил чуть подтянутее и праздничней, и лицо у него было словно воскресным днем. Первые три дня ни о чем другом дети не говорили. Каждую минуту кто-нибудь из них просил дать взглянуть на Господа Бога, и хотя наперсток под влиянием великого своего сана ничуть не изменился, все же наперсточное в нем теперь казалось лишь достодожным одеянием для его истинного облика. Все шло заведенным порядком. В понедельник он был у Павла, в четверг — у крошки Анны. На-

ступила суббота. Дети играли в салки и без передышки носились друг за другом, когда Ганс вдруг крикнул: «а у кого Господь Бог?» Все остановились. Один глядел на другого. Никто не помнил, чтобы видел его вот уже два дня. Ганс высчитал, чей был черед; вышло — малытки Марии. И вот стали без никаких требовать у малытки Марии Господа Бога. Что тут было делать? Малытка шарила по своим карманам. Тут только пришло ей на память, что она утром получила Его; однако теперь его не было, — видимо за игрой она Его потеряла.

И когда все дети пошли домой, осталась малытка на лугу и стала искать. Трава была довольно высокой. Дважды мимо шли люди и спрашивали, что она потеряла. Каждый раз ребенок отвечал: «наперсток» — и продолжал искать. Люди, на минуту, делали то же, но скоро уставали нагибаться, один сказал, уходя: «ступай-ка лучше домой, можно ведь купить новый». Но Мариюшка продолжала поиски. Луг в сумерках делался все более чужим, и трава стала сыреть. В это время снова шел мимо человек. Он наклонился над ребенком: «что ты ищешь?» Теперь Мариюшка ответила, почти в слезах, но храбро и упрямо: «Господа Бога». Чужой человек засмеялся, взял ее просто за руку, она позволила вести себя — как будто теперь все стало хорошо. Дорогой сказал чужой человек: «а вот погляди-ка, какой я прекрасный наперсток нашел сегодня...»

Вечерние облака давно уже выказывали нетерпение. Теперь ко мне обратилось белое облачище, которое тем временем распухло: «извините, пожалуйста, не будете ли вы так добры... мне... имя страны... над которой вы...» Но ос-

тальные облака понесли, смеясь, в небо и повлекли старика за собой.

О том, кто слышит камни

И вот я снова с моим параличным другом. Он посмеивается на привычный лад: «А об Италии вы еще ни разу мне не рассказывали...» — «Иначе говоря, я должен сделать это как можно скорее?..»

Эвальд кивает головой и уже закрывает глаза, чтобы слушать. Я начинаю так: «То, что нам представляется весной, кажется Богу чем-то вроде легкой, маленькой улыбки, пробегающей по земле. Она точно бы кое-что вспоминает, потом, летом, об этом всем рассказывает, пока не наберется мудрости в той великой, осенней молчаливости, с которой отдает себя одиноким. Но даже ежели все весны, прожитые мною и вами, собрать вместе, их все же не хватит, чтобы заполнить один миг перед Богом. Весна, которую может заметить Бог, никак не должна оставаться в деревьях и лугах, ей нужно проявить себя как-нибудь в людях, ибо только тогда она, так сказать, не убегает вместе со временем, но скорее предстает в вечности пред Божьим ликом.

Как-то раз, это случилось, должны были Божьи взоры, на темных крыльях своих, нависнуть над Италией. Светла была внизу страна, время сияло золотом, но наискось, через все, точно темный путь, бежала тень какого-то широкого человека, тяжкая и черная, а далеко впереди — тень его творящих рук, неумная, маячущая то над Пизой, то

над Неаполем, то разливающаяся по смутному волнению моря. Бог не мог отвести глаз от этих рук, которые сначала представились Ему точно бы молитвенно сложенными, — но эта молитва, от них изливающаяся, далеко разводила их врозь. Наступила тишина в небесах. Все святые последовали за Божьим взором и, как Он, смотрели на тень, наполнившую собой половину Италии, и гимны ангелов застыли на ликах их, и звезды дрожали, ибо испугались, не провинились ли они чем-нибудь, и смиренно ждали гневного Божьего слова. Но ничего такого не произошло. Небеса раскинулись над Италией во всю свою ширь, так что Рафаэль в Риме преклонил колена, а блаженный фра Анджелико из Фиезоле стоял на облаке и умилялся ему. Много молитв было в тот час на пути с земли. Но Бог распознал только одну: сила Микеланджело, как запах виноградников, шла к Нему в высоту. И Он потерпел, чтобы она заполнила Его помыслы. Он нагнулся глубже, отыскал творящего человека, бросил поверх его плеч взор на прислушивающиеся к камню руки и испугался: неужто и в камнях есть души? Зачем слушает этот человек камни? А тут вспрыгнули руки и стали взрывать камень точно могилу, в которой чуть мерцает слабый умирающий голос. «Микеланджело, — окликнул Бог смятенно, — кто там в камне?» Микеланджело прислушался; руки его трепетали. Потом отозвался он глухо: «Ты, Господи, — кто же еще? Но не могу я добраться к Тебе». И тогда Бог почувствовал, что Он впрямь находится в камне, и стало ему боязно и тесно. Все небо теперь было только камень, и в середине был заперт Он сам, и надежда Его — на руки Микеланджело, которые должны Его осво-

бодить, и Он слышал, как они приближаются, но еще изда- лека. Мастер же опять склонился над работой. Он неиз- менно думал: ты только малый обломок скалы, и кто дру- гой едва ли мог найти в тебе человека; я же чувствую здесь плечо: это — плечо Иосифа Аримафейского, тут вот скло- нилась Мария, я ощущаю ее трепетные руки, держащие Иисуса, Господа нашего, только что умершего на кресте. Ежели в этом малом мраморе уместились они трое, то как же не поднять мне из скалы целый спящий в нем род люд- ской? И широкими ударами вывел он наружу три облика «Pietà», однако не вовсе убрал каменные покровы с их лиц, словно боялся, что их глубокая печаль может косностью лечь на его руки. Так принялся он за другой камень. Но ежеразно отказывался дать он лбу полную его ясность, а плечу — его чистейшую округлость, а когда ваял женщину, то не клал последней улыбки на ее рот, дабы красота ее не вся была предана.

В эту пору делал он набросок памятника для Юлия дел- ла Ровере. Целую гору хотел он воздвигнуть над железным папой, и целое племя вдобавок, населявшее эту гору. Ис- полненный множества смутных замыслов, вышел он за го- род, к своим мраморным каменоломням. Над бедным селе- ньем круто вздымался скат. Ограниченные оливами и выщер- бленным камнем, свежее выломанные плоскости каза- лись подобием большого, бескровного лица, под седеющи- ми волосами. Долго стоял Микеланджело перед его укры- тым лбом. Вдруг под ним заметил он два огромных глаза, взирающих на него. И Микеланджело почувствовал, как растет его облик под действием этого взгляда. Теперь он и

сам вздымался поверх страны, и было ему так, словно от вечности здесь братски стоял он перед этим утесом. Долина уходила под ним вниз, как под идущим в гору, лачуги жалась друг к другу, как стада, и ближе и родственнее проступал каменный лик под белыми мраморными покровами. У него было ожидающее выражение, застывшее, но все же на грани движения. Микеланджело подумал: Тебя нельзя раздробить, ибо ведь Ты — единство, — и потом сказал вслух: «Я закончу Тебя, Ты — мое творение». И пошел назад во Флоренцию. Он видел звезду и башню собора. И под его ногами был вечер.

Вдруг у Porta Romana он замедлил шаги. Оба ряда домов протянулись к нему точно руки — и уже схватили его и втянули внутрь города. Все теснее и сумрачнее становились улицы, и когда он вошел к себе в дом, то уже знал, что его держат руки, из которых ему не уйти. Он побежал в зал, а из него — в нижнюю, не больше двух шагов каморку, в которой обычно писал. Ее стены обступили его, и было так, словно бы они боролись с его сверхмерностями и понуждали его вернуться назад в старый, тесный облик. И он претерпел это. Он поник к коленям и предоставил ваять себя. Он чувствовал неведомое прежде смирение, и сам испытывал желание быть елико возможно меньше. И послышался голос: «Микеланджело, кто это в тебе?» И человек в узкой каморке положил тяжело лоб в ладони и сказал тихо: «Ты, Господи, — кто же еще?»

И тогда расступилась ширь вокруг Бога, и Он поднял склоненный над Италией лик легко ввысь и глянул кругом: в мантиях и митрах предстояли Ему святители, и ангелы

ходили взад и вперед с перьями своими, точно с кубками, полными сверкающей влаги, под жаждущими звездами, и небесам не было конца...»

Мой параличный вдруг поднял вверх взгляд и позволил вечеровым облакам повлечь его за собой в небесную высь. «Разве же Бог там?», — спросил он. Я молчал. Потом я наклонился к нему: «Эвальд, разве же мы здесь?» И мы сердечно пожали друг другу руки.

1926—1927

МОРИС ВЛАМЕНК

ПОВОРОТ! ОПАСНО!

Часть первая

Мой отец был скрипачом, моя мать — пианисткой: я родился среди музыки. Я не в силах, несмотря на искренние усилия, вспомнить возраст, когда уже умел держать смычок. С самого нежного детства я ел, спал, просыпался под звуки скрипки и рояля. Упражнения учеников моего отца сопровождали мысли и жесты моей ребячьей жизни.

«Венецианский карнавал», «Молитва девы», «Методы» Ле Куппе, Карпантье, Мазà, Крейцера, этюды, дуэты, сонатины, пьесы в четыре руки были в нашем доме обязательными и повседневными. Все эти бессмысленные мотивчики, мучительные, вечно одни и те же, неустанно разбираемые по складам, всегда возобновляемые, сопровождают, баюкают, утверждают в моей памяти нищету учителей. Я ясно вижу поныне, когда случай доносит до моего слуха эти печальные и детские упражнения, измученное лицо моего отца, который с робостью думал о просроченной квартирной плате или о месячной задолженности мяснику и булочнику. Нас было пятеро детей.

Я вижу себя школьником, восьми лет, мучащимся над неразрешимым для меня уравнением с одним неизвестным или над выполнением штрафного урока, в то время как де-

сятки раз подряд, не останавливаясь, какой-нибудь ученик возобновляет мажорные и минорные гаммы.

Я не могу от нее отделаться, или, вернее, музыка не хочет от меня отвязаться и на военной службе. Я отбываю ее в маленьком бретонском городке. В первый же день моего прибытия в казарму командир сказал капельмейстеру: «Вот новобранец для вас».

В течение трех лет, с семи часов утра до пяти часов вечера, весной, летом, осенью и зимой шла долбня «большой музыки»: Вагнера, Массне, Рейера, Делиба, Сен-Санса, Верди. В палате, где помещалось двадцать четыре человека и где царствовали запахи дегтя, кожи, солдатских башмаков, похлебки, грязи и пота человеческого, взрывались пертардами грозные гармонии «Летучего голландца».

Все оперы, «Сигурд», «Гугеноты», «Фрейшюц», «Семирамида», «Марш с факелами» Мейербера, этот потоп нот, эти ливни напыщенности отдают для меня сегодня казармой. При первых же тактах «Тангейзера» я уже вижу кепи капитана, саблю, положенную на кровать, или еще плащ полковника, и часто — о, будущие тревоги! — мне слышатся звуки рожка, играющего сбор.

Как-то по утрам, зимой, в этой самой комнате, где сорок военных музыкантов репетировали, не останавливаясь, «Иродиаду» Массне, я прочел, освобожденный от работы ранкой на руке, «Дело Клемансо» Дюма-сына. Никогда не смогут меня убедить, что «Дело Клемансо» не есть либретто «Иродиады».

Потом 1900 год. Я кончил службу, — цыганские оркестры Всемирной выставки подцепили меня. Вальсы, медленные

вальсы, голубые и розовые — эта музыка тех лет позволила Риго похитить принцессу, а мне помогла зарабатывать хлеб.

Я бросал один оркестр, чтобы войти в другой, как лакей меняет места. Оркестры в кафе, аперитивы с музыкой, обеды с музыкой. Теперь это были все фантазии, аранжированные Таваном: «Риголетто», «Мисс Гелиетт», «Дочь тамбур-мажора», и вальсы, судорожные вальсы, отдающие любовью, похотью и билетом в сто франков.

Полночь! Музыка полночи! облики женщин, грустных и сентиментальных, пообедавших в приглядку, сосредоточенно слушающих эту музыку, щемящую им душу, и пьющих какой-нибудь алкоголь. Оцепенев, они ждали мужчин, а мысли их неслись, ластились к воспоминаниям любви и потерянным иллюзиям.

Целый мир музыки, созданный из неутоленных желаний: целая эпоха моей жизни. Одна из этих женщин давала мне по луи, восемь дней подряд за то, чтобы я, как скрипач-солист, играл для нее «Прелюдию» Баха. И крупные слезы текли у нее из глаз...

Пусть читатель не думает, что я нарочито смешу или драматизирую. Я искренно передаю ему свои впечатления и те ответные ощущения, которые пробуждает во мне то, что принято именовать музыкой.

Чтобы получить возможность больше времени отдавать живописи, я покинул Париж и оркестры. Я стал бедным учителем, обремененным семьей. Это была самая трудная полоса в моей жизни. Я снова стал заниматься, и для себя, и для своих учеников, методами Мазэ, Крейцера, классической музыкой, Бахом, Гайдном, Бетховеном, Моцартом.

Сонаты, концерты, — скольким учителям дали вы возможность жить, скольким беднякам, бегущим за тощим заработком, под дождем и стужей, в слишком тонком плаще, в дырявых башмаках? — О, сонаты, когда я слушаю вас ныне, мне начинает казаться, что у меня отсырели ноги, промокла спина от ливней, которые надо было вынести, чтобы как-нибудь прожить в те годы, когда я высчитывал: столько-то часов Бетховена на квартирную плату, столько-то часов Моцарта на сапожника и булочника.

Потом, в возрасте тридцати лет, моей карьере музыканта положил конец Воллар, скупивши у меня все полотна, какие у меня были и какие я написал в течение ряда лет, в бескорыстном энтузиазме, в те свободные часы, которые оставляли мне мои ученики.

Из исполнителя я стал слушателем. Тогда я услышал музыку войны. Мрачные гармонии: «Маделок», волочащую в своих юбках желанье солдата, сообщение с фронта и смерть, «Типерери», дышащее заразой английского табака и «бизнесом», «Вдоль Миссури», рождающее совокупленья на ходу, поцелуй в губы перед отходом поезда на фронт в дни, когда огромные Берты заставляли сотрясаться Париж, вызывающее в памяти любовь женщин и девушек, измученных вдовствованием, соблазненных нашими заокеанскими друзьями, но получивших отпущение грехам своим и узаконенье в речах президента Вильсона.

Могу ли я отделить эти мелодии от грохотов войны и радостей перемирия? Возможно ли это, когда я не умею провести грани между запахом цветущей бузины, благоуханием почек на тополях и кое-какими часами моей юности

или когда в Саутгемптоне, в Марселе, в Гавре рев буксирного парохода вызывает перед моими глазами мост, шлюзы и холмы Буживаля?

«Жизнь Богемы» Пуччини! В первый раз я услышал тебя в таверне «Эксцельсиор». Женщина, женщина, которую я страстно любил, была возле меня. Я потом не раз слышал тебя, «Песнь Мими», — у тебя был, у тебя останется навсегда тот же голос и те же жесты моей любви.

«Серенада» Тозелли! Ресторанчик на улице Гудона: «Ristorante italiano». Только что умер Аполлинер... Я иду на первое и единственное представление его пьесы «Цвет времени», в театре Лара. Вчера еще, лежа в жару, он поручил нашей дружеской заботливости постановку своей вещи. Маленький близорукий скрипач играет в зале «Серенаду» Тозелли. Эта музыка, эти украшения зала мало помалу ассоциируются со смертью Гильома Аполлинера. Я слышу ее впервые, и невозможно с этой минуты, чтобы она не стала для меня похоронным маршем, невозможно, чтобы я не слил меланхолию, которую он вызывает, с этой жизнью, слишком быстро скошенной. Невозможно также, чтобы я не помнил, что Пикассо и Кокто сидели за завтраком против меня.

Пальцем, сегодня, я пускаю в ход мой фонограф. Новый инструмент. Новая музыка. Она рвет с условностями чувств и мерами прошлого... Игла немного шипит, ритм медленно ускоряется, спешит, становится еще скорее... и бросает нас оземь, с размаху.

Это ничего не напоминает. Я никогда не хожу в дансинги. Певец по-английски, американский негр. Я не понимаю

слов. Я предпочитаю так. В словах песни на незнакомом языке есть прелесть тайны. Иностранцы, не понимающие по-французски, могут думать, что мы реалисты, пасифисты и серьезны в любви.

Звучности, новые тембры. Музыка сегодняшнего дня! Отплытие парохода... Стук мотоциклов на треке... Джаз... Аккомпанемент вспышек четырехтактных моторов! Ничего не влачит для меня за собой эта музыка. Слишком мало связи. Это крепко, молодо, неожиданно, энтузиастично, насыщенно физической силой. Люди упражняются на свободных трапециях. Грохот вагонов на рельсах, стук шатунов локомотива, гавайские гитары трансатлантиков. Этот ритм дает мне предчувствие того, что будет, когда не будет меня. Я верчу рукоятку, другой диск. Диск меланхолический — меланхолия юмора, любви к риску, спокойствию и случайности!

Я гляжу в окно. Снаружи холодно и сухо. Солнце поблескивает льдинками на ветвях. Мне хочется скорее услышать на дороге ворчанье мотора моего авто...

Дом, в котором мы жили в Весинэ, принадлежал моей бабке. Она была горда им. Она говорила: моя вилла. В конце каждого года, когда она получала лист с окладным сбором на недвижимости, она с достоинством оплачивала его. Она была польщена и широко вознаграждена самой возможностью прочесть на этом листе: «Госпоже Рембо, владелице дома».

Линия железной дороги шла вдоль изгороди нашего сада. Как все жилища в этой прелестной и опрятной стране,

дом был украшен крыльцом, цветником, бассейном с бившей вверх струей воды, а дорожки сада были усыпаны тонким и белым гравием, который еженедельно и тщательно прочищал садовник.

Моя бабушка была крупной женщиной. Несмотря на следы оспы, которая была у нее в детстве и взрыхлила кожу на лице, она, видимо была довольно красивой девушкой в свое время. Она носила черный чепец, а на плечах у нее постоянно был черный палантин, то из плотной материи, то из каракуля.

У нее было свое место на Центральном рынке, где она продавала фрукты или овощи, смотря по времени. Ежевечерне, всегда в одно и то же время, она возвращалась в Вестинс с четырехчасовым поездом. Едва приехав, она тотчас же принимала домашний вид: надевала мягкие матерчатые туфли и опорожняла на круглый столик, эпохи Луи-Филиппа, огромный холщовый кошель, где находилась вся выручка за день. Летом, она отправлялась за лейкой в прачешную и поливала кусты роз, растения, бордюры гвоздик. Зимой, она всегда сама готовила обед, потому что была прекрасной стряпухой и гордились этим.

Скоро дом оказался тесен, и было решено сделать пристройку. Однажды утром, к моей великой радости, появились каменщики. К небу поднялись леса, вдоль стен протянулись лестницы, и нагромоздился кучами всяческий материал. Какой простор для моих походов! Я вспоминаю, что однажды отец увидел из окна поезда, увозившего его в Париж, как я лазаю по крыше, с которой были сняты черепицы, и по-кошачьи бегаю по самой вышке дострой-

ки, и, ужаснувшись при мысли, что вечером найдет меня с сломанными бедрами или пробитой головой, стал неистово жестикулировать и грозить мне.

Отец был высок, белокур, крепок. С буйственным характером, вспыльчивый, он с трудом овладевал взрывами гнева, которые вызывало в нем иногда простое противоречие. Он редко чувствовал свою неправоту, но когда признавал ее, — испытывал угрызенья, потому что был добр.

— Зачем вы вызываете во мне такую ярость? — говорил он, со слезами.

В детстве у меня была деревянная лошадь, подарок к Рождеству. К этой лошади я чувствовал подлинную любовь. Это была любимейшая из моих игрушек, я не расставался с ней, и вечером, прежде нежели положить ее возле постели, я продевал ей в морду пучок травы.

Как-то случилось так, что во время бурной игры у нее сломалась нога. Кто мог бы помочь несчастью, которое мне казалось очень горьким? Только отец, думал я, может это сделать.

Я пошел к нему. Он сидел за столом и работал над оркестровой оперетты. Он попросил меня подождать и обещал, что как только кончит работу, так сейчас же починит мою деревянную лошадь. Но это меня не устраивало. Не отставая, я тормозил его, чтобы он сейчас же сделал то, что мне надо. Я топал ногами, надоедал, и несмотря на его окрики, приставал все сильнее.

Вдруг, не сдерживая себя больше, отец схватил игрушку и со всего размаха швырнул о пол. Лошадь разлетелась на куски.

Я стоял ошеломленный, немой, бледный, не в силах сделать ни одного движения. Я задышался от горя.

Взглянув на меня, отец почувствовал глубокую печаль. Он сейчас же отложил работу, целый день прилаживал друг к другу куски и прободствовал немалую часть ночи, чтобы кончить починку.

Бабка купила этот дом задолго до войны 1870 года. Во время осады Парижа пруссаки стояли в нем постоем.

— «Вот, смотри, — часто говаривала она мне, показывая в саду на огромный камень, — сюда то и дело таскались два грязных пруссака есть свой суп».

С этим камнем, по каким-то основаниям, которые я никогда так и не узнал, было у моей бабки связано некое мистическое представление. Она предполагала, или, вернее, была убеждена в том, что под ним таится сокровище.

Когда было решено пристроить к дому крыльцо, то пришли к заключению, что камень мешает. Решили переместить его, но это было нелегко, так как он сидел глубоко в земле.

Бабка, которой в этот день нужно было быть в Париже, отдала точное приказание:

— Я хочу, чтобы камень выкапывали в моем присутствии. Я запрещаю трогать его, пока я не вернусь.

В тот же вечер, когда бабка вернулась, она увидела, что камень уже вынут из огромной ямы и лежит животом вверх.

Ее гнев против садовника был неописуем. Она была теперь уверена, что предполагаемое сокровище действитель-

но существовало и что этот человек обокрал ее! Особенно же уверовала она, — настолько, что становилась больной, — в свою правоту, когда немного времени спустя отец Броше выстроил себе небольшой домик, а затем — и другой такой же.

Как-то утром, весной, возле наших дверей остановилась повозка из садоводства. Это бабка сделала заказ на кустарник и цветы. Веселое солнце оделяло все предметы радостным трепетом. Отец Александр, преемник отца Броше, стащил с повозки кусты. Со своими оголенными корнями, они были уже усеяны толстыми почками, готовыми вот-вот лопнуть, и душистая камедь покрывала нарождающуюся листву.

Несмотря на свой возраст, я чутьем понимал то, что происходило. Я предчувствовал горячую жизнь этих всходов, которую пробуждала весна. Я чувствовал себя счастливым, хотя и не отдавал себе отчета в этом, — счастливым от этого обновления, от этой молодой жизни, которая давала о себе знать.

Я сохранил от этого года глубокое впечатление. Я обязан ему своей любовью к деревьям и цветам. Каждую весну, подобно своей бабке, я сажаю и сею зерна в землю. Каким вниманием полон я к хрупкому стеблю, пробившему черную скорлупу и выглянувшему на свет! Я в вечной тревоге за его нежное, ненадежное бытие, в глубочайших пластах моего «я» живет наивное, детское изумление перед этим чудом каждого дня.

Летом, когда солнце высушивало землю и выпивало малейшую свежесть, множество пчел прилетало на цветоч-

ные грядки бордюров. Тяжелые шмели кусали друг друга на подсолнечниках и целыми часами собирали на них мед. Я приподымал камни, окружавшие бассейн, под которыми, я знал, прячутся неизбежные жабы. Воробьи и дрозды прилетали клевать вишни. Я спугивал их рогаткой и со страстностью старого охотника проводил целые часы в засаде, подстерегая их возврат.

Осенью отец Александр жег мертвую листву и ветки, срезанные с изгородей. Дым тяжело стлался по мокрому саду и одевал его голубоватым туманом. Терпкое благоухание уничтожаемых растений сжимало мне сердце. Ныне, когда ветер разносит по сельскому простору запах сухих трав, которые жгут крестьяне, и он внезапно настигает меня, — он вызывает передо мной детство.

Зимой, когда падал снег, я выбегал в сад, к величайшей тревоге моей матери. Снежные хлопья, покрывавшие землю и деревья, были для меня радостью, меня изумляло глухое молчание сада, черное и грязное небо и эта легкая белизна. Постройки, у которых крыши, казалось, должны обрушиться под тяжким пластом, имели трагический вид, а все ветви деревьев, даже самые тонкие, были обведены белой чертой.

Мой отец, обладавший превосходным голосом, пел в качестве тенора в церкви Сен-Мерри. Хорошо известный, ценный в церковных хорах Парижа, он был неизменным участником всех больших религиозных церемоний, больших свадеб, больших похорон.

Несмотря на повседневное общение отца с людьми церкви, о религии дома не говорили никогда. Не потому ли

у него не было веры, что он стоял ко всему этому близко и отдавал себе отчет, в том, что происходит за кулисами?

— Лучше, — говорил он, — обращаться прямо к Богу, нежели к его святым!

Безо всякого вмешательства со своей стороны, он предоставил моей матери, бывшей протестанткой, заботу о нашем религиозном воспитании.

Не этим ли нескольким часам детских лет моих, проведенным в храме Сен-Жермен-ан-Лэ, обязан я глубокий убеждением в том, что отчетом в моих поступках и действиях я обязан только своей совести?... а голос совести не есть ли это голос Бога?

Моя мать была белокурой, нежной, и глаза у нее были голубые. Наделенная большой гибкостью ума, позволявшей ей создавать спокойную атмосферу в семейной жизни, она умела предвидеть, прикрывать трудности, избегать с тонкостью и разумением бурных вспышек отцовского гнева.

Она редко выходила из дому, ибо по хозяйству у нее было много дела. Помимо того, что у нее было достаточно хлопот с моими сестрами и братом, она должна была еще давать уроки на рояле.

Ей помогала в черной работе служанка, маленького роста, безобразная, косоглазая, которой было по меньшей мере тридцать пять лет. Это было что-то вроде подкидыша, которого моя бабушка, если мне не изменяет память, подобрала где-то на улице. Мария Косоглазая, — так прозвали ее, — была очень привязана к матери.

За ее уродство мужчины пренебрегали ею. Я же теперь понимаю, что было причиной поддразниваний и приставаний, которыми Мария Косоглазая донимала меня, когда мне исполнилось тринадцать лет. То, что мне в ту пору казалось ребячеством, игрой рук, было в действительности желаниями. Всему этому нынче я могу дать более реальное объяснение. Я вспоминаю, что она охватывала меня, гнула к земле, «чтобы посмотреть, кто сильнее». В невинности своей я энергично вел борьбу, до тех пор, пока она не оказывалась подо мной.

Каждую неделю я с нетерпением ждал четверга. В этот день я не ходил в школу, а кроме того в свет появлялся «Журнал путешествий». Прогулка на вокзал Весинэ для того, чтобы купить очередной номер, приносила, по правде сказать, сразу два удовольствия: во-первых, предо мною была перспектива прочесть рассказ Луи Буссенара о фантастических приключениях, во-вторых — увидеть дочь продавщицы. Я точно говорю слово «увидеть», потому что, ежели, случаем, девочка была одна, я так и оставался пригвожденным у дверей магазина и не входил внутрь, так как был бы не в состоянии обратиться к ней с простейшим словом.

Сквозь грязные стекла витрины я глядел на эту женщину-дитя, которую сердце мое, столь еще юное, любило с такой силой, что само этого пугалось. Моя любовь делала меня настолько робким, что заставляла меня не раз отказываться от покупки журнала или вынуждала ждать до тех пор, пока не возвращалась продавщица.

Когда мне исполнилось шесть лет, мать отвела меня в школу.

Это было для меня событием. Стоя в углу двора, я глядел на эту кучу детей, бегавших, забавляющихся играми, которых я совершенно не знал. Я чувствовал себя в чужой стране, как чувствует себя цыпленок, пущенный в другой курятник. Первый раз в жизни я входил в соприкосновение с другими зернами рода человеческого.

Я не был желанным, старательным учеником, который составляет гордость экзаменов. Я легко схватывал и усваивал то, что мне нравилось, что питало мою любознательность, но я не любил «работы». Ибо во все поры моей жизни я ощущал, что «работа» — это принуждение: в молодости — для того, чтобы доставить радость родителям и учителям, в зрелом возрасте — чтобы заработать деньги.

Я твердо знал в эти годы, что никогда не буду банкиром или промышленником, и инстинктивно устранял все, что не могло сослужить мне службы в жизни. Делать дело, которое любишь, ковать железо, строгать дерево, пахать землю, — делать дело, которое занимает нас, с удовлетворением зарабатывать хлеб таким способом, не значит работать: это значит просто жить. Работать — это значит ждать со скукой и усталостью конца дня, это значит без сожаления видеть, ожидая платы, как отходят в небытие часы.

Я сохранил о нескольких школьных товарищах воспоминание: я помню их вкусы и повадки. Я вижу их в глубине двора, поглощенными игрой в перья, в шары, в орел и решку. Я впоследствии встречал их на ступенях Биржи.

Другие, пунктуальные, прилежные, послушные еженедельно получали похвальный значок, приколотый к их черному переднику. Этим я видел потом за банковской стойкой, за решетчатым окном кассы.

Жизнь предначертана с детства. Свои пороки, свои добродетели, свои способности, своя желанья носишь в себе, вместе со своей судьбой.

С самого детства я не умел полностью подчиниться школьным требованиям. В особенности не любил я становиться в общие ряды и ходить по улице вместе с товарищами по четыре в ряд. Я испытывал чувство невыразимого стыда; я шел, опустив глаза, с ощущением ужасающего унижения от того, что должен идти у всех на виду среди этого стада. Уже в этом возрасте во мне говорил инстинкт протеста, который так сильно сказался позднее, когда я стал взрослым, и который заставлял меня становиться на дыбы, как только от меня не требовали ничего, кроме выполнения в шахматной игре роли простой пешки. Такое безличное использование было достаточно, чтобы бросить меня в неопишное состояние прострации или гнева.

Отец Тибо был моим первым учителем. Он знал меня еще совсем маленьким, слабым ребенком и наказывал или награждал меня, в зависимости от того, чего я, по его мнению, заслуживал. Много времени спустя, уже в юности, я изредка встречал отца Тибо. Он постарел, волосы его побелели, а на мое приветствие он отвечал: «Добрый день, мальчуган», так благосклонно, так покровительственно, что я втайне не мог не ощутить какого-то раздражения.

Я даже почувствовал неприязнь к нему за то, что он ни в чем не отказался от сознания своего превосходства, которое было ведь совершенно временным. Я знал, что он не забыл о том, что я был его учеником, и что по сей день еще он морально считал себя вправе делать мне замечания и, быть может, наказывать меня.

Пришло время, когда, завидев его, я переходил на другую сторону. Встреча с ним, из неприятной, стала для меня отвратительной. Мне было бы очень трудно найти оправдание этому чувству, но рассудок здесь отступал. Страшно сказать, но я чувствовал к нему ненависть за то, что он знал меня, когда я был беззащитен, и что я обязан сохранять перед ним вид почтительной благодарности.

В день Нового года моя бабка привозила нам из Парижа подарки: игрушки, конфеты, а равно, — этого она никогда не забывала, — фигуру монахини, шедевр кулинарии из знаменитой кондитерской с улицы Гавр.

По тому же случаю я регулярно получал «Необычайные путешествия» Жюль Верна и коробку «Занимательной физики». Всегда, неизменно, один и тот же подарок.

Первая коробка была скромных размеров. Она содержала в себе три жестяных стаканчика, три мяча из цветного сукна, палочку фокусника, две медных монеты, шары, прятавшиеся в такие же, побольше, и еще два или три предмета, ни форму, ни назначение которых я уже не помню,

На следующий год я получил снова «Необычайное путешествие» и снова коробку «Физики», бóльшую по разме-

рам и более усовершенствованную. В ней все так же находились три стаканчика, три мяча, пустые шары и монеты.

Еще через год подарком служили все так же, неизменно, книга Жюль Верна и коробок «Занимательной физики». Но на сей раз она была прямо роскошной. Это, видимо, было лучшее, что есть в этом роде: три фатальных стаканчика со своими тремя мячами, великолепная палочка престижиджигатора, монеты, мягкая серая шляпа, фуляр, небольшой цилиндр, который сплющивался, когда закрывали коробку, кости домино и колода фокусных карт.

Я часто спрашивал себя, почему моя бабушка, которая была ведь трудовым человеком, с такой настойчивостью желала усовершенствовать меня в искусстве фокусничания. Чем, собственно, желала она видеть меня в жизни? Не понятнее ли это было бы для всякого, если бы дело шло о бабушке Пикассо?

Характер моей бабушки был не всегда ровным, потому ли что дела шли дурно, потому ли, что у нее были неприятности с платежами. Когда она выкладывала содержимое огромного кармана своего фартука на круглый столик в комнате, у меня была привычка бессознательно зарывать руки в большую кучу серебряных монет всех размеров и всякой стоимости. Было так занятно заставлять их падать снова в кучу, звенеть одна о другую, чувствовать, как они скользят между пальцами. Сердитая на что-то в этот день, бабушка взяла меня за руку, раскрыла одну из моих ладоней, опорожнила ее и вытолкнула меня наружу.

В другой руке у меня осталась большая однофранковая монета.

У меня не было ни малейшего намерения присваивать себе эту монету. Ни единой мыслью украсть ее. Но жест бабки, выпроводившей меня за дверь, сделал меня виновным в поступке, который был вне моего намерения.

Ценность монеты казалась моему представлению целым состоянием. Как израсходовать несколько су, я знал, но я не видел возможностей растратить пять франков. Мужества постучаться в дверь к бабке я вернуть ей деньги — у меня не хватило. Ложное положение, в которое она меня поставила, заставляло меня потерять голову. Я добежал вглубь сада и избавился от своего франка, перебросив его через соседнюю стену.

Владение, примыкавшее к нашему, было красивым, Дом был обширным, квадратным и белым. Он был отстроен при Наполеоне Первом. Сосед, живший в нем, носил фамилию генерала Ремарю. Это был старый военный в отставке, мои родители не поддерживали с ним никаких отношений. Что же касается до бабки, она была с соседом на ножах. Он предложил ей купить у нее виллу, потому что она «загораживает ему вид», а наш сад «врезывается» в его парк. Бабка ответила отказом. Генерал был на очень плохом счету в округе. Он считался скрягой и сутяжником, и его обвиняли в ростовщичестве. Генеральша была разбита параличом. В те часы, когда в парке было солнце, генерал вывозил ее на небольшую прогулку, медленно катя ее в специальном кресле,

Моя однофранковая монета описала параболу, перемахнув через стену, и упала к ногам генерала Ремарю, кото-

рый, хмуро, заложив руки за спину, видимо, занят был мрачными мыслями или просто объят глубокой скукой.

Вид монеты, упавшей к нему неожиданно-негаданно, показался ему подозрительным. Он усмотрел в этом оскорбление со стороны соседей. Не ожидая, он бросился к решетке нашего дома, яростно позвонил и потребовал свиданья с отцом.

Когда я понял, с первых же слов, что дело идет об однофранковой монете, я помертвел.

Совершенно ошеломленный этой несуразной историей, отец усомнился, в своем ли уме генерал. Он попыталось было прояснить это непонятное происшествие, но несмотря на его примирительные попытки, генерал настаивал, вышел из себя, стал до такой степени груб, что кровь бросилась в голову моему отцу, который резко схватил надоедливового соседа за плечи и выпроводил его к дверям

— «Видали ли когда-нибудь подобного идиота! — сказал он. — Как будто с пятью детьми, которых мне нужно поставить на ноги, у меня есть возможность швырять франки за окно!..»

Я любил отца, Это был человек прямой, квадратный, сделанный из одного куска, у него был широкий ум, и условности общежития не пронизали его суждений. Несмотря на это, я все же был мало откровенен с ним. Из гордости ли или из робости, но я не доверял ему ни одного из моих стремлений, не рассказывал ни о каком своем поступке и действии. Он внушал мне смутное чувство страха — не страха физического, ибо я не помню, чтобы когда-либо по-

лучил от отца хоть бы простой щелчок — но страха морального, боязни его суждения. Я опасался, что буду чувствовать за собой вину, если бы, например, он узнал о долге, который у меня мог быть в магазине красок или в велосипедной мастерской; и я был бы убит, подавлен, если бы он узнал о моих любовях с горничной генерала Ремарю. А вместе с тем, когда он при случае останавливался на мне своими серыми стальными глазами, мне смутно начинало казаться, что его не обманывает моя сдержанность с ним, и что ежели он мне ничего не говорит обо всем, о чем он догадывается или может быть, знает, тому причиной его совершенно отеческая снисходительность.

Я не чувствовал к нему инстинктивной, или животной сыновней любви. Ребенком я считал его сильнее всех других людей. Позднее, я восторгался его ясным и реалистическим здравым смыслом, его резкой волей.

Отец мой, сохранивший в себе простые инстинкты своей расы, в сущности вовсе не занимался нашей будущностью. Он питал такое же доверие к своему потомству, как птицы, которые, сталкивая птенцов с гнезда, как только они покроются перьями, обладают абсолютной уверенностью в том, что они полетят.

— Когда силен и здоров, всегда заработаешь себе на хлеб!

Заботливо хлопоча над ребенком, пока он мал, фламандский шахтер или фермер, как только сын достигнет возраста, когда может уже сам держать в руках инструмент, выпроваживают его наружу и запирают дверь.

Отец никогда не требовал у меня отчета в том, как проведу я время, куда уйду, откуда прихожу. Он не давал мне

никаких наставлений насчет здоровья, не боялся ни насморков, ни бронхитов, не советовал мне надеть пальто, повязать шею, или не выходить наружу, когда было двадцать градусов мороза.

— «Я дал тебе крепкие руки и крепкие ноги, — говорил он, когда видел, что я ухожу, но не зная сколько-нибудь определенно, что я собираюсь делать, — постарайся сохранить их в целости!»

Один или два раза, когда мне исполнилось семнадцать лет, он коснулся вопроса о «женщине».

В очень немногих словах он сообщил мне нужные сведения, не давая никаких советов.

— «Ты своего отца знаешь? — И он поглядел мне прямо в лицо. — Ты знаешь, что он не боится ничего! Так вот, ты ошибаешься, он боится сифилиса!»

К пяти часам вечера девица Флажель начинала свой обезд. Она останавливала лошадь у кузницы и легко прыгивала с повозки, держа жбан молока. Это был, как говорили между собой мужчины, хороший экземпляр девки. Ей было двадцать пять лет, она была высокого роста, а ее черные, немного курчавящиеся волосы казались неожиданными над фарфорово-голубыми глазами. Лицо у нее было гладкое и чистое, потому что в нем не было ни черного, ни красного, ни жирно-белого цвета. Ее тонкая и узкая талия заставляла оценить округлость остальных форм. Через плечо она носила сумку, и ремешок от нее, из необработанной кожи, украшал черную вязаную кофточку и разделял обе груди, крепкие и круг-

лые, сжатые тонкой материей. Едва она появлялась, как у всех мужчин — и даже у меня, увы! которому было всего пятнадцать лет — возникали желанья, которые ей не были неизвестны.

Она обходила клиентов, и наподобие всадницы Эльзы в романе Мак-Орлана, окончив процедуру, опять садилась в свою повозку, заноса с акробатической легкостью ногу, чтобы встать на подножку. Она не успевала еще сесть, как нетерпеливая лошадь уже рывком трогалась с места, заставляла звенеть колокольца на хомуте и стукаться друг о друга жбаны с молоком.

Каждый вечер, стараясь сделать так, чтобы присутствие мое было точно бы случайным, я был тут как тут, когда она слезала с повозки. Ясно, что понадобилось немного времени, чтобы девица Флажель заметила такое постоянство. Но мне казалось установленным, что созерцательное восхищение, которое она обнаруживала в моих взглядах, не было ей неприятно.

А между тем, когда как-то раз она сливала молоко жене кузнеца, я увидел, как обе они смеялись, глядя в мою сторону. Я почувствовал, как краска унижения заливает мне лицо! Я угадывал, что поводом для насмешек обеих женщин была моя крайняя молодость.

Целую неделю я не смел появляться во время проезда девицы Флажель, когда, по действительной случайности, я снова оказался на месте. Так как она была одна, то она улыбнулась мне, подала мне одобрительно знак, означавший, чтобы я подошел к ней и что у нее нечто важное мне сказать. Но я тут же пустился наутек. Неизъяснимое чувст-

во овладело мной. Во мне был смутный страх оказаться не на высоте положения.

Целые месяцы желание, которое влекло меня к ней, не оставляло меня. Оно преследовало меня по ночам, оно сопровождало все мои сны. И когда издали я видел, как она разговаривает с мужчинами, я делался больным от ревности и гнева.

Раз, вечером, я опоздал к обеду. Садясь за стол, я старался придать своему лицу выражение спокойствия и безразличия. Но внутри сердце мое билось так, что готово было разорваться от ярости и тоски. Я только что бился из-за женщины.

Мне было семнадцать лет, а любовь в этом возрасте причиняет больше страданий, нежели это обычно себе представляют. Я же испытал первое разочарование.

Один человек, проводивший свою жизнь в том, что «занимался женщинами», как другие занимаются лошадьми, похитил у меня мою первую любовь. Он был богат...

Его брат, выступивший посредником, покатился на землю, сбитый двумя ударами кулака. В дело вмешались прохожие и поставили меня в невозможность излить ярость на действительного виновника.

— Завтра! — крикнул я ему, — завтра будет ваш черед!

В этот вечер, обедая, я не мог от горя и злобы заставить себя есть. Вдруг, я услышал, что задребезжал звонок у садовой калитки. Тот человек, испугавшись моих угроз, пришел поговорить с отцом. Я спрятался за дверью и слышал весь разговор,

— Извините меня, господин Вламенк, — сказал он, — за то, что я вас побеспокоил в такой час... Ничего особенного... Это в связи с вашим сыном... Он молод, несдержан, и в его возрасте можно дойти до нежелательных поступков. Дело в небольшой истории из-за женщины... Он бросил мне угрозы, и вот я решил поговорить с вами, чтобы...

Я дрожал от гнева за моей дверью. Бешенство мое достигло предела, мало того, что он отбил у меня мою женщину, он еще пришел рассказывать отцу вещи, которые того не касались. Это тем менее, считал я, для него извинительно, что ему было уже тридцать лет. Его трусость возмущала меня, и не будь во мне страха и почтения к отцу, я бы ринулся в комнату.

Отец не произнес ни слова. Тогда человек, не очень обнадеженный исходом своей попытки, прибавил:

— Впрочем, я предупредил комиссара полиции!

Эти последние слова зажгли отца раздражением, которое он с трудом сдерживал. Вся эта история ему не нравилась. Я не знаю, что думал он в это время обо мне, но заключительные слова о «комиссаре полиции» вызвали в нем гнев.

— Милостивый государь, сказал он вызывающим тоном, — у вас много шансов на то, чтобы мой сын рассчитался с вами... Когда я был в его возрасте, я не бросал угроз: я расплачивался по такого рода делам немедленно!

Человек удалился. Отец продолжал сидеть и велел провонять его до садовой калитки сестре.

Я вышел из засады и со слезами на глазах обнял отца.

— Ну, довольно! Чтобы не было историй! — сказал он мне.

Спустя два дня я очутился лицом к лицу с моим соперником, — естественно, я не мог остаться на мирном положении. В особенности я должен был с ним посчитаться за попытку прибегнуть к вмешательству отца, чтобы избежать расправы, которой он боялся.

Он защищался плохо, изобразил что-то вроде жеста сопротивления тростью, которую я вырвал у него из рук.

На той же неделе в дом пришли жандармы. Поступила жалоба на меня за побои и поранения. Кроме того, я обвинялся в краже трости.

Переговоры длились полчаса. Неуверенный в исходе всего этого происшествия, я держался в стороне..

Отец пришел за мной, и, примирительным тоном:

— Отдай трость! — просто сказал он.

Я впервые увидел деда в семейном альбоме в одном из тех семейных альбомов, которые вызывает из прошлого смешноватые фигуры, устаревшие и странные моды на грустном фоне. Пронзительные глаза, короткая борода, редингот, отложной воротничок, черный галстук, толстый, как шнур от сапога, придавали ему в моих глазах смутное сходство с портретом Виктора Гюго, который я видел в одной книге.

Он жил во Фландрии. Однажды, никого не предупредив, он приехал к нам. Он захотел повидать сына, сноху и внуков. Ему было восемьдесят лет, но он был подвижен и крепок. Он шагал со сжатыми кулаками.

Он провел у нас несколько дней, играл со мною в шары и уехал назад во Фландрию. Он не ладил с сыном.

Я поступил на дополнительные курсы, так как отец, как все буржуа того времени, говорил:

— С образованием можно достичь всего!

Я учился у него также играть на скрипке. Я был довольно хорошим техником и хорошим чтецом. Отец прилагал много труда, чтобы вбить мне в голову правила гармонии, ибо я был предназначен к карьере музыканта и композитора.

Признаюсь, что это нисколько не увлекало меня, и, как только отец уходил, я тотчас же направлялся в библиотеку моей бабки. Я проводил целые дни, пожирая Фенимора Купера, Евгения Сю и Поля де Кока. Это были тома большого формата, выходившие иллюстрированными выпусками в «Журнале для всех», издававшемся в 1848 году. Я прочел «Рогоносца», «Негодяя Гюстава», «Кошечки этих мужчин», не находя в них ничего, что оскорбляло важных людей той эпохи. Точно так же я погружался на целые часы в Дюма-отца, и голова моя была полна драматическими сценами, легкими и трагическими любовными интригами, фигурами экзальтированных героев и героинь, жизнью которых я продолжал жить, вечерами, при свете свечи.

Мне всегда казалось, что я вызываю чувство безнадежности у моего отца. Его упреки были, я это чувствовал, справедливы, так как у меня не было постоянства в работе. Но разве часто не отмечал я противоречий у него самого? Почему же он не хотел понять, что я, его сын, похож на него, что я унаследовал немалую долю от его неистового и неустойчивого характера?

Родившись в Бельгии, он уехал оттуда пятнадцати лет и больше не вернулся. Впрочем, насколько я знаю, он ни в малейшей мере и не собирался возвращаться.

Кое-какие его слова остались навсегда запечатленными в моей памяти. Хотя я и был очень молод, но память моя сохранила один неистовый спор, который дошел до моего слуха.

— Да, — говорил какой-то посетитель, — вы должны знать, милостивый государь, что я француз и что я горд этим!

Яростным жестом отец открыл дверь гостиной; я слышу еще по сей день, как, выпроваживая собеседника, он сказал:

— А я, милостивый государь, — никто, и я горд, что я никто!

Как-то позднее, остановившись на дороге, идущей вдоль Сены к Вернону, неподалеку от пехотных казарм, я увидел солдат, идущих по четыре в ряд, в своих форменных блузах, их вел сержант.

Меня охватило болезненное ощущение при мысли, что, через некоторый промежуток времени, я буду тоже одет, как они, буду похож на них. Мне казалось, словно тяжелая дверь захлопнется за моей свободой. И это ощущение недомогания еще увеличилось, когда при звуках рожка, люди побежали собираться на другом краю. Я вернулся домой, подавленный, и сказал сестре:

— Я никогда не смогу делать это!

Она передала эта слова отцу, и его лицо тотчас же нахмурилось. Он произнес слова, которые так не соответствовали тому, чем он был:

— С его мерзким характером, он доставит нам немало неприятностей!

После смерти моей бабки дом был продан, и купил его генерал Ремарю. Дом был под закладными, и от его продажи очистилось для моей матери тысяч двадцать франков.

У меня был старого фасона велосипед, весом в двадцать два кило. Он уже однажды сменил другой, такой же. Смерть бабки — да упокоит Господь ее душу — позволила моему отцу проявить в отношении меня щедрость. Он дал мне сумму, которая была нужна, чтобы купить настоящую машину на пневматических шинах.

Великая мода на двухколесные велосипеды была в самом зените, и эту эпоху нельзя сравнить ни с какой другой. Новый способ человеческого передвижения колебал, изменял привычки и нравы. Собаки мчались, исходили лаем на велосипедистов, рвали им панталоны. Велосипед изменил одежду. Стали носить короткие брюки и чулки. Газеты сообщали о происшествиях и злоключениях с горе-гонщиками. Шарль Террон, проделавший путь Париж — Брест и обратно безостановочно, при посредстве одних только собственных мускулов, вызывал во время своего проезда любопытство и энтузиазм, которые ныне можно сравнить разве только с тем, что вызвал перелет через Атлантический океан Чарльза Линдберга.

Открытие мира исчисляется для меня с велосипеда. Я целыми днями пропадал на дорогах. Я пересекал деревни, города, пашни, дышал пылью, мок под дождем, боролся с ветром. Туда, куда «дымящий старший брат» не попа-

дал, ибо он находился на расстоянии двадцати-тридцати километров, — туда велосипед проникал. Лошадь уже потеряла ореол, двуколка покрыта презрением. Завтракали на постоялом дворе, дотоле неведомом, мчались по дорожкам, в лесу, по тропинкам,

Велосипеду обязан я моими первыми изумлениями жизнью на волнах воздуха, первыми радостями, первыми впечатлениями пространства и свободы. С ним вместе увидел я впервые всю долину Сены, от Шату до Гавра, Мант, Бонньер, Руан, Дюклер, Танкарвилль. Все эти места были спокойны и мирны. Туризма еще не было: он только возникал.

Самые сильные ощущения мои порождены этими днями, проведенными на больших дорогах, на высотах холмов, откуда глаз спускался в долину и задерживался на кровле домов, до которых, казалось, можно дотянуться рукой.

И на море...

Тогда-то меня охватила жажда живописи. Когда я вспоминаю или пытаюсь вспомнить, увы — смутно, — какими были первые моя опыты, я чувствую к ним нежное любопытство. Я много бы дал, чтобы снова увидеть их. Я работал инстинктивно, неловко, — клал краски с единственной мыслью, которая для меня искупала все: выразить то, что я чувствовал. Я писал по-ребячески, исключительно для себя самого, и ни для кого больше. Мне казалось, что вода, небо, облака, деревья знают о том, какое счастье они мне дарят. Я сочинял, подростком семнадцати лет, поэмы к жизни, как пишут в этом возрасте стихи к женщине, которой никогда не встретишь.

Когда я возвращался домой и там ненароком видели мою мазню, — я чувствовал взгляд отца, озабоченный моим даром истраченным временем, и его немой упрек за то, что я не пытаюсь заработать себе на хлеб.

По воскресеньям тысячи велосипедистов бороздили дороги: 1895—96. Увлечение велосипедом достигло апогея. Человек хорошо сложенный, с гибкими мускулами, с могучим дыханием, становился благодаря личным своим качествам, силе своих ног аристократом дорог, могущество денег было низложено с престола новой притягательной силой — восхищением скоростью, появившейся на сцену. Бедняк получил возможность на дороге оставить позади себя миллионера, одержимого желанием его обогнать. Дитя народа, на мгновение, вдруг начинал постигать значение подлинных человеческих ценностей и естественного превосходства.

Не уставая, я легко делал во время моих поэтических, но лишенных цели прогулок по сто-двести километров в день. Однако мысль о соревновании кипела во мне. Я принял участие в нескольких гонках у себя в округе, и эти первые опыты, увенчавшиеся успехом, побудили меня взять абонемент на велодром Бюффало.

Там я вступил в соприкосновение с другими людьми. Я научался с первого взгляда измерять противника, оценивать его мускулатуру, ширину его плеч, тонкость запястий, особенности его характера.

В противовес умственным навыкам буржуа, судящих о подобных себе по занимаемому ими социальному положе-

нию и по деньгам, которые они олицетворяют, я всегда сохранял эту привычку взвешивать, судить, классифицировать людей по их собственной, внутренней ценности.

Двести-триста километров борьбы, бок о бок, испытывая противника, подстерегая или угадывая его усталость, его истощение, усилие не сбиться с ленточки и оцепенение, то оцепенение, которое так хорошо знакомо старым гонщикам, оцепенение, которое охватывает вас в холоду, на рассвете, после того как проедешь на велосипеде всю ночь! Сеансы тренировки, на которые допускается публика, — женщины, приходящие в ложи посмотреть, как мы кружимся до треку; кабины гонщиков, где стоит удушающая жара и где не выводятся самые различные запахи, — каучука шин, который нагревает солнце сквозь сосновые доски, пахнущие резиной, вонью камфарного масла, смазок, разложения и керосина, испарений, поднимающихся от фуфак и трусов, пропитанных потом, — весь этот мир я любил, или, вернее, я любил быть среди него.

Я специализировался на провинциальных гонках. Я покрывался пеной в Руане, Туре, Бордо и даже в городах меньшего значения. В субботу вечером, садясь в поезд, мы велосипед сдавали в багаж. Или, отправляясь накануне по шоссе, — это зависело от расстояния — мы прибывали в воскресенье утром в празднично разукрашенный город, увешанный флагами и ожидающий гонщиков.

Взгляды девушек, женщин, одобрение и крики возбужденной публики — никогда, ни в какой другой области не находил я такого полного и целостного удовлетворения,

какое ощущал, когда выходил победителем на простой велосипедной гонке, женщины относились к нам с тем же самым восторженным чувством, которое ныне они испытывают к авиатору.

Мой отец был не слишком доволен избранной мною карьерой. Но это его удивляло меньше, нежели то, что я занимаюсь живописью: это давало доход. Худо-хорошо, я зарабатывал три-четыре сотни франков в неделю. Приняв участие в гандикапе на большой приз города Парижа, 2 августа 1896 года я схватил тифозную горячку и свалился с сорокаградусной температурой. Через три месяца после выздоровления я уезжал в Бретань, отбывать военную службу. Моя карьера велосипедиста была кончена.

И вот появился автомобилист... Мстя, давя всей своей тяжестью, деньги снова воцарились на дорогах. Досадуя и негодуя, бедный запыхавшийся циклист, эти борющиеся десять лошадиных сил, разогнавшие до отказа машину, видит, как вопреки всем усилиям их обходит роскошная, быстрая и бесшумная двадцатичетырехсилка в сто пятьдесят тысяч франков!!!

Попав в казарму, я не был ни озадачен, ни изумлен. Мое воображение не оказалось захваченным врасплох: это было не лучше и не хуже того, что я думал. Как и везде, где человек живет стадом, думает и действует скопищем, здесь охватывает чувство великой тоски. Не всегда радостно видеть, касаться недр души человеческой.

Беспользные возмущения, лишенные расчета, заставляли отсылать их добровольные жертвы в более или менее дисциплинированные части. Эти бесцельные вспышки не давали никакого результата; это было слишком очевидно, чтобы я не заметил этого тотчас же.

Но больше всего тяготила меня обязанность выносить непомерную гордость тех, кого именовали «галунщиками». Ибо, за очень малыми исключениями, все они были ничтожествами, считавшими, что величие их чувств и мыслей росло по мере того, как множились галуны на их кепи, на рукавах их шинели или доломана.

Ничего этого мне не было нужно. Я думал совсем о другом, бывшим совершенно за пределами казармы. Если бы сам полковник предложил мне занять его должность, я ответил бы, к его величайшему недоумению, вежливым отказом. Что же касается дисциплины, то, по правде говоря, это было только словом. Надо было лишь уметь ловко плавать между нитями сети. Ответить на все утвердительно, улыбаясь, и в то же время ничего не сделать, это было только проступком, который получал возмездие в виде нескольких дней гауптвахты. Но категорическое «нет» влекло за собой предание военному суду и отправку в Африку, в каменоломни.

Жизнь складывается из оттенков — в военном быту, говоря коротко, столько же, как в общественном. Вытащить кошелек из кармана человека, сидящего рядом с тобой в метро, это жест, ведущий в тюрьму. Но умное банкротство, проделанное переполненными руками, совсем другое дело!

При моей сноровке я легко справлялся с трудностями военного ремесла. Дни у меня проходили мирно и бездейственно. В сущности, я даже сожалел, что мне не приходится ничего делать, кроме некоторой работы, от которой я в конце концов также легко уваливал. Физически, я жил в лени; зато мозг мой находился в возбуждении и работал сверх меры. Я наблюдал, отмечал все, — это было моим единственным развлечением и той единственной пользой, которую я считал возможным извлечь из этого заточения.

Ремесло солдата, простого солдата, — это ремесло, которое, собственно, могут себе позволить только дети буржуа, ибо прокормить человека оно не может. Жалование в пять сантимов за день не позволяло мне пойти в солдатскую столовую, чтобы какой-нибудь простой булочкой увеличить скудный обычный порцион. Сыновья достаточных родителей живут за счет двух-трех посылок в неделю. Что же касается меня, то на моем отце лежало слишком много обязательств, чтобы он мог думать еще о моих нуждах. Я ведь получал пищу, кров, одежду, — он же был убежден, что правительство широко ведет это дело. И я, со своей стороны, не предпринимал ничего, чтобы убедить его, что только родители «со средствами» могут позволить себе роскошь содержать сыновей на военной службе. Я был в этом отношении не одинок. Чтобы найти выход из нужды, каждый по своему изобретал средства и комбинации. Один нанимался в денщики к сынку фабриканта, и за маленькое вознаграждение этот купающийся в деньгах счастливцев находил свое ружье вычищенным, а снаряжение сложенным и размещенным, согласно уставу. Другой занимал место

ламповщика, чтобы продавать скупщику-лавочнику керосин и фитили, которые должны были нас освещать. Этот шел на содержание к некоей горожанке, тот пускал в казарме в ход свой талант фотографа; его товарищ был любовником жены парикмахера, бедняк, парень из мясной, за несколько су и кусок мяса плелся в город, после пяти часов, помогать хозяину-мяснику резать мясо.

Когда я установил, что мне надобно зарабатывать себе на хлеб, чтобы сделать терпимой мою жизнь в казармах, вся эта авантюра пришлось мне солоно. Я, в свой очередь, оказался тоже вынужденным пустить в ход простое искусство, которое было у меня руках. Я стал музыкантом на танцевальных вечеринках и заставил плясать всех — от невесты в день ее свадьбы до крестьянки с фермы. Сверх того, я учил разбирать ноты и пикивать на скрипке трех несчастных мальчишек в городе. Я спрашиваю себя сегодня, на что все это было им нужно.

У меня было кругом широкое поле для наблюдений, ибо мои сослуживцы образовывали целую социальную гамму. Тут было все, начиная с субъекта из парижских предместьев, у которого формуляр украшен несколькими месяцами уголовной тюрьмы, и кончая невинным и простодушным землеробом, которого вытащили из глубины его деревни, чтобы превратить при случае в героя.

Торговец картофелем из Пюто, помощник горниста, бывший отъявленным лодырем, но в общем хорошим малым, за час до того, как тушили огонь, влезал на стол и, стоя, напевал песню. Он зажимал пальцами ухо и, пользу-

ясь ладонью как рупором, на тот же лад, на который он кричал на парижских улицах: «Картофель! лучший картофель»!, заводил: «Марго! налей-ка мне вина!..» Успехом он пользовался сумасшедшим. В его песнях, в самом его голосе была та сентиментальность, которая берет за сердце людей предместья, — настоящая сентиментальность простого люда. Когда срок службы кончился, этот самый Пуансар почувствовал тоску по казарме. Он украл у хозяина денег, франков триста, сел на поезд, поехал в город, где отбывал военную повинность, оставившую в нем такое нежное воспоминание, и проел всю украденную сумму с парнями.

Соседом моим по кровати был нервический тип, протестант. Светловолосый, красивый собой, высокий, гибкий, в гражданской жизни он был сутенером. Содержание, получаемое от женщин, он старался увеличить еще проблематическими добавками, рискуя в биллиардных нескольких луи, которые он ставил на маркеров.

Ночью, когда люди храпели, он исповедовался мне, делился надеждами, рассказывал о своей жизни.

Между тем он вовсе не был бабой. Он был энергичен. Но как столько других, он был годеи на все и негоден ни на что. Хуже всего было то, что он отдавал себе в этом отчет.

— Я полуинтеллигент, — говорил он мне, — я никогда не буду счастливым.

С точными и образными подробностями, он развертывал передо мною события своего подвижного существования, пытаюсь найти оправдание тем случаям, когда вопре-

ки самому себе приходится иногда совершать поступки, о которых никогда не помышлял.

— Я не ел уже два дня... исчерпал все комбинации... Надежды у меня не было никакой, я подышал с голоду. Я брел, куда вел случай, и вот таким случаем пошел я вниз по Амстердамской улице. Было четыре часа пополудни... Вдруг останавливает меня хорошо одетый человек... Почему именно меня заметил он в толпе? Почему меня, а не другого? Так я этого никогда и не узнал. Он позвал меня выпить аперитив и посвятил в свои намерения: «Вы, — сказал он, — как раз такой человек, какой мне нужен, я не ошибаюсь. Дело в общем простое, тут нужно только немного ловкости и немного нахальства».

Он говорил все это в темноте, совсем приблизившись ко мне. Когда кто-нибудь кашлял рядом или, казалось, прислушивался к нашему перешептыванию, он замолкал, а потом продолжал еще тише.

— «Вот в чем дело, — сказал мне этот тип, — есть у меня друг, очень богатый человек, живет он в большом отеле на Елисейских полях. У него в комнате есть чемодан, а в этом чемодане — шкатулка, где имеются письма, представляющие для меня огромную важность. Дело идет о том, чтобы взять эту шкатулку. Я сам, понимаете ли, не могу этого сделать, потому необходимо, чтобы в день исчезновения писем я был возле него, дабы у него не было никаких подозрений на мой счет».

Он мне дал все сведения — этаж, номер комнаты, ключ, способ проникнуть, не возбуждая внимания бюро отеля. Я должен был, завладев шкатулкой, передать ее ему тотчас же в условленном месте, в обмен на два билета по тысяче

франков каждый... Я согласился... Я вошел на второй этаж, всунул ключ в скважину, проник в комнату. Все оказалось совершенно так, как он мне описал... В ту самую минуту, когда я брал шкатулку, я услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Шаги остановилась возле двери.

Голос его изменился при воспоминаниях о волнениях, пережитых в эти несколько минут.

— Меня охватил кошмарный страх, ужасный, разрывавший мне сердце. Я инстинктивно схватился за тяжелую, литую подставку для дров в камине... Шаги стали удаляться; человек поднимался этажом выше...

Он на мгновение замолчал и, точно испытывая облегчение от того, что ему удалось избежать несчастья:

— Видишь, — сказал мне, — как можно было сделать убийцей!

Он страдал бессонницей, и часто, просыпаясь глубокой ночью, я видел в темноте горящую точку его папиросы. Утром он лихорадочно ждал прибытия раздатчика писем, ибо он получал почти ежедневно письма от женщин и жадно прочитывал их. И потемнев или ободрившись, смотря по полученным новостям, он спускался в солдатскую столовую, как только получал возможность успокоиться или поделиться своими сердечными ревностями.

Он по-настоящему страдал от своего пребывания здесь, от необходимости мести комнату, чистить оружие или маршировать по дорогам, тогда как влечения всего его существа толкали его в Париж.

Его звали Жорж Дюриё. У него были прекрасные светлые волосы, слегка вьющиеся. Он приглаживал их, пома-

дил и расчесывал с любовью, на пробор, по самой середине головы. Чтобы сохранить их, вопреки правилам и ненависти, которую питал фельдфебель к волосам не подстриженным по уставу, он надвигал кепи на самые глаза.

В это утро у Жоржа Дюриё лицо было в морщинах, жесты порывисты. Он, явно, страдал больше, нежели обыкновенно. Тому причиной, несомненно, были письма, которые он получил при раздаче в десять часов. Он напоминал мне дикую птицу, которая рвет и умертвляет себе плоть, ударяясь клювом и ногтями о решетку клетки. Сидя вдоль скамей, люди ели солдатское пойло из железных котелков, за столом, грязным от костей и кусков сыра.

Фельдфебель, проходя по комнате, приподнимал все кепи. Жорж Дюриё, бледный, со сжатой челюстью, понимал, какая опасность ему угрожает. Он ждал, собравшись в комок, готовый прыгнуть. Остричь волосы — это казалось ему высшим бесчестьем. Его светлые локоны нравились женщинам, он знал силу их притягательности. Бритая голова его сотоварищей, «волочья голова» представлялась ему худшим унижением, клеймом каторги. Он был готов защищать их, чего бы это ему ни стоило, — хотя бы самой жизни. Когда очередь дошла до него, он не позволил фельдфебелю дотронуться до его кепи. Еще прежде чем он услышал фатальное: «Дюриё, вы — острижете себе волосы», он поднялся и грубо, категорически бросил «нет».

Он был прозрачный, зубы его стучали; с угрожающим видом, сумасшедшими глазами, он двинулся на фельдфебе-

ля. Люди, онемевшие, придавленные драматической атмосферой, в которой они очутились, ели похлебку в молчании. Внутренно они были удовлетворены этим открытым возмущением против дисциплины и начальства, которое они ненавидели, но они были неизменно счастливы от того, что Дюриё, этот ловкий парижанин, втянул себя в историю, тяжелую и чреватую последствиями.

Фельдфебель старался сохранить спокойствие и не обнаружить перед людьми страха, который ему внушал Дюриё. Но, опасаясь за себя, он спустился в ротную канцелярию, чтобы написать рапорт и доложить капитану об этом тяжком нарушении дисциплины,

Жорж Дюриё быстро вскочил на свою постель, взял из обмундирования брюки и выходной мундир, надел их, потом, обведя всех товарищей прощальным взглядом, исполненным торжествующего вызова, и проведя рукой по волосам, которые он взъерошил:

— Мои волосы? — закричал он, — я остригу их в Париже.

Он бегом спустился по лестнице, перепрыгнул через стену казармы и исчез.

Я увидел его снова через несколько месяцев, среди двух жандармов, которые привели его в казарму. Он был элегантно одет и лихо, скованный ручными кандалами, глядел с презрительным видом на солдат, проходивших мимо него. Его арестовали в Париже по доносу какой-то ревновавшей его женщины.

Он просидел в тюрьме недолго. Его товарищ, оборотливый ламповщик, переслал ему напильники внутри хлеба.

Решетка камеры была перепилена, он скрылся и перешел бельгийскую границу.

Я навещал освобожденных от службы, штрафных и маменьких сынков. Одних я встречал в тюрьме, других в большом кафе города, куда они приглашали меня пообедать и развлечь их музыкой. Я предпочитал, и намного, провести несколько дней в тюрьме, вместе с жуликами парижских предместий, послушать их рассказы и их словечки, вместо того, чтобы внимать искусственной и условной болтовне сынка нотариуса или толстосума-фабриканта из соседнего года. Рассказы жуликов были настоящие, — тут не пускали пыль в глаза. И сейчас, в тот самый миг, когда я пишу, несомненно то, что я превосходно помню фигуры, действия, жесты моих со товарищей из тюрьмы, тогда как я совершенно не в силах, безо всякой предвзятой мысли, воспроизвести беседы об искусстве и светской жизни, о которых шла речь с теми.

К концу каждого года прибывал новый контингент людей, чтобы заменить призыв, уходящий в запас. Больше всего среди этих новобранцев было бедных и безобидных бретонцев, но имелась также некоторая толика парижан, действительно достойных внимания. Держась вместе в одном из концов здания, одетые еще в гражданский костюм, в плоских жокейских кепках, в брюках узких в колене и широких к ступне, они происходили из среды, столь дорогой Франсису Карко.

Один малыш, у которого не хватало установленного роста, обязательного для военной службы, — он был за-

бран за то, что не явился на освидетельствование в приемочную комиссию, — представлял собой самый чистый тип апаша. Не прошло и двух дней, как он получил карцер. Я видел, как в сопровождении капрала он проходил через двор, с котелком в руках.

В ответ на мой вопрос, он коротко говорит:

— Я потерял воинский билет!..

И произнеся эти слова, он ловко высвистнул струю слюны, не затронув даже окурка, торчащего у него в губах.

На следующий день, когда я остановился возле гауптвахты, и видел, как он пререкается с сержантом. Он отказывался выплюнуть жевательный табак, который раздувал ему щеку. Сержант, с книжечкой в руке, торжественно читал ему воинский устав. Но тот, своими маленькими, черными, своевольными глазами, точно бы кидал вызов и сержанту, и его уставу. И чтобы выразить свое презрение и ту малую важность, которую он придает и угрозам, и последствиям, он, сделав усилие глоткой, проглотил свой табак.

— Подохну, — оказал он, — а не выплуну.

Я видел его как-то раз еще, под деревом, в отдаленном конце двора. Он о чем-то таинственно беседовал с человеком, только что отбывшим десять лет в дисциплинарном батальоне. Этот человек прибыл, чтобы дослужить шесть месяцев, которые остались за ним перед осуждением. Он был отправлен в Африку двадцати трех лет, — теперь это был тридцатитрехлетний солдат. Он вернулся оттуда исполненный худшими чувствами по отношению к близким своим и весь покрытый татуировкой с головы до ног.

Мальш, не вышедший ростом, чтобы стать солдатом, восхищался ножом, длинным и тонким, который был у татуированного в руке. Он бережно и почтительно положил палец на лезвие кинжала и осторожно пробовал отточенность острия.

Солдатом я не был ни плохим, ни хорошим: я не был солдатом вовсе. Роли своей я всерьез не принимал. Мои сапоги, моя портупья не знали ни ваксы, ни воска. Когда мне доводилось отлучаться в город, то для того, чтобы избежать неприятностей, которые причинила бы мне встреча с дежурным сержантом и неизбежное «кругом марш», — я среди бела дня перепрыгивал через стену.

Улица была пуста, — было воскресенье. Сержант, дежуривший у забора, только недавно прибыл из Туниса. Не успев еще облачиться в форму пехотинца, он вступил в исполнение служебных обязанностей в своих штанах зуава и в феске. Пронзительным взглядом он осматривал солдата, представавшего перед ним. Он придирчиво разглядывал блеск сапог и пуговиц, обследовал складки мундира, сосредоточивал все свое внимание на обязательных трех оборотах галстука и на запретных выгибах кепи. Неизменно, каждый представший перед ним слышал неумолимое:

— Кругом марш! Принять вид по форме!

Сбившись кучками среди двора, запуганные, люди не решались больше идти на осмотр. Они без конца осматривали друг у друга все детали обмундирования.

Так как я тоже собирался отправиться в город, беспорядок моей одежды вызвал веселие. Товарищи иронически показывали мне пальцем на сержанта в штанах зуава.

— Бьюсь об заклад на пиво для всей компании, что я пройду! — сказал я им.

Это был вызов дисциплине, и я тотчас же отказался от обычного своего приема.

Я направился к сержанту. Он еще издали увидел, что я подхожу. Не доходя нескольких шагов, я отдал ему честь. Ошеломленный, он оглядывал мои сапоги, пуговицы на мундире, примятое кепи и не верил своим глазам. У меня был вид, точно я упал с какой-то планеты, где не существует сержантов. Я прямо глядел ему в глаза, подошел к нему с таинственным видом и стал конфиденциально объяснять, что со мной случилось.

— Вы видите, г. сержант, ребят, которые там стоят? Так вот, г. сержант, я побился об заклад на пиво для всех, что вы разрешите мне пойти в город... У меня нет ни гроша. Ежели придется сделать «кругом марш» — я сел на мель.

Он поглядел на меня, заинтересованный. Мне показалось, что в его зрачках мелькнуло лукавство, но вместе с тем и нерешительность. Я прибавил, улыбнувшись:

— Я рассчитываю на ваше доброе сердце, г. сержант!

Что пронеслось у него в голове? Представлял ли он себе те марокканские места, которые он только что покинул, голворезов колониальной армии? Или вдруг понял, что в казарме грустно и что он скучает? Или он хотел показать, что он волен поступать, как заблагорассудится?

— Проходите, — сказал он.

В городе несколько женщин предосудительной жизни продавали солдатам свои прелести и ласки. Их знали все

люди полка. Большинство из них не были ни красивы, ни очень молоды; две-три все же могли бы заниматься и другой профессией. Когда полк отправлялся на месяц производить боевую стрельбу, в отдаленную местность, женщины переселялись за ним следом.

Было жарко, стояли прекрасные вечера. Солдаты разбредались из бараков и курили возле женщин, как обезумевшие животные. Как всегда, те устраивали свою женскую половину в старой соломе, служившей для набивки матрацев. Люди знали, что их можно найти там. Тело свое они продавали недорого: за булку, коробку консервов, десять-двадцать су, а изредка оказывали и кредит.

Они испытывали привязанность к полку, который они обслуживали и проводили эту странную верность с тем же чувством долга, с каким честная женщина не желает изменять мужу. Поэтому в период прохождения стрельбы, когда несколько полков из разных гарнизонов оказывались друг возле друга на этом стрельбище, — женщины отвергали предложения и притязания, исходившие от солдат, которые оказывались не той части, которой они считали нужным блюсти верность. И те из 41-го полка, которые хотели получить наших женщин, должны были меняться с нами своими кепи.

После шести месяцев обязательного прохождения службы я перешел в музыкантскую команду. Теперь я имел дело только с ее начальником. Его звали «Господином», и это был хороший человек. Дни шли за днями без происшествий, сопровождаемые важными звуками контрабасов и тромбонов и пронзительностями флейт и кларнетов.

Благодаря обязательности одного приятеля, в моем распоряжении была вся офицерская библиотека. Я проглатывал том за томом все книги, которые в ней были. Я прочел Гюго, Золя, Мопассана, Гонкуров, Альфонса Доде, а также философов: Паскаля, Дидро, немецких материалистов Бюхнера, Молескотта, Карла Маркса. Прочел я также Кропоткина и Ле Дантека. Я созревал, как плод на полуденном солнце, и мои врожденные наклонности к бунтовществу питались всей этой литературой. Они конденсировались, становились серьезнее и важнее. Теперь это было уже не ребячество, не капризы балованного ребенка, — я черпал теперь в этих работах доводы, которые укрепляли мои свободолюбивые тенденции.

Я говорил уже, что достаточно ловко обходил всякого рода уставы, не ставя себя никогда в столь серьезное положение, которое позволило бы начальству заставить меня сделать рейд в очаровательную страну, откуда прибыл тот татуированный сослуживец. Я вел свою мелодию на нюансах, забавлялся исподтишка, у меня было достаточно понимания положения, и вместо того, чтобы дать себе немедленное удовлетворение какой-нибудь резкой выходкой, — я предпочел бы во всяком случае более четкий и последовательный поступок: отправиться повидать прадедов моих во Фландрию.

Все же как ни скрытно было мое поведение, оно грозило тем не менее опасностями, — по крайней мере людям другого склада, нежели я. Почему же все-таки думали, что из меня можно сделать солдата? Может ли лисица согласиться вырыть себе нору в метрополитене?

Один капитан, католик и благонамеренный, лишал своих подчиненных отпуска, если не видел их в воскресенье в церкви. Его солдаты, получая новое обмундирование, находили в кармане штанов четки и в мундире — иконку Девы Марии.

В походной форме, готовая выступить для поддержания порядка в одном из соседних городов, где шла забастовка рабочих, рота этого самого капитана оказалась вынужденной выслушать, перед отправкой, небольшую речь, которая кончалась такими человеколюбивыми и прелестными словами:

— Забастовщики! Это — мерзавцы. Ежели они заводят истории — надо в них стрелять!

Капитан значительно выходил за пределы своей компетенции. Я со своей стороны решил попытаться его наказать.

Я собрал вместе речь капитана, икону Девы Марии, четки и, с несколькими дополнительными комментариями, все это препроводил Урбену Гогие, в газету «Заря».

Через два дня появилась на первой полосе этой газеты статья, озаглавленная: «Офицеры-убийцы». Автор предлагал передать в распоряжение военного министра, — в то время генерала Андре, — четки и иконку Девы Марии.

В гарнизон прибыл офицер генерального штаба. При большом волнении в полку, он произвел расследование, опросил солдат и двадцать четыре часа спустя благочестивый капитан, который так своеобразно толковал полномочия, предоставляемые ему его нашивками, должен был переменить место службы и отправиться в один из полков на восточную границу.

Дело было в 1898 года. В нескольких километрах от нас шел пересмотр процесса Дрейфуса. Я надел штатский костюм, взял велосипед и отправился в Ренн. Я был бешеным дрейфусаром.

Благодаря пособничеству одного сотоварища, сержанта 41-го полка, я и еще два приятеля смогли попасть в залу заседания. С того места, где я находился, Зола показался мне запущенным, усталым. Я видел его впервые, я только что прочел «Ругон-Макаров» и чувствовал не только огромное восхищение перед писателем, но и перед человеком, перед его мужеством и гражданским бескорыстием.

В зале стоял шум, время от времени раздавались продолжительные свистки. Я не понимал, что происходит, ибо действующие лица были очень далеко, но я видел, как между генералом Пелльё и адвокатом Лабори шла горячо жестикулирующая пантомима. Мы вернулись в казарму, полные боевого жара и неистово желая оправдательного вердикта.

Комната одного из друзей, расположенная в дальней части города, служила убежищем нашим литературным и принципиальным беседам. В этой самой комнате родилась в сотрудничестве с Фернаном Сернада книга «Из постели в постель», которая была иллюстрирована Андре Дереном и опубликована нами после окончания службы. Там же Эмиль Банс написал первые строфы своих «Красных баллад». В ней можно было встретить всех недовольных, протестантов, бунтарей полка. В числе прочих — тут был Фредерик Анри Фремон, вернувшийся из африканских батальонов. По какому капризу природа делала из этого подлин-

ного и тонкого интеллигента существо с медвежьей поступью и черепом, похожим на человека пещерного периода? Его посредничество позволило мне переслать несколько революционных статей в кое-какие передовые газеты.

Я ожидал скорого окончания службы, ибо эти мои протесты лишь усугубляли мое нетерпение и желание жить так, как я хочу.

Свисток! Потом, когда вышедшие в запас солдаты освобождали переполненные вагоны, послышался огромный крик: — «Отслужили!».

Став штатскими, большинство теряло ту внушительность, которую им придавала военная форма. Одни, облаченные в одежды, измятые тремя годами, проведенными в деревенских шкафах, имели вид жалкий, — пиджаки стали слишком узкими и слишком короткими. Другие, более достаточные, которые, однако, выглядели не менее комично, щеголяли в обуженных и неказистых изделиях магазинов готового платья. Какой магический и жестокий жезл превратил заносчивого унтер-офицера в маленького служащего, получающего сто двадцать франков в месяц? Сын фермера — толстый и рослый фельдфебель — обретал, наконец, подданную свою мерку и опять видел себя тяжелодушом и тяжеловесом, лишенным престижа власти. В каждом проступал его подлинный ранг и социальная полезность. Какого-нибудь котелка, кепки, башмаков на пуговицах было достаточно, чтобы сделать литератора, механика, земледельца, сутенера.

Что касается меня, — я был свободен, что было самое важное. Я покинул город, где провел три года жизни, без всякого сожаления. Казарма оставила во мне лишь воспоминание о своей грязи и своей глупости. Грязь плохо выстиранного белья и тупость моих собратьев по оружию сочетаются и проходят в моей голове на фоне запачканной доски, на которой вечером какого-то военного праздника один сапер, старый сапожник, начертил вкось слова «Честь и Родина», увенчанные иронически девизом в виде фейерверка: «Свобода, Равенство, Братство!»

Сколько дней, потерянных в безделье, когда навьюченный, как лошадь, послушный как собака, грязный как блоха, я делал вид будто убиваю врагов, припадая бугром к вспаханной земле! А между тем в пейзаже, залитом солнцем, в небе, где неслись прекрасные облака, напоминавшие мне о Рейсдале, я вычитывал знание о более благородных и более сильных вещах, нежели наука истребления.

Ненужные и детские упражнения вызывали во мне улыбку. Во время маневров ребячества распоряжений, бездарность тех или иных командиров, не знающих, что ум и бюрократизм — противоположность, заставляли нас хохотать до слез, несмотря на утомление, и отпускать язвительные шуточки. Приказы, контрприказы, воображаемые пополнения, ежедневные комедии этих героических прогулок, когда командир, с картой в руке, заводил свой батальон в какую-нибудь дыру и тем не менее получал поздравления от полковника, марши и контрмарши

— были для нас лишь предложения для издевок. Начиная от самого тяжелодумного землероба и кончая самым тонким горожанином, ни один не принимал всерьез эти трюковые и чисто театральные сцены. Если мы с радостью приступала к торжественной атаке, которую мы вели под звуки военных песен, то потому, что для нас это было концом наших тягот. Командир полка, капитаны, лейтенанты казались мне чем-то вроде танцоров, вальсирующих не в такт, наступая друг другу на ноги, толкаясь локтями, точно в детской возне, и сохраняя в то же время серьезный и решительный вид. В данное время эти фантазии не влекли за собой никаких последствий. Но при мысли, что однажды мне, быть может, придется, под сплошным огнем пулеметов, выполнять вздваивание рядов, равнение в шеренгах, всю эту батальонную премудрость, наступать, отступать, бежать вслепую, под руководством какого-нибудь капитана запаса, вечно боящегося, что он что-то плохо понял, — что вполне извинительно, ибо всего за несколько дней до мобилизации он еще продавал чернослив в своей кондитерской, — при этой мысли меня пронизывала по всему телу дрожь. Я впрямь начинал испытывать страх, когда констатировал, что лишь один шаг отделяет безобидные глупости, которые мы выполняем, от реальности более действительной и более трагической. Умереть из-за престижа эксцентрического генерала, который, для удовлетворения своей прихоти, захочет показать силу действия кавалерийской атаки, умереть из-за глупости какого-нибудь капрала, тупоумия сержанта, во имя приказа, пришедшего слиш-

ком поздно, во имя пьянства какого-нибудь полковника Роншоно, стать жертвой стратегии какого-нибудь претенциозного выскочки, — если мне и случалось представлять себе такое мрачное будущее, то лишь для того, чтобы сразу же откинуть это, как скверную шутку, и больше не думать о ней. Верить в военную науку? в стратегию? в тактику? — С тем же успехом можно, сложа руки, полагаться на св. Терезу, на Жанну д'Арк или на шампанские вина, чтобы остаться в живых и победить.

Лишь очень редко мог я поделиться с товарищами моим образом мыслей. Большинство из них было неспособно отдать себе отчет, в какой степени полезно то ремесло, которым они занимались, и какую угрозу и важность представляет оно для будущего. Казарма напоминала им школу или коллеж, — разницы они не видели. Они жили своей маленькой жизнью, с тем кусочком свободы, которую оставляло им открытие калитки и отлучка в город. Очень мало жалоб, очень мало озлобления, — эти люди немногого требовали от жизни. Поскольку пища и ночлег были обеспечены и несколько грошей было в кармане, — они глядели на меня, как на бузотера, и ничего не понимали в моих стремлениях.

А любовь в полку! Бордель и публичные женщины со всеми опасностями, всеми пороками, которые они влечат за собой в городе, где стоит гарнизон! А эти компанейские рассказы, непристойные истории, где слова появляются во всей наготе, возбуждают людей, лишенных естественного акта и ищущих, когда погаснет лампа, в одиноком удовольствии умиротворения желания, которое их жжет! А взгля-

ды солдат, тянущиеся к женщинам на дорогах! Женщина — это любовь, идущая мимо, это вечно живущая мечта! Солдат!.. Презрительное слово, нивелирующее все. Солдат, на которого женщины и девушки показывают пальцем, когда проходят полк: «Погляди-ка на этого вот!» О, вечное, безличное «этот вот!» «Этот вот» девушки, женщины, сержанта и капитана!

Первые дни я не знал, что с собой делать. Мне нужно было в течение некоторого времени привыкнуть не вставать по сигналу рожка, располагать, как угодно, часами дня и ночи. Этот простой факт не устранял трудностей существования. Мало было иметь свободу — нужно было, ежели я хотел продолжать ею пользоваться, жить, соблюдая все правила, все условности социальной игры.

Я находился в расцвете физических сил. Была минута, когда я решил, было, вернуться на трек велодромов, принять участие в состязании Бордо — Париж и попытать в нем счастья. Но что-то во мне треснуло. Пребывание в казарме разрушило юношеский энтузиазм. Мне хотелось употребить мои мускулы и ум для жизни совсем иного рода. Я чувствовал в себе редкий жар борьбы, но против совсем отвлеченного противника, во имя победы менее легкой и, в особенности, менее достижимой.

Пока же, чтобы одолеть насущные нужды, я должен был пустить в ход те возможности, которые дали бы мне немедленно наилучшую возможность существовать. Я стал обслуживать скрипкой танцы в трактирах. Это мало чем изменяло репетиции и концерты военной службы, за исключением то-

го, что теперь я мог зарабатывать несколько франков и что у меня была возможность самому выбирать кабачок.

Время от времени я видел товарищей по полку. Само собой разумеется, только ребят с «разрушительными идеями». Я часто заходил в газету «Свободолюбец» — редакция которой, если только это можно назвать подобным именем — помещалась на улице Орсель. Вечером, соблюдая кое-какие предосторожности, по одиночке пробирались мы в это убежище, осмотрев наперед подозрительным взглядом улицу. Мы собирались, чтобы поговорить о «большом вечере». Там-то встретился я с Себастианом Фором, Малато, неистовым калекой Либертадом, Альмерейдой, Зо д'Аксà, Лораном Тайадом, другом моим Жоржем Пиошем и другими персонами меньшей значимости.

Газета была бедной, и для того, чтобы она могла продолжать выходить, надо было найти средства. Преданный делу, молодой и полный иллюзий, я предложил свои услуги, чтобы нанести визит некоторым симпатичным писателям, на которых можно было рассчитывать в смысле кое-каких грошей, чтобы помочь газете выходить. «Свободолюбец», к тому же, только что заставил говорить о себе, подвергшись конфискации за статью Лорана Тайада о приезде в Париж царя. Я побывал у Зола. Я видел его в Ренне, но, впервые в моей жизни, я находился перед ним лицом к лицу. Долю свою я получил как нельзя проще. Он был полон благожелательности. Но сегодня мне ясна вся снисходительность, которую он проявил к моей горячей молодости. Он вручил мне двадцать франков.

Апостолы, старые свободолюбцы, закоренелые и упрямые, старались заострить наши убеждения, старались дать им больше энергии, повествуя о подвигах тех, кто положил жизнь за наше дело. В небольшой комнате, где госпожа Матта поила нас чаем без сахару, ибо муж ее был диабетиком, велись беседы о том, как изменить лицо мира социальной революцией, всеобщим кавардаком. Лишь изредка тема менялась.

Эта неизменность поколебала мою веру. Я достаточно знал, что такое человек, чтобы считать правильным, что его так забывают. Наша собрания на улице Орсель заняты были только социальным порядком или, вернее, беспорядком, но никогда — природой человеческой. Это отсутствие углубленности зародило во мне подозрения относительно реальности основ анархической идеи.

Лишь удовольствие, — значение которого я преувеличивал, — видеть на столбцах газеты статью, подписанную моим именем, мешало мне окончательно порвать отношения, которые сохраняли всю дружественность. Между тем, делать революционную литературу — даже если относиться к этому с совершенной серьезностью, — все же значит только делать литературу. Для меня оставалось еще действие. Но я слишком был индивидуалистом, чтобы стать вожаком, а чтобы пойти на мученичество, быть распятым или гильотинированным, как Христос или Равашоль, — для этого мое бескорыстие не было достаточно полным. Никакое тщеславие не оплатило бы мне потери жизни.

Сборище святых становится общиной, руководимой главарем и регулируемой установленными обычаями.

Я отдавал себе в этом отчет при каждом посещении улицы Орсель, а по природе своей я был слишком анархистом, чтобы подчиняться установленной дисциплине вольнолюбивого фаланстера. Я все более растягивал свои посещения, сохраняя при этом все уважение к товарищам и интерес к идеалу, который, при всем том, не лишен ни величия, ни похвальных стремлений. Но веры во мне уже не было и, любопытная вещь, мое прохождение сквозь эту эгалитарную среду возбудило во мне обратное действие. Я понял, как трудно противостоять всему: образу мыслей отца, наставлениям матери, насмешкам братьев и сестер, издевкам и ревности товарищей. Я понял, насколько редко встречаются люди, которые умеют сопротивляться всяким атакам: — газет, микробов, женщин, денег, пресловутого преподавания учителей. Но опасность велика, ибо не только лучшее, но и худшее в человеке, это то, что в нем родится без контроля. Надо уметь противостоять самому себе.

Во время моего пребывания в казарме был у меня сотоварищем по палате один профессионал-акробат. Он часто исполнял для меня, — так как мне нравилось смотреть, как он упражняется в своем искусстве, — целую серию опасных прыжков, быстрых и последовательных.

— «Вот что я скажу тебе, — проговорил он как-то, вдруг остановившись, — бывает минута, когда я больше не знаю, где я!.. настолько, что я не знаю, то ли ноги, то ли голова у меня в воздухе. Так вот, дружище, когда *уже я больше не чувствую, что верчусь*, — надо остановиться, катастрофа на носу!

Чувствовать, что вертишься! Эти слова дали мне в тот день образ, которого я никогда не забывал.

Борьба, которую я хотел начать, была менее специфична, и так как она касалась не одних только социальных неравенств, я считал, что передо мной открыто поле действия широко-человеческого порядка.

Деньги, которые я извлекал на вечерах, где я сопровождал шансонеткам в кафе-шантанах, давала мне лишь очень скромную возможность существовать, а зрелища, участником которых я невольно становился, волновали мне чувства, разжигали желания. Сидя в углублении для оркестра, я мог разглядывать юбки легкой певицы и любоваться темными или светлыми завитками, которые были у нее под мышками. Она танцевала надо мной, и я вдыхал ее духи, ее пот, смешанный с пылью подмостков, поднимаемой ею во время ритурали. После полуночи, когда я уходил, я иногда встречал ее, закутанную в дорогие меха и исчезающую под руку со счастливым обладателем, нимало не заботясь о моих порывах, которые она уносила с собой. Днем, правда, я все это забывал. Но вечером это начиналось сызнова!

Я бросил кафешантан, чтобы стать участником цыганского оркестра в одном ночном заведении. Зрелище там тоже было далеко не успокоительное. Напитки с раками, омары по-американски, ряд других блюд, искусно приготовленных, мелькала мимо нас в руках у лакеев, разносивших их в такт томному вальсу, который мы тщетно замедляли. Они останавливались только перед богатым содержанием, занятым вдохновенным созерцанием двух грудей, розовых и напудренных.

Эти видения вызывающей роскоши волновали и сердили меня, ибо, во всех смыслах, я мало что мог положить себе на зубок.

На скрипке я пикировал только по вечерам. Днем я делал, что хотел. С несколькими красками в ящике, с полотном и дешевым мольбертом в руках, я направлялся к берегам Сены. Там я забывал декорации из «Тысячи и одной ночи», билеты в сто франков, чуть замеченные моим взглядом, полуголых женщин, — я забывал все. Я рисовал, чтобы привести в порядок мои мысли, успокоить мои желания, в особенности же для того, чтобы внести немного чистоты в себя самого. У меня не было никакой предвзятой намеренности. Мысль сделаться профессиональным живописцем никогда не занимала меня. Сделать карьеру в живописи, — я крепко посмеялся бы, ежели бы мне стали говорить об этом. Быть художником — не есть профессия, не более, чем быть анархистом, влюбленным, ухажером, мечтателем или боксером. Это случайность природы, только случайность...

Мои вечерние занятия, единственное, что давало мне возможность не умереть с голоду, были мне очень не по душе и грозили мне опасностью плохо кончить. Как-то утром, когда я шел по Мосту искусств, с глазами, опухшими от сна, одно зрелище остановило меня. Стояла свинцовая жара. Из баржи, пришвартованной к откосу берега, выходили люди, голые по пояс, неся на плечах мешки с зерном, пробегали по длинной и тонкой доске и атлетическим движением медленно освобождались от ноши. Это была восхитительная античность! Толпа возле меня увеличивалась, облокачивалась на перила, бессознательно постигала красоту

движения и обстановки. Я сошел вниз, разыскивая главаря артели, чтобы вступить в нее. Он отклонил мое предложение: я не состоял в синдикате!

В заведениях, где люди забавляются, я не забавлялся. Но я не мог помешать себе чувствовать внутреннее удовлетворение от того факта, что и богатые клиенты, точно так же, явно не плавали в блаженстве. Несмотря на обилие тонких яств и дорогое дезабилье женских туалетов, от всего этого веяло глубокой скукой. В поздние часы ночи, когда женщины уже более не ждали оказии, которая вознаградила бы их за расходы, они зевали и начинали терять веру в удачу и в свои надетые «на счастье» браслеты. Мелодически, подчеркивая скользящие переходы от ноты к ноте, мы старались оживить надежды одних и желанья других.

Раз ночью, за несколько минут до закрытия, десяток женщин окружил пьяного посетителя. Медный цвет кожи, глаза навывкате говорили о чем-то вроде Буэнос Айреса и Монтевидео. Он пил. Женщины стерегли его, чуяли деньги. Это была последняя добыча: сбившись вокруг, они его не выпускали. Брезжил рассвет, и, среди суматохи закрытия, лакей в двадцатый раз приносил поднос, уставленный тонкими и длинными бокалами. С невидящими зрачками, размягченными движениями аргентинец взял бокал, который ему протянули, и опорожнил его единым махом. Половина напитка хлынула изо рта, разлилась по одежде, и через несколько секунд он поднялся. Его лицо стало смертельно-бледным. Закатив глаза, скрипя зубами, рыча непонятные слова, он вынул из кармана бумажник и скрючен-

ными руками, дрожащими нервным возбуждением, стал распечатывать толстую связку банковских билетов. Бросив стулья, которые они составляли вместе, лакеи столпились вокруг клиента, который грохнулся и катался по земле в припадке белой горячки.

На коленях, под столами, женщины рвали друг у друга деньги, толкались, дрались, били ногами, как это делают девчонки из-за сладкого драже в день крестин, на ступеньках церкви.

Я бросил цыганские оркестры кофеен и кабачков. Я нашел место скрипача в театре. Это положение казалось мне более серьезным, более достойным. Театр Шато д'О только что реорганизовался и стал народным домом, где собирались давать для среднего посетителя целую серию комических опер и опереток. Сезон начался «Дочерью тамбур-мажора».

Мне представлялось, что я стал человеком с положением, серьезным, чем-то вроде государственного служащего, которому обеспечена пенсия в конце карьеры. Это было желанное спокойствие, без неожиданностей. Программа держалась месяц, и мы играли, не глядя на партитуру. Без четверти двенадцать мы бережно укладывали инструменты в футляры и расходились, простившись друг с другом до следующего вечера. Мои сотоварищи по оркестру днем были заняты иными ремеслами. Один служил по письменной части в меняльной конторе, другой был часовых дел мастером, контрабасист занимался скульптурой по дереву. Работа, которую они выполняли вечером, была лишь добавкой к их настоящей профессии.

Что радовало меня, так это то, что мое новое положение давало мне больше спокойствия. Все эти бесцветные зрелища не пьянили меня, не давили соблазном ночных прионов.

Как всегда, я отдавал дневные досуги живописи. Денег, зарабатываемых по вечерам, с трудом хватало на жизнь, но счастье, которое давала мне возможность проводить целые часы с самим собой, заставляло совершенно забывать о том, как мало привлекательности в моем социальном положении.

Семья моя плохо понимала, почему я не хочу увеличить свой повседневный заработок какой-нибудь службой, которая поставила бы меня в положение моих сотоварищей по оркестру. Ей казалось, что я непринужденно растратывал драгоценные часы на бесцельное бродяжничество, в котором она явно усматривала ленивое отсутствие вкуса ко всякой работе. Ибо для моего отца, как для подавляющего большинства людей, занятие, которое «не дает денег», не стоит того, чтобы на него тратили время.

С самых ранних лет для окружающих я не был рассудительным существом. А между тем, что необычного делалось? Я пил, когда пробуждалась жажда, и ел, не заботясь об установленных для еды часах. Однако сколько раз, позднее, и еще поныне, я чувствовал к моему отцу самую сердечную признательность за то, что он не связывал моих мыслей и желаний своим отцовским авторитетом и предоставлял мне даже в раннем детстве полнейшую свободу в выборе склонностей и образа жизни. Этой-то свободе, дарованной моему внутреннему чутью,

я обязан тем, что никогда ничего не мог я любить по рас-
судку.

Еще подростком, проходя по улице Лаффит или по улице Лепелетье, — по кварталу, где в эту эпоху производилась торговля картинами и предметами искусства, — я останавливался и долго рассматривал всяких Руабэ и Ронделей, которые кичливо висели в своих сверкающих рамах. Я с любопытством глядел на какого-нибудь кюре, щекочущего шейку служанки, разные жанровые сцены, поварят на кухне, где рефлексy медной посуды старались обмануть иллюзией мой глаз. Ни на секунду не возникало во мне сомнение относительно красоты этих творений искусства. Я даже был убежден, что торговцы картинами обладают глубокими познаниями, великой художественной эрудицией и что любители покупают то, что любят и понимают. Эти мои убеждения, впрочем, так и не изменились.

В шляпе рембрандтовского типа, горделиво надетой на парик с белокуроыми буклями, претенциозный мускетер, опершись одной рукой на эфес сабли, поднимал другой кружку, наполненную пенящимся пивом. Это было произведение редкого вкуса и совершенства, во всяком случае, не меньшего нежели «Диана» Фальгьера, из розового гипса, привезенная отцом из Парижа и царствовавшая, во всей своей драгоценности, на рояли в гостиной.

Все это, тем не менее, меня мало влекло, но мне казалось, что это отвечало требованиям идеала и красоты для людей романтического склада и принимающих пилюли

Пинк. Мне было пятнадцать лет, и я считал себя не вправе критиковать. Я довольствовался тем, что любил то, что мне нравилось, не ища этому оправдания. Совершенно так же, впрочем, я относился и к литературе. Толстых книг из бабкиной библиотеки, богато переплетенных, размещенных по объему и форматам, книг, составляющих основную часть всякой уважающей себя библиотеки, я никогда не раскрывал. Да и никто не читал их. Это была философия Виктора Кузена в пятнадцати толстых томах, география Мальт-Брёна, «Большая энциклопедия», красные книги с толстыми животами, занимавшие ряд полок вместе с томами стихотворений Ламартина. Я сравнивал все это со стульями и креслами, которыми была обставлена гостиная. Мне казалось, что они, совершенно так же, на протяжении всего года, из конца в конец, покрыты чехлами для лучшей сохранности. Мебель, вероятно, была очень хороша, раз на нее затрачивали столько забот. Но она уже умерла, не успев пожить. Впрочем, я не помню, чтобы хоть раз видел, как кто-нибудь приподнимает чехлы, чтобы ею полюбоваться, я же сам всегда предпочитал простую каменную скамью в саду.

Мне нужно было много времени, чтобы приобрести уверенность, что я не ошибаюсь. То, что наводит скуку, вовсе не так серьезно, как это принято думать. В нынешнее время, в витринах шикарных гостиных, я вновь встречаю маленькие лодочки из крученого стекла, которые изготовлялись затейниками на народных гуляниях. Теперь они вызывают восхищение, их ставят на место бережно, с бесконечными предосторожностями и счита-

ют предметами искусства. Я доволен, что не ошибся когда-то. Я всегда любил эти правдивые воспроизведения, наивные и простонародные. Моя коллекция лубков Эпиналя, которой будет лет сорок, наполняет меня сегодня удовлетворением и гордостью. Еще совсем ребенком я собирал хромофотографии, бывшие внутри пакетов с цинкорием, которые мать покупала в лавке, а двенадцати лет я старался копировать их. На них были изображены берега Сены возле Шарантона или Буживаля. В глубине виднелась харчевня, декорированная лампами, и несколько танцующих. В лодке, на переднем плане, некий молодой человек в майке с синими полосами держал весла. Сзади него — женщина, в непринужденной позе, одетая в платье цвета красной смородины, прикрывалась розовым зонтиком.

На аукционах моя коллекция хромофотографий «набила бы цену», а пятнадцать томов философии Кузена не прошли бы даже за сто франков.

Искусство и вкус — дело не одной уверенной опытности. Они появляются сами собой, без нарочитости и поисков. Искусство и вкус можно найти всюду: в каморке на шестом этаже, в отдаленнейших углах Африки, в хижине дровосека. Искусство и его понимание — это цветы случая, как и глупость тоже!

Барак с фигурными кеглями стоял между двумя аттракционами весьма необычного характера. Тот, что был справа, выставлял на показ «страшного спрута». На огромном холсте было изображено это чудовище моря, которое сдавли-

вало своими щупальцами человека, извивающегося в смертных конвульсиях. За десять сантимов можно было видеть бычьи кишки, плавающие в ванне. По секрету фокусник, видя, что я готов учинить скандал, сообщил мне, что морское животное умерло два месяца назад.

Учреждение слева посещалось особенно усиленно солдатней. За ту же скромную плату в десять сантимов, толстая женщина с таинственно укрытым лицом, стоя на эстраде, поднимала целомудренно платье и являла взорам те благодати, которыми наделил ее Господь Бог. За двойную цену охотники могла удостовериться пальцем, что они не являются жертвами иллюзии. Бесплезно говорить, что когда один из таких пожелал за тридцать сантимов получить ее, возникла драка между хозяином барака и клиентурой, учреждение было разгромлено, прибыла полиция и владелец чувственного аттракциона был вынужден в тот же вечер покинуть город.

Двенадцать фигур кегельбана были ужасающи и казались правдивее правдивого. Новобрачная, новобрачный, теща, шафер, колониальный солдат, консьержка, факельщик, жандарм, все эти типические персонажи были наделены болезненной выразительностью, галлюцинирующим правдоподобием, на которое, в этой интерпретации, тяжело было глядеть. Владелец кегельбана был им творцом. Эти фигуры вызвали во мне такую жажду собственности, что я предложил ярмарочнику целых сто франков за одну пару. Но он решил, что имеет дело с шуткой, и встретил мое предложение о покупке руганью.

То же изумление, то же самое чувство глубокой человечности я испытал еще раз перед двумя негритянскими скульптурами, которые я увидел впервые в жизни. Они стояли на досках, поверх стойки кабака, между бутылками пикона и вермута. На сей раз мое предложение имело большой успех. Хозяин уступил их мне в обмен на два литра самого дешевого вина, которым решили угоститься присутствующие грузчики.

С того дня негрское искусство пробило себе дорогу. Я же не могу удержать улыбку, при виде важности, с какой производятся открытия и собирание данных о происхождении этого искусства. Ныне оно все этикетировано, классифицировано, благодаря, конечно, африканским архивам короля Маликоко; а один из антикваров, специализировавшийся на торговле этой скульптурой, недавно заявлял мне, с не допускающим никаких сомнений видом, показывая один из образцов своей коллекции:

— Это дивная вещь!.. она относится к «лучшему периоду».

Ежедневно, без каких-либо намерений, я отправлялся на остров в Шату, который вызывал во мне воспоминание о персонажах Мопассана. Там в самых живописных, в самых поэтических местах я встречал г. Анри Ригалья из Шату.

Отец Ригаль был бравый мужчина, служивший страховым агентом. Он проводил свою жизнь в залах мирового суда Сен-Жермен-ан-Лэ или Версаля, то из-за судебных тяжб с владелицей дома, где он жил, то по делам разных лиц, о которых он вел со мною беседы, но которых я не

знал. Те минуты, когда ему не надо было стоять перед судьями, отец Ригаль проводил на острове в Шату.

Как нищие stalkиваются друг с другом в местах, где гуляющие люди щедрь на милостыню, так встречались мы в одних и тех же прелестных и тенистых углах. Мы оба была художниками. Он вкладывал в свою наивную и трогательную живопись всю нежность, которая в нем жила и которую ему некуда было израсходовать, ибо он жил одиноким. Все же ему хотелось как-то излить ее, но для этого у него не было других способов, как раздавать друзьям и соседям свои произведения, в которые он вложил все самое чувствительное и самое простое, что в нем было.

Случайное ранение головы лишило его обоняния и вкуса. — «Это, знаете, очень неприятно ничего не чувствовать», — уверял он меня. «Но это так удобно! это так все упрощает!»

В силу этого, отец Ригаль варил себе суп раз в неделю и держал его, нимало не беспокоясь тем, что получается, в большой глиняной посудине.

Его восхищение импрессионистами было трогательным.

— Ах! — говорил он мне, — этот Пассарио, какой мастер!

Поразмыслив, я позднее понял, что дело шло о Писсаро.

Внезапно отец Ригаль исчез. Я больше ни разу не встретил его на облюбованном им месте, под мостом, у подпoryья быка, созерцающим Шату. Но, проходя как-то по маленькой улочке Гаренн-Безон, я увидел на верхнем крае какой-то стены кисти, торчащие букетом из горшка. Старый человек подметал у двери дома куски разбитых стекол. Я узнал отца Ригаля.

— «Вот неожиданность! — сказал он, узнав меня. — Входите... взгляните, что я делаю... Я изобрел один способ...»

Я вошел в комнату, где куски стекла лежали сплошным ковром.

— Я изготавливаю витражи... да, витражи!

И весело блестя глазами, отец Ригаль показал мне свои творения и объяснил технику.

— «Знаете что, — сказал он мне перед тем, как мы расстались, — приходите через некоторое время, все будет совсем закончено. Потому что вопрос, видите ли, заключается в том, что все это очень хрупко!.. Вот мой адрес... Не забудьте же придти еще раз».

И он вручил мне визитную карточку, на которой стояло:

Анри Ригаль.
Живописец по стеклу,
прозрачно видимому
с обеих сторон ночью.

В искусстве есть свой разум, который простому разуму неведом. Я встречал три года подряд, в одном и том же месте, одно и то же лицо, с одной и той же картиной. Это был какой-то человек из Парижа. Он занимался живописью только во время отпуска, раз в году, в течение недели.

— Я начал эту вещь год назад... это очень трудная вещь, живопись, — сказал он мне, вытирая кисть. — В нынешнем году все изменилось. Уровень воды стал ниже, да и тростник исчез.

Я встретил его на следующий год, все таким же спокойным и таким же влюбленным в свой прудик. Когда на третье лето он вернулся в Париж, его полотно не было еще закончено.

— «Если пойдет как надо, — уверял он меня, — я надеюсь, что во время ближайшего отпуска дело будет кончено!»

Театр Шато д'О закрылся. Я потерял место, но был этим мало огорчен. Я решил жить попросту уроками скрипки, которые я давал в Весинэ и в Шату. Все это происшествие представлялось мне, несмотря на его материальные последствия, в забавном свете. С меня было бы довольно Парижа и его зрелищ, которые были очень далеки от моих интересов. Были у меня дни нужды, когда из-за отсутствия нескольких су, чтобы оплатить проезд в трамвае, я вынужден был проделывать путь пешком. Но чтобы это путешествие было приятным, я выбирал живописные дороги, шел кругом форта на Мон-Валерьене, один из склонов которого был покрыт домишками тряпичников. Я думал о мотивах для живописи: старые брошенные каменоломни, строения, окруженные изгородью, на которых сохло разное цветное тряпье. Когда, в 1910 г., Сена вышла из берегов, под нахмурившимся небом, и затопила равнину, дома и деревья, величие этого зрелища глубоко взволновало меня. Мрачное отчаяние было разлито кругом. Вода тихо плескалась. Равнина Нантера была зловеща и неподвижна, небо отражалось в затопленных полях.

Моя пылкость разрешала мне любую дерзость, любую нечестивость и небрежность по отношению к условиям

живописного ремесла. Мне хотелось произвести революцию в нравах, в текущей жизни, показать природу освобожденной, очищенной от старинных теорий, от классицизма, который был мне ненавистен своим авторитетом совершенно так же, как генерал или полковник. Во мне не было ни ревности, ни ненависти, — но жило яростное желание воссоздать новый мир, тот мир, который видели мои глаза, мир — для себя самого. Я был беден, но я знал, что жизнь прекрасна. И во мне не было других желаний, кроме как открыть при помощи новых средств ту глубокую связь, которая соединяла меня с самой землей.

Я заставлял сильнее звучать все тона, я переносил в оркестровку чистых красок все чувства, которые были мне доступны. Я был варваром, исполненным нежности и неистовства. Я передавал инстинктивно, без метода, истину, которая была не художественной, но человеческой. Я, не считая, изводил ультрамарин и киноварь, которые однако стоили дорого и которые отец Жарри, торговавший красками возле моста Шату, продавал мне в кредит.

Тогда-то, из случайной встречи моей с Андре Дереном, родился «фовизм».

Живопись прозябала в тупиках импрессионизма и пуантилизма. Показалось шуткой, сделанной на пари, разразился скандал в художественном мире, общий смех овладел публикой, когда появились на стенах барачков «Кур-ла-Рен» картины Андре Дерена и мои. Вид этих огромных распластанностей чистых красок вызвал изумление. Появились противники, сторонники, и на втором году

— приверженцы. В том же помещении мы собрали художников этого течения, которое было окрещено, применительно к бутаде одного из сотоварищей, «фовизмом» — «искусством диких».

Успех пришел ко мне, как-то раз, в облике Амбруаза Воллара. За сумму, которая мне показалась в те времена огромной, он купил все холсты, которые у меня были; в особенности же светлым стало представляться мне будущее, когда он заверил меня, что впредь будет покупать все, что я сделаю.

Я тотчас же бросил квартирку, которую занимал в одном сдающемся доме, и перенес свои пенаты в леса Жоншер. Я люблю жить в уединении. Лес был со всех сторон; у моих окон цвели вековые каштаны. Все же, из осторожности, я не бросал уроков. У меня было так мало доверия в финансовую сторону всего произошедшего, что я мало считывал на то, чтоб так просуществовать.

Я старался возможно меньше видиться с художниками, с живописцами. Я хотел сохранить в неприкосновенности веру и любовь к своей живописи. Я добровольно закрывал глаза и затыкал себе уши. Я боялся разоблачения, инсинуаций, сплетен, которые могли бы меня заставить усомниться в себе. Я верил, что живопись меня не выдаст, и мне было бы слишком горько убедиться, что она, быть может, обманывает меня.

Да и вообще, я лишь по редким случаям хожу на выставки. Быть лицом к лицу со своими полотнами — это вызывает во мне ощущение какого-то недомогания. Мне неловко стоять нагим перед самим собой, и необъяснимая

стыдливость мешает мне примириться с тем, что какие-то чужие люди, в моем присутствии, иронически разглядывают мое сердце.

Я любил живопись ради нее самое, как любят бесприданницу, и еще поныне, несмотря ни на что, я чувствую удовлетворение от того, что не кривил душой. Я исходил ради нее много километров пешком, прошел Сену от Шату до Сен-Дени. Я работал кистью в Сент-Уане, Аржантейле, от Аржантейля до Пекка, в Фретт-Монтиньи. Я жил вместе с ней в лесу и в поле.

Дерен устроился в Париже, сняв мастерскую на улице Турлак. Изредка я приходил повидать товарища, чтобы укрепить надежды или заставить смолкнуть сомнения. После целых недель одиночества, я чувствовал по временам желание побеседовать, поспорить, чтобы в спорах возродить уверенность. Игра чистых красок, вызывающая оркестрация их, которой я отдался весь, целиком, перестала меня удовлетворять. Я страдал от того, что не могу ударить еще сильнее, что дошел до предела интенсивности, используя до конца тот синий или красный цвет, который я мог добыть из фабрикатов торговца красками.

Я встречался с Дереном в маленьком ресторанчике, вверх по улице Равиньян. Это был небольшой кабачок, посещаемый возчиками и каменщиками и находящийся насупротив мастерской, где жили Пикассо и Ван Донжен. Сюда приходили закусить много товарищей по работе, уже получивших ныне известность или умерших: неразлучные Пикассо и Макс Жакоб, далее Аполлинер и Дерен, Брак и ак-

тер Оллан, капитан фрегата литературы — Дюкюи, Фриц Вандерпиль, Андре Сальмон.

Все были бедны, но полны энтузиазма и молодости. Хозяин отпуская в кредит, ведя игру в счет будущности своих клиентов. Бедный Азон! Ему не хватило нужных средств, чтобы ждать так долго, и банальный крах закрыл его учреждение.

К двум часам ночи воздух в зале становился невыносимым. Густой дым трубок и папирос, водка и белое вино, общее возбуждение наполняло безумием разгоряченные умы.

В этой-то зале родился кубизм. Негрская скульптура и попытки передачи света планами, как это было в последних полотнах Сезанна, объединились, чтобы удовлетворить требования нового учения. Самые разнообразные парадоксы, самые крайние эксцентричности принимались в этой среде естественным образом.

Я вернулся восвояси возбужденным. Очутившись опять в одиночестве, я пытался привести в порядок идеи. Там, в Париже, люди ежеминутно теряли землю под ногами, садились верхом на дьявольскую метлу каких-нибудь самых экстравагантных теорий, чтобы явить на свет Божий требования, еще более узкие, нежели те, которые когда-либо проповедовались в Академиях. Но заменять одну формулу другой не значило ли, в конце концов, только переменить учителя? Я очень страдал. Подобного рода отвлеченность была так далека моей натуре! Я уходил на целые дни в леса Сель-Сен-Клу, в поля, на холмы Бюзанваля. Мир говорил со мной более простым языком, чем тот, который стре-

милась пустить в оборот прихоть завсегдаев Азоновского кабачка.

Дерен, с которым я часто виделся, колебался, чувствовал себя выбитым из колеи. Он изучал старых мастеров и делал визиты во все музеи Европы. Кубизм его беспокоил. Это бесполое искусство, рожденное тенденциями, которые были лишены всего, что составляет самую сущность живописи, грозило уже широким разливом.

Эта революция эстетов должна была, как я ясно понимал, пройти без помех и развязать все аномалии, которые, при подходящем случае, получили бы наименование «дерзаний». Мастика, песок, гипс, старые гравюры, куски зеркал и газет, письма и оберточный материал, — все было смешано в странной алхимии. Все это было только литературой, созданной рассудочниками без воображения, и потеряло всякую связь с жизнью. Мне было совершенно ясно, насколько эфемерной окажется эта доктрина. Каким надувательством оказывалась эта попытка проникнуть в высокий смысл природы при помощи метафизического абсурда какой-то каббалы или талмуда! Мог ли я дать себя увлечь такому ребяческому эзотеризму, пустить в оборот таинственность, надеть на себя колпак фокусника, ради беззастенчивой эксплуатации? Эти условности, эти законы, предлагаемые к всеобщему выполнению, эта вульгаризация того, что должно сохранять свой особый, индивидуальный характер, были мне глубоко противны. Когда святое святых пошло по всем рукам, осмеянное, запятнанное шарлатанством, могло ли мое сердце, всегда взволнованное очарованиями времени, проходящего между рождени-

ем и смертью, — могло ли оно не возмутиться при виде такого святотатства?

Узость этих формул заставила меня вернуться к моим первым опытам. Я опять вкушал такое чистое, такое непосредственное выражение меня самого. Их свежесть меня спасла. Они дали мне урок того, что живопись делают не словами, что литература пишется не звуками и что музыка делается не красками. Не будь их, я предпочел бы скорее, нежели подчиниться кубистической каторге, снова обратиться к своим мускулам и вернуться на реальную и надежную почву велодромов.

Во время одной из выставок «Салона независимых» кубисты получили свою залу. Один из них, чтобы скомпоновать свою картину, разрезал на куски хромофотографию, изображавшую псовую охоту, и терпеливо склеил заново все эти квадраты и ромбы по прихоти фантазии и случая. Эту барочную головоломку он положил в основу своего произведения и написал картину, в которой лошадь, казалось, выходила из какого-то музыкального инструмента, а последний, в свой черед, пронзал живот некоего охотника. Другой — изобразил трех артиллеристов, сидящих на зарядных ящиках, и движения их были так разложены, словно это был снимок киноаппарата. Ансамбль давал впечатление рисунка ефрейтора, готовящегося к экзамену на унтер-офицера и смотрящего на лицо сквозь военный устав. Далее переиначен, перерисован был целиком весь Лувр. «Венера Милосская» или «Сусанна» Рембрандта были представлены совокупностью тридцати шести кусков,

связанных воедино под предлогом поисков новой пластичности, и представляли зрелище некоего дисциплинированного человечества, марширующего гусиным шагом.

Тогда-то кубизм разлился эпидемией. Он стал потешной работой комнатного назначения, и легкости этого ремесла позволили юным девицам вновь приняться за занятия искусством, бросить вышивания и выказать свой вкус к живописи.

На самом деле, все эти поиски, которые прикрывались научностью и ставили себя под патронаж Анри Пуанкаре, представляются всего лишь продуктами декоративизма, более или менее удавшимися.

Дерен, путешествовавший по югу, расхваливал мне в своих письмах свет, очарование Прованса и звал меня присоединиться к себе. Я всегда верил только себе; все же, я дал себя соблазнить, потому что совершенно бесспорно, что возможности своей природы каждый уносит с собой и все, что можно будет открыть, станет только аксессуарами, которые каждый имеет возможность приспособить на свой лад.

По темпераменту своему я не путешественник. В слове путешественник я различаю слово «ротозей». Глазеть на людей, которые живут своей жизнью, находить удовольствие в том, чтобы видеть, как едят, пьют, спят, — все это создает во мне впечатление, словно я забываю себя самого.

В поезде я не спал. Я рисовал себе в преувеличенном свете прелести этого путешествия. Когда стало светать, я сквозь стекла увидел в тумане, который медленно рассеи-

вался, долину Роны. Я был ослеплен... Это было самое грандиозное по живописности зрелище, какое я когда-либо видел. Глубокая долина, дома, чудом прилепившиеся к вершине какой-нибудь скалы, нависающей над рекой, и затем — свет... Я был полон до краев каким-то неизъяснимым наслаждением, и будь моя власть, я не раз остановил бы поезд, чтобы сойти. Ребенок, сплющивающий себе нос о стекло освещенной кондитерской, меньше бы дивился и облизывался!

По правде сказать, я не знал, с чего бы начать, чтобы утолить свой голод живописи; но в общем, я не вдавался в размышления, ибо что мог бы я рисовать? Не стал ли бы я просто заниматься репортажем, поскольку журнализм стоит в таком же отношении к литературе, как декоративизм к живописи?

Новизна всегда возбуждает нас и часто заставляет нас забыть то, что мы действительно любим. Я инстинктивно обожаю свет Севера, тот свет, который оставляет вещам их естественную натуру, который освещает Фландрию, который делает воду в каналах холодной и недвижимой, — свет, который оставляет листе ее зелень, сохраняет парусам печальных барок белые, голубые, красные тона их собственных оттенков, — свет, который ничего не гримирует, не приукрашивает искусственно вид предметов и людей, который не присваивает себе одному землю, небо и воды.

Прибытие в Марсель дало мне радость. Старый порт купался в золотистом свете. Мол, дома, суда, стоящие на якоре, были неосязаемыми вещами, не имеющими реального бытия. Казалось, что на все глядишь сквозь какой-то шел-

ковистый тюль, словно в феерии, и розовые и голубые тона с золотистыми отливами наводили на мысль о некоем нематериальном мире. А затем истомляющая и торопливая жизнь отъездов в далекие страны, возвращения из Индии, с островов, из стран таких прекрасных, так хорошо описанных в романах Конрада и Стивенсона... Люди с черной, с желтой кожей вызывали у меня перед глазами образы Африки или Азии, влекли к желаниям поехать, куда глаза глядят, к той лихорадке путешественника, который гонится за каким-то сном, за тем сном человека с дальнорезким зрением, для которого желанная цель удаляется по мере того, как он приближается к ней. Небо было голубым той голубизной и чистотой, которые заставляли меня забыть, что я знал, что такое — облака.

Все развлекало меня, и новое зрелище заставляло меня забыть самую мысль о какой-то живописи. Да и как думать о беге, когда ты уже задыхаешься? Я ел сырые ракушки, ел пресловутую похлебку из рыбы, чеснока и пряностей и, как все путешественники, любопытствовал побывать на тех улицах, где можно видеть женщин в одной рубашке на пороге своих дверей.

Новизна в течение ряда дней заставила забыть меня о цели моего путешествия, разлагала мои вкусы и возвращала меня самого.

В середине июня 1914 г. я зашел как-то, на улице Ла Босси, в одну из галерей современного искусства. Над бюро г. Поля Гийома последняя продукция кубистического многоумия приковывала замороженные взоры несколько эсте-

тов, которые, стоя перед ней, обменивались замечаниями тоном посвященных или неофитов. Я почувствовал, как земля стала уходить у меня из-под ног. Видеть как те, кого принято именовать «сливками общества», интеллигентная молодежь, видные люди в золотых очках почтительно созерцают эти геометрические и расцвеченные фигуры, слушать, как они просят разъяснений у финансовых дельцов этого таинства, в убеждении, что за небольшую сумму и они смогут обрести свою долю испанского наследства, — все это заставило меня почувствовать разверзающуюся пропасть. Я больше не видел пределов человеческой глупости, мне она представлялась способной на самые худшие aberrации. И вдруг, словно при свете молнии, я разглядел войну!

Когда я вышел, Париж стал наводить на меня ужас. Я проводил целые дни в одиночестве и не хотел знать ничего того, что происходило в мире живописи. В том хаосе, который я чувствовал внутри, я ощущал ответственным самого себя. Не сам ли я, со своим энтузиазмом, который оправдывал все дерзания, помог разрушить установленные условности? Последствия моей неистовости опрокинули все мои предвидения, и теперь мне оставалось только признать, что я дал первому попавшемуся дураку право на самые бессмысленные притязания.

О годах 1912-13 я не могу вспоминать без мучительного ощущения тех предчувствий, которые были у меня тогда. Я испытывал усталость и отвращение. Мирная жизнь этой эпохи, я чувствовал, должна скоро кончиться.

Четырнадцатого июля 1914 г. я ушел из деревни от пегард, которые взрывали мальчишки, чтобы сесть работать на опушке леса. Передо мной равнина тянулась до самого Рюейля. Вдали, на темной синеве неба, виднелась, вставая над линией горизонта, Эйфелева башня. Внезапно небо покрылось какой-то сернистой желтизной, в воздухе потемнело. Животные беспокойно ревели, проявляли беспокойство, разбегались в разные стороны. Испуганные птицы прятались и чирикали в чаще, на огромную равнину легла несказанная трагичность.

Вдруг две разительных молнии пробороздили небо, и удары грома, тут же последовавшие за ними, потрясли почву. Гроза разразилась сейчас же. Стали падать крупные капли воды. Потом небо разверзло хляби. Маленькая канавка, самый небольшой ровик превратился быстро в поток, который нес солому, ветки и катил камни. Небо пылало, молнии следовали одна за другой, и удары грома шли с непрерываемым грохотом артиллерийской канонады.

В этом буйстве стихий я чувствовал себя маленьким, ничтожным, бессильным. Полевое зверье, мыши, крысы, угрожаемые потопом, выползали из нор и разбегались в разные стороны... Весь мир чувствовал страх...

Перед лицом этого гнева небес — героизм, мужество становились, лишеными всякого смысла. И в голову мне приходило иное: случай, удача, покорность судьбе.

Часть вторая

В полдень среди деревушки забил барабан.

Война была объявлена! Война! Когда в течение ряда дней ждешь смерти ребенка и доктор, уходя, говорит: «Безнадежно!» — все же, несмотря ни на что, в глубине сердца живет какая-то безумная надежда. Я уже различал войну, я чувствовал ее совсем близко, но до последней минуты я надеялся, что люди не посмеют.

Хромой, со своим барабаном и короткой ногой, которую ему изувечили в колониях, заковывал возвещать войну дальше.

Я спустился в деревню. Были будни, но новость о мобилизации, которая должна забрать мужчин, придавала улицам и людям воскресный вид. Жители стояли у порога дверей с растерянным видом и оживленно, кучами, разговаривали.

На Большой улице я встретил сына старьевщика. Это был небольшого роста брюнет, смазливый лицом, хитрый, продувной малый. У него был мотоцикл с коляской, и он щегольски, оглушительно стреляя мотором, отправлялся каждое воскресенье с разными приятельницами завтракать в кабачки на берегу Сены. Ныне он лишь вчера женился, и новообетенная жена любовно повисала у него на руке. Они только-только встали. Это была их свадебная ночь; их разбудил барабан. Он должен был отправляться через час, и вид у него был такой, словно всю эту историю он понимает по-свойски. Мне казалось, что я слышу, как он говорит себе: «На...ать я на них хочу». Он был убит при Маранже.

Внизу, вдоль по улице, было столпотворение. Вся деревня словно нарочно собралась в одно место. Это была возбужденная, шальная толпа, которая проявляла страх и ненависть.

На скрещивании Буживальского моста и Большой улицы получился затор экипажей; трамваи линии Сен-Жермен — Порт Майо образовали пробку. Землекопы, рывшие канаву для электрического кабеля, наполовину перегородили улицу своими работами. Они оставили тут и там заступы и кирки, чтобы отправиться, — кто в кабак обсудить случившееся, кто — восвояси, кто — на границу останавливать неприятеля. Их инструменты, прислоненные к кучам земли, создавали впечатление, что завтра они вернуться, что отлучились они не надолго.

Множество мужчин, женщин и детей переполняли террасы кафе Флота. Одни, бледные, вели неистовые споры; женщины — одни возбужденные, другие — отупевшие, вставляли реплики или слушали, стараясь понять. Кое-кто был уже в полном обладании новостями и с бьющим через край патриотизмом сообщал утешительные известия: уже входят в Эльзас! Гарро только что сбил своим аэропланом немецкий дирижабль! Да здравствует Франция!

Много автомобилей, наполненных багажом, возвращались в Париж, мчась во всю скорость. У всего этого был вид разворошенного муравейника, вокруг которого снуют сбитые с толку, тащащие свои яйца муравьи.

Образовался новый затор. Улица была снова закупорена. Земля и инструменты землекопов, которые должны были возвратиться лишь четыре года спустя, мешали движению.

Останавливается большой автомобиль. Молодой человек, белокурый, выбритый, сидит за рулем. На лбу у него вьются волосы, выбиваясь из-под картуза. Возле него плачет женщина; она красива и молода: красивая наседка, пышная, переполненная любовью и жизнью. Подавленная, с остановившимся взглядом, она вытирает слезы. Вдруг, ее охватывает неистовое горе, горе половое, бесстыдное, и перед всей этой толпой, перед всеми этими мужчинами, этими женщинами, которые лгут самим себе, она охватывает руками шею возлюбленного и, рыдая, целует его прямо в губы.

Трамваи звенели, авто непрерывно проезжали. Возбуждение падало, лица становились сумрачными. Женщины возвращались варить обед, мужчины думали об отъезде и, чтобы успокоить себя, задерживались в кафе, которых не хотели покидать, и их бедный ум рисовал себе войну в том виде, в каком только мог ее изобрести: войну, которая будет длиться всего три месяца!

В моем распоряжении было четыре дня, чтобы явиться на призыв. Эти четыре дня я провел лежа на постели, нимало не интересуясь новостями. До меня доносились издалека громыхание поездов, увозивших людей на смерть. Это было постоянно, мрачно, безнадежно. Я пытался найти какой-нибудь логический, правдоподобный повод, чтобы заставить себя принять мысль о необходимости убивать и быть убитым: но у меня ничего не получалось. Я не

верил ни в величие жертвы, ни в красоту героизма. Жизни я всегда давал другой смысл.

Откуда было мне черпать сведения? Из газет? Разве в моем присутствии происходило свидание Николая II и Пуанкаре в России? Разве у меня были перед глазами депеши, которыми обменялись кайзер, французское, русское, австрийское и английское правительства? Разве мог я узнать все комбинации — притязания одних, фанфаронство, глупость, кичливость других? У меня не было ни доверия, ни веры. Порох по всех государствах должен был быть очень сухим, чтобы простой окурок, брошенный в Сербии каким-то, может быть, неосторожным курильщиком, вызвал пожар во всех четырех углах старой Европы. И если одного этого было достаточно, чтобы развязать мировую войну, не значило ли это, что возможность к тому были в руках у всякого желающего? Мой разум, моя совесть отказывались понять это, признавать такую ужасную, такую неправедную вещь.

Устав от мыслей, от перебирания этого страшного происшествия, которое заставляло меня совершенно бесполезно возмущаться совершившимся фактом, я почувствовал себя разбитым от усталости, переполненным отвращения к глупости и жестокости рода человеческого.

Разве не испытывал я всегда, задолго до этого рокового 4 августа, когда я открывал ящик стола, где лежал мой воинский билет, впечатление, очень определенное, что то самое, что произошло сегодня, было неотвратимо? Эта книжка разве не была молчаливым признанием войны? Войны? Но ведь весь мир готовился к ней. Одни надеялись,

что ее не будет; другие, которые ее хотели, не слишком однако в нее веря, говорили: небольшая, хорошенькая война — она пустит нам в ход торговлю! Разве не хранил каждый набожно свой мобилизационный пакет? К чему уверять, что ты никогда не поедешь метрополитеном, раз у тебя в кармане книжка билетов?

Что меня ужасало в этой истории, так это то, что по обеим сторонам границы никто не был свободен. Обязательная воинская повинность бросала нас всех, совершенно автоматически, друг против друга. Самое чудовищное, самое непонятное было то, что я должен столкнуться лицом к лицу с людьми, которые там будут находиться в таких же условиях, в каких нахожусь я, лишенные, как и я, свободно подчинения самому себе и обязанные стрелять в меня.

Я считал себя вне игры, которую вели всяческие партнеры и всевозможные аппетиты. Механика и подоплека военной игры были для меня слишком сложны. Все это, в конце концов, меня не касалось. Но в чем я был убежден, так это в том, что вся эта история кончится плачевно. Когда циклон пройдет, окажутся только убитые по обе стороны окопа. Для меня не было никакой разницы между врагами и союзниками. Единственным своим противником я считал войну.

Я вынул из ящика револьвер и сунул в карман. Когда я почувствовал у своего бедра оружие, — мне стало спокойнее. У меня была теперь уверенность, что я умру в тот день и в тот час, который сам выберу. Я натянул на себя старый костюм, грубое холстинное белье, повязал фуляром шею и надвинул кепи на глаза. Мне и на мысль не пришло обла-

читься в смокинг и надеть белые перчатки для событий, которые должны были разыграться.

Я вышел, чуть рассвело. Голубоватый пар окутывал деревню в долине, и деревья на противоположных холмах высывались из тумана, как цветы. Колокольня стрелой вставала к небу, и едва можно было различить дома, сгрудившиеся в дыре. Одним взглядом я охватил все это: эти холмы, которые так часто я писал, эти места, которые я знал так хорошо, большие каштаны, которые скрывают горизонт темной линией. Мысли теряются в чудовищном будущем, которое должно настать, пытливо всматриваются в дни, которые уже близко, пытаются, несмотря ни на что, открыть какой-нибудь просвет надежды, и мне хочется, чтобы хоть немного здравого смысла и гуманности появилось в людских сердцах и чтобы все это остановилось.

Не оглядываясь на дом, где оставил своих спящими и который мне, может быть, не суждено больше увидеть, я иду дальше. Я встречаю домохозяина. Я ему должен за два месяца, но он мне улыбается. Я сталкиваюсь лицом к лицу с булочником, который мне отказывал в хлебе, когда у меня не было ни гроша, и он предлагает мне папиросу.

2 августа я завтракал в Ротонде, на улице Шоссе д'Антен. Париж находился в крайнем возбуждении. Объявление войны было неминуемо, и газеты к полудню вышли уже четвертым выпуском. Лакей, который еще накануне выполнял свои обязанности подобострастно и почтительно, разрешил себе вдруг обратиться «на ты» к богатому и постоянному клиенту, который завтракал за соседним столиком, близ меня:

— Ну, что ж, видно придется смазать тебе салом сапоги?
— Скажите: ваши ботинки, — ответил элегантный мужчина, поднимаясь, — я — капитан.

Я сел в трамвай. Внутри и на площадках все переполнено разъезжающимися людьми. Все нагружены сумками, откуда торчат горлышки бутылок. Я всегда замечал, что вино является главным элементом публичных развлечений. Как же ему не показать себя, точно главному актеру, в начинающейся трагедии? Вплотную ко мне стоит человек, небольшого роста, коренастый, с жестким взглядом, с нехорошей и беспокойной физиономией. Изучение моей фигуры, видимо, внушило ему доверие, и он процедил несколько слов сквозь сжатые зубы:

— Они думают, что мы пойдём?... Ошибаются. Мы не пойдём!

Я чуть не спросил его:

— Кто это «мы»?

Я ответил неопределенным звуком, подняв плечи, и перенес взгляд на форт Мон-Валерьен.

Мы подъехали к Порт Майо. Военный губернатор Парижа принял солидные меры для защиты столицы. Десятки толстых деревьев срублен и положен поперек проспекта Нейи, дабы служить преградой немецкой кавалерии. Воздвигнуты барьеры, рогатки.

Я гляжу на эту импровизированную защиту и спрашиваю себя: плакать ли мне или смеяться? Все эти баррикады сооружены из еловых планок, — из тех планок, какие употребляют упаковщики на коробки для мыла или для вермишели, — а сквозь эти дранки проделаны маленькие бойницы, чтобы можно было всунуть дуло ружья.

Я иду пешком к вокзалу Сен-Лазар. словно упреком моим мыслям, Триумфальная арка пылает светом в лучах августовского солнца. Героические и славные воспоминания! Фигуры Рюда точно зовут меня на жертвенный подвиг. Я бросаю взгляд кругом. Бесчисленные автомобили с флажками хрипят, ревут, исчезают. Нигде ни одной лошади — лишь эта, из камня высеченная резцом в стене, точно святой, мученик иных веков.

Калитки, дающие доступ во двор вокзала Сен-Лазар, были на запоре. Полисмен в полной форме пропускал мобилизованных по предъявлению удостоверения. Огромные вывески указывали направление для отправки на пункты: Руан, Гавр, Эврэ, Бернэ. Какой-то рабочий с хмельным голосом привязался ко мне:

— Скажи на милость... вот и ты...я тебя знаю... ты из Сен-Ном-ла-Брегеш. Пойдем, выпьем по стаканчику.

К чему его отговаривать? Я выпил кофе.

— Куда тебе являться?

— В Руан.

— Мне тоже. Увидимся, значит.

Женщины, дети, девушки обнимали мужчин. Эта толпа приходила в возбуждение, утешала себя, плакалась.

— Не простудись...

— Пиши мне...

— Будь осторожен...

Прокладывая себе дорогу сквозь толпу, как корабль сквозь волны, появился какой-то человек. Он играл на гармонике «Марсельезу», которую он уродовал срывами и

фальшивыми нотами. Сквозь его открытую рубаху виднелась на груди жесткая заросль. В переднике, простоволодая, плача и таща за руку мальчика, брела за ним женщина. Они, должно быть, поднялись спозаранку и пришли из далекого предместья. Всюду, где можно по пути, они, видимо, делали привал в кабачках, вдоль улицы Фландрии или Бельвиля. Он шел с затупленным взглядом и заставлял свою гармонику стенать «Марсельезой» все более и более фальшиво. По ту сторону решетки, вдруг, его заметили со товарищи.

— Эй, Леон! Эй, дружище!

В нем вдруг как будто проснулось сознание действительности. Он поцеловал наскоро жену, всунул ей в руки гармонику и вошел за решетку. Она осталась на месте, оцепенелая, неподвижная. Он уходил и покидал ее так вот, не сказав ни слова. Она его, может быть, больше не увидит. Она следила за ним взглядом среди этого леса кепи, фуражек, котелков и долго стояла на том же месте. Из ее покрасневших и распухших глаз капали слезы. Собравшись с силами, медленно, все так же таща за руку мальчика, она пошла назад, чтобы одной проделать обратно тот же путь, что утром. А гармоника, вложенная ей в руку, вытягивалась, издавая жалобные звуки, и, вытянувшись, почти во лочилась по земле.

Послушно, люди торопились сами собой, поспешно наполняли товарные вагоны. Поезда, набитые до отказа, медленно отходили среди реки мобилизованных. Иные из них, забравшись на крыши, во все легкие распевали и кричали:

«На Берлин! Долой Вильгельма!» Крики прекращались в одном конце, чтобы возобновиться в другом, и перекидывались с поезда на поезд: «На Берлин! Долой Германию!». Не смотря на трагическую обстановку, на энтузиазм и ненависть этих тысяч людей, я чувствовал себя только зрителем.

Тяжело нагруженный, поезд медленно отошел. В этих вагонах, которые две недели раньше служили для перевозки скота на бойни Виллетт, теперь везли на смерть людей. Одни, лежа, пьяно дремали, другие, стоя, глядели на проносившийся мимо пейзаж, удалявший их от Парижа. Вдоль всего пути жители городов и деревень бросали им прощальные слова, делали ободряющие жесты и кричали о надеждах, которые на них возлагали. Внутри вагона некоторые были мрачны, другие беседовали, старались объяснить сотоварищам то, что они и сами толком не знали; один жестикулировал, — его черные глаза сверкали, казалось что его внутри пожирает лихорадка колоний и алкоголь.

— А я тебя знаю, — резко обратился он ко мне, — ты — брат депутат Лорена. Ведь это ты ездешь ежедневно по проспекту Нейи на своем рысаке!..Признавайся! Так ты должен и новости знать от своего брата!

Он не дал мне даже возможности ответить, лихорадочно затянул одну из песен колониальных войск, потом зачистил какую-то тарабарщину полу по-французски, полу по-алжирски и наконец, заревел: «Да здравствует Франция!», давая головы, руки и ноги спящим. Ежесекундно он выкрикивал что-либо вроде «Афруа сиди, афруа менены!»

и опять начинал сначала, пил, кричал «Афруа сиди, афруа менены, — да здравствует Франция!» Без передышки он все сызнова возвращался к своему мотиву и так, в течение всего пути, не уставая, бушевал, пел и пил. Он довел наши нервы до такого состояния, что если бы переезд продолжился еще некоторое время, его связали бы.

Поезд подошел к Руанскому вокзалу.

На набережной Сен-Север я повстречал одного старого товарища, Анри Денеля, гонщика, которого я знал по треку Буффало и Сенского велодрома. У него было свое время известности, и мы чувствовали друг к другу взаимное уважение.

— Ты говоришь о встрече! Чтобы попасть туда, куда мы направляемся, — сказал он мне смеясь, — нет нужды торопиться. Пойдем все же пообедаем, нас подождут.

Это был атлет, прекрасно сложенный, жизнерадостный и приветливый. Зашел разговор о старых сотоварищах, умерших, еще живущих, о Бреси, убитом во время мотоциклетного пробега, о братьях Линтон и еще разных других, о Фоссье и Буротте. И отдавшись целиком воспоминаниям наших двадцати лет, мы забыли войну. Денель, причем, не подавал виду, что она занимает его. Он, казалось, всерьез ее не принимал и, так же как я, был как будто вне игры.

— Надо сходить в злачные места, — сказал он, вставая. — Нынче вечером там должно быть гала; вероятно, там умопомрачение.

Я дал себя увлечь. Когда-то он жил в городе и знал Руан, как свои пять пальцев. Мы пошли вдоль набережных,

пересекли Сену. Толпы мобилизованных бродили наугад, ища пристанища в каком-нибудь углу, чтобы заночевать. Солдаты в походной форме шатались взад и вперед, входили в магазины, выходили оттуда с руками, полными пакетов, наполняли свои карманы полезными вещицами, незаменимыми для того рода удовольствия, на которое их приглашали. Несмотря на поздний час, улицы были оживлены, как в полдень.

Несколько в стороне от главных артерий, мы постучались в дверь. Нам тотчас же открыли. Из коридора выходили пехотинцы. Их полк отправлялся на заре.

Синеватый, густой дым затемнял свет электрических лампочек и ел нам горло. Уже шесть дней дом не опорожнялся... Это началось накануне мобилизации... И это продолжалось, без передышки, днем и ночью. Женщины, изнуренные, выполняли адскую работу. Одиннадцать женщин на всех этих отправлявшихся на войну мужчин! Пять франков — сеанс, и двадцать су — чаевые. Запах нафталина от военного снаряжения смешивался с ароматом рисовой пудры и испарениями абсента и пота. Здесь были все возрасты: старые солдаты территориальной армии, молодые призывы, резервисты, пехотинцы, артиллеристы. Был тут один, совсем юный, с лицом пупсика. Светловолосая толстуха, в одной рубашке, нежно обнимала его. Бог знает, что происходило в сердце этой женщины рядом с этим юнцом, таким молодым и который никогда уже, вероятно, не вернется. Застенчиво краснея, он не решался... Она ласкала его все настойчивее и вдруг взяла одну из рук этого ребенка-солдата и сунула себе меж ног... Он чувствовал себя не-

ловко, испытывая больше волнения от того, что ему предстоит «оседлать», остаться наедине с этой женщиной, нежели от того, что надо этой же ночью отправиться навстречу немцам.

Женщины, полуголые или одетые цветным тюлем, газом, шелком, усталые, истомленные, пили, курили, подымались по лестнице, спускались вниз, не переставая.

У их надушенных тел был розовый цвет засахаренного и поджаренного миндаля. Огромная, холодная и плоская сабля гиганта-артиллериста казалась вонзившейся в ляжку женщины, сидевшей у него на коленях. А маленький красный башмак с высоким каблуком мерцал на темносинем сукне.

Молодые мужья и почтенные отцы семейств, — все эти мужчины пришли сюда увидеть женщин прежде, чем ехать. Мысль о смерти направляла их сюда.

Назавтра утром, когда мы явились к месту расквартирования, наша рота была выстроена, в полном составе, в походном обмундировании. Несколько человек сверх нормы, сохранившие штатское платье, смотрели, как товарищи солдаты выполняют совместно перестроения и упражнения ружьем. Цейхгауз с одеждой и вооружением был пуст. Полк был в полном комплекте, и сержант отвел нас к месту сбора. С этого момента мы становились частью резерва, откуда должны были брать людей, смотря по надобности, чтобы замещать убывших.

Полк отправили в Мобёж. И пищу моим размышлениям дало предсказание, которое в раннем детстве я слышал столько раз от отца:

— Если будет война, — говорил он, — немцы пройдут через Бельгию!

Я не мог себе представить, чтобы то, что знал мой отец, не знал французский генеральный штаб.

В городе мы вели жизнь на свой лад. Дней через двадцать после нашего прибытия призывы старших возрастов и слабосильные, принимая во внимание нехватку материальной части, получили отпуск на месяц. Я поехал железной дорогой в Париж вместе с Денелем и Брюне. Брюне для меня был старым знакомцем, так как мы вместе отбывали службу в одном и том же бретонском городе. Небольшого роста, с плечами непропорциональной ширины в сравнении со всем сложением, он производил впечатление человека большой мускульной силы. В жокейском картузе, в желтых комфортабельных ботинках, залихватски картавя, он проводил целые дни в том, что курил дорогие сигары. Он торговал лошадьми в Виллетт, и в портфеле у него было не то на пятьдесят, не то на шестьдесят тысяч франков бон за реквизиции на нужды армии. Я часто встречал его в городе. Он гулял или пил в компании с какими-то типами, одетыми с вульгарной и подозрительной эlegantностью.

— Через месяц, — сказал Брюне, — когда надо будет возвращаться, все уже будет кончено!

Я снова увидел свою деревню. Через два-три дня после моего приезда, сообщение с фронта Соммы-Уазы поставило все в ней вверх дном. Те самые люди, которые в первые дни мобилизации были полны воинственного жара, испытывали теперь первый приступ ужаса.

Первые эшелоны эвакуированных, которые убирались подбру-поздорову от неприятельского продвижения, посеяли настоящую панику. Эта длинная бесконечная гусеница, которая вытянулась вокруг Парижа и голова которой достигала Рамбуйе, представляла горестное зрелище. Эти бедные люди волокли за собой все, что могли напихать при спешном бегстве. С ними шла домашняя скотина, дети были рассажены по верхам повозок, иные спали на матрацах, положенных на земледельческие орудия. Взрослые шли рядом с тележками и понукали животных. Обессиленные, они делали привал, спали по краям дорог и в канавах. Автомобили со снятыми моторами, шины, стаченные с обода, виднелись всюду. Охваченные страхом, деревни, чуя, что враг идет по пятам, бросали жилища, одни — в автомобилях, другие пешком, направляясь к вокзалам, а те, у которых не было возможности уехать, сыпали презрительными словами и ругательствами по адресу беженцев, принимали героические позы, обзывали тех малодушными и трусами.

Я возвращался в Руан. На путях у вокзала Сен-Лазар солдаты территориальных войск стреляли по немецкому «Таубе», бывшему в облаках. Детонации сотрясали стекла вокзального помещения. Толпа, у которой не было никакой другой цели, кроме заботы образовать дистанцию между собой и неприятелем, штурмом брала вагоны. Поезд с усилием тронулся с места, остановился и опять тихо пополз. Остановки следовала за остановками. В Триеле один из полков занимал высоты Шантелу. После Мелана показались повозки, зарядные ящики, пушки какой-то артиллерийской части. Поезд остановился. Прошел слух, что

путь перерезан немецкими уланами. Наступила ночь, и поезд пошел дальше со скоростью пешехода.

Против меня сидел человек, только что покинувший Вилле-Коттре под немецкой угрозой и направлявшийся в Руан, в надежде отыскать там жену, которую он потерял. Это был доезжачий из одного имения.

— Только что нагрузил я повозку смычками и ремнями, которые хотел спасти, — сказал он мне, — и уже стеганул было лошадь, как какой-то офицер английской армии реквизовал меня, чтобы его провести сквозь лес к стратегическому пункту. Я сказал жене: «Подожди меня здесь, я вернусь через час». Офицер все не отпускал меня, а когда я вернулся, никого уже не было. Я не нашел ни жены, ни повозки... На всякий случай еду в Руан... У ее матери есть торговля в этом городе... Я вот все думаю, — прибавил он с озабоченным видом, — что будет с собаками? Подумайте только, господа, ведь сто пятьдесят собак, их кормить нужно. На них ежедневно уходило пол-лошади, а вот уже сорок восемь часов, как нечего им было дать... Сто пятьдесят штук взаперти!.. Они растерзают друг друга!.. Я должен был открыть им дверь...

В Руане город казался опустевшим и мрачным. Боясь приближения неприятеля, мэр приказал убрать флаги с общественных зданий и домов. Битва на Марне проявила настроение и вызвала новый подъем энтузиазма и патриотизма. Стали говорить, что конец войне будет в наступающем году. Я опять увидел Денеля. Он был теперь шофером коменданта города. Что касается Брюне, он больше в роту

не появился. Он должен был предстать перед 2-м военным судом в Париже и был присужден к трем годам тюрьмы за кражу лошадей с поля битвы на Марне.

На месте расквартирования людей подвергли медицинскому осмотру. Свидетельствовали нас два военных врача. На белом халате одного из них блестели три маленьких золотых галуна. У него было круглое лицо, золотые очки и изрядная плешь. У другого, меньшего ростом, была козлиная бороденка, нашивки лейтенанта и вид художника-декоратора, одетого фельдшером.

— На что жалуетесь? — спросил он меня.

— У меня больное сердце...

Он довольно внимательно выслушивает меня и пишет несколько слов на опросном листе.

Рядом со мной, второй врач, в золотых очках, спрашивает человека. Низкорослый, с прижатыми ноздрями, оттопыренными ушами, желтым цветом лица и горящим взглядом, он худ той худобой, которая говорит о туберкулезе. Кажется даже, что ему трудно стоять на ногах. Татуировки, представляющие, одна — корабль, другая — ряд изречений, украшают грудь и левую руку. Он глядит на присутствие полузакрытыми глазами. С утомленным видом, он точно забавляется тем недоумением, которое вызывает во враче результат осмотра. Что бы ни случилось, он уверен, что его не коснется то, что тревожит других. Он не испытывает беспокойства. Он насмешливо кривится... иронизирует... улыбается.

— Какого черта натворили вы, чтобы дойти до такого состояния?

Он поднимает на врача взгляд, протягивает ему какой-то лист и воинский билет и произносит с удовлетворенным видом:

— Я пожил!..

Он наслаждается смятением, которое производит его ответ среди публики, и явно смеется над врачом.

— Что такое у вас? — спрашивает врач, пробегая глазами по листу и билету.

— Сифилис!

Он циничен, ибо уверен в безнаказанности. Смех овладевает другим врачом и голыми людьми, хотя они и не склонны сейчас смеяться.

Врач пытается сохранить холодность, невозмутимость; одним пальцем он отодвигает осматриваемого и на расстоянии разглядывает со всех сторон.

— У вас есть повод смеяться... ступайте, — жестко кидает ему, подавляя на своем лице плохо сдерживаемую улыбку. — К службе не годный!.. Больше трех месяцев не протянете...

Спокойным жестом, не выказывая огорчения, с видом совершенно удовлетворенным, вопреки диагнозу врача, указывая исхудалой рукой на людей, которые уходят и получили назначение на фронт, он роняет:

— А эти?..

Дабы утолить прожорливый аппетит пулеметов и пушек, отбирают несколько раз в месяц, среди людей, которых кормили на сборных пунктах, тех, которые были годны или стали как-то годны, чтобы их погрузить и отпра-

вить на линию огня. Их одевают во все новое, с головы до ног. Новое обмундирование, сменившее красные панталоны и традиционную солдатскую шинель, было теперь серо-голубого цвета. С винтовками, украшенными цветами, они проходили по городу с воинственным видом, отрешенным от всех земных дел. Кого обманывали они? Самих себя. Все было шито белыми нитками. Они хотели заставить, чтобы им поверили, — но в чем? В том, что они уезжают охотно, что долг в них сильнее привязанности и любви, которую они чувствуют к своим женам и малышам? Что они шли на смерть по собственной воле? — Бедняги! На что была нужна эта поза, когда каждый из них, после, на несколько минут беседы друг с другом, чувствуя, что они могут поговорить начистоту, не боясь показаться трусами, — признавался, что сходит с ума, что ничего не понимает в том, что происходит, что его наполняет отчаянием разлука с семьей и что он полон одной думой: расквитаться с законом при помощи какой-нибудь небольшой раны. Они не протестовали. Идти — надо было. С ранних детских лет все готовили их принять то, что сейчас наступило, и считать это неизбежностью. Они утешали себя словами той философии, которая избавляла их от всякой ответственности мышления: «Ничего не поделаешь!»

Я видел одного из таких людей, который, получив назначение отправляться на убой, был совершенно подавлен тем, что опоздал на поезд и боялся, что его накажут. Другой заявил врачу, что выколол себе глаз, перелезая через забор, тогда как мы точно знали, что он сам проколол его проволокой. Почему солдат скрывал этот страшный ужас

перед фронтом, перед траншеями, перед атаками? Какой непонятный стыд препятствовал ему кричать об этом окружающим? К чему врать? Разве такой человек не создан, как всякий другой, — из мяса, мускулов и крови? Получив отпуск на несколько дней, разве под кровом своего дома, лежа в своей постели, не просыпался он весь в холодном поту, в страхе от неистового толчка в мозг при мысли, что назавтра он должен будет снова отправиться туда? Лаская жену, лежа совсем вплотную к ней, не думал ли он, что это в последний раз обладает он ею? Навязчивая мысль о смерти разве хоть бы на минуту оставляла его?.. это последний раз, что я вижу свою дочурку... это последний раз, что я вижу свой дом, — последний раз, что видно родное небо... родные деревья... Разве он не знал, что эта механизованная война, которая ждет его в траншеях, оставит на его долю лишь те смехотворные почести, которые ежедневно воздаются памяти Неизвестного солдата? Поезд, в который он садился, чтобы ехать назад, разве не спешил отвезти его в объятия смерти? Последняя папироса? Последнее вино за столом? В такой-то час... завтра атака... на рассвете. И серая заря, восходящая из-за серого горизонта, разве это не тот серый свет, который проникает в камеру смертника?

— Ваша просьба о помиловании отклонена, — атака завтра!

Разве изо дня в день перед его глазами не стояли казненные товарищи, уткнувшиеся лицом в землю, в грязь, в кровь, в эксcrementы? Разве палач, помост, гильотина, высящаяся и прямая точно леса у небольшой стройки, опил-

ки, чтобы впитывать кровь, — должны ему казаться отвратительнее и трагичнее, нежели лазаретная повозка, носилки, опаленные, растерзанные снарядами тела товарищей?.. Потом ранение, отправка в тыл. Разве, несмотря на страдания своей разорванной плоти, он не испытывал морально-го облегчения от того, что его, наконец, увозят из этого ада? Госпиталь, мягкость постели, мягкость простынь, ощущение которых он уже забыл... и тишина...

Заботы, ободривания, операция, — вся эта видимость, дающая ему иллюзию того, что он помилован, но в действительности таящая в себе одну только холодную жестокость и преследующая одну лишь цель: возможно скорее снова вернуть его туда!..

Как мог солдат, в течение этих четырех лет, не сходя с ума, измотав в конец свою нервную систему, — выдержать эти смены надежды, жизни, агонии и смерти?

Мимиль был сержантом вестовой службы у ворот. С ремешком каски на подбородке Мимиль имел удачный вид. Капрал во время действительной службы, он вышел в запас сержантом. С широким лицом, усеянным веснушками, с носом — картошкой, он был коренаст и плотен. Два качества — предприимчивость и хвастливость — заставляли его храбриться. Мимиль любил славу и женщин. Мимиль был грозой Сент-Уэна. Он был хозяином и властелином двух женщин, работавших на него в Париже.

В первый же день по своем приезде в Руан, куда до тех пор он ни ногой, Мимиль отыскал себе женщину, а на зав-

тра — соблазнил и подругу этой женщины, что дало ему две женщины в три дня. Он почему-то почувствовал ко мне расположение, а расположение Мимиля могло при случае сослужить мне службу.

— Приглашаю тебя пообедать, сказал он мне как-то вечером, когда мы шли с ним вниз по бульвару Соттевиль.

Он повел меня на небольшую бедную и плохо освещенную улицу, выходящую на Сену, и, зайдя во двор одного из домов, свистнул возле одного из окон. Одна из дверей открылась. Мимиль вошел, снял португепю, которую положил на кровать вместе с кепи, и представил меня двум женщинам, снимавшим это помещение.

— Привел к тебе своего парня... поставь лишний прибор... сказал он одной из них.

На столе стояло три прибора, литр белого вина, хлеб, колбаса, камамбер в коробке.

Обе женщины были маленького роста, черноволосые, некрасивые и не слишком опрятные. На них лежала печать нужды плохо оплачиваемого труда ткацких фабрик.

Мимиль разглагольствовал о «бошах» и ротном командире. Тарелки были в зазубринах, грязные, а в сахарнице куски сахара были засижены мухами.

Вдруг Мимиль рассердился: он хотел пить, а литр с вином был уже опорожнен. Женщине не хотелось идти за другим, под тем предлогом, что в этот час лавка уже закрыта. Мимиль стал грубым:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь!

Дело принимало дурной оборот. Женщина артачилась, кричала, что с нее хватит.

Посейчас вижу, как Мимиль поднимается и, мастерской пощечиной пригнув голову женщины к липкому столу, говорит голосом спокойным и повелительным:

— Ну-с, кончите вы выматывать кишки из человека?!

В эту минуту Мимиль был красавцем. Подчиняясь властителю, женщина взяла свой кошель, пустой литр и вышла, плача. Она вернулась с запечатанной бутылкой. Он поцеловал ее. Она продолжала дуться. Тогда он стал ластиться, нежничать. Я ушел, оставив их втроем.

У пулеметов нет почтения ни к чему. Им безразлично, желает ли человек умирать или нет. Они косят каждого автоматически: маленьких, больших, крепких, гулящих и отцов семейства. Они скосили даже Мимиля из Сент-Уэна, Мимиля с улицы Четырех-Дорог.

Помещение роты, куда я относил казенный пакет, находилось на печальной и хмурой улице, носившей имя не то какой-то святой, не то какой-то мученицы: улица Марии Козодоев.

Ограда, небольшая площадка перед школой для девочек, украшенная четырьмя липами. В классах спят призывники. Всюду валяется солома, просовывается из-под дверей.

Когда я входил в калитку, какая-то женщина, молодая, скромно одетая в черное, обратилась ко мне с просьбой, в которой слышалась мольба.

— Не могли ли бы вы сказать Жоржу Леклерку, из 3-ей роты, что жена его здесь?

Я передал это Леклерку, который бросился во двор. Это был молодой призывник, маленький служащий из какого-то банка. Оба эти существа, разлученные войной, нежно

беседовали через забор, так как дежурный закрыл калитку. Шел мелкий дождь, нормандский, бесконечный, безнадежный. Вместе с ним на людей и на вещи ложилась серая тоска, которая делала еще мрачнее это зимнее утро. Свежая память об убитых Мобёжа и Марни нависала и жгла мысли людей.

Появился лейтенант. Тонем сухой команды он бросил Леклерку:

— Приказ запрещает нижним чинам находиться на площадке, — таково распоряжение ротного командира.

— Господин лейтенант, жена моя приехала из Парижа... — Он бормотал умоляющие слова, он казался мне маленьким, съезжившимся, совсем мальчиком, учащимся в школе и выслушивающим выговор. Держа руку под козырек, он умолял взглядом.

— Абсолютно запрещено, приказ ротного командира, отправляйтесь на место!

Леклерк поднялся по нескольким ступеням небольшого крыльца и вернулся в класс для школьников. Женщина, не снимая рук с решетки ограды, провожала его глазами, грустная, безропотная.

Охваченный дрожью, задыхаясь, я передал пакет лейтенанту. Я поспешил уйти, со спазмой в горле и с глазами, полными слез.

Я любил женщину. Ежедневно, как молитву, я писал ей письма. Ежедневно ждал я письма от нее, — письма, которое дарило мне бодрость и надежду, чтобы выносить тянущееся время. Я с ужасом воображал себя на месте Леклерка и обожаемую женщину — по ту сторону этого забора.

Смог ли бы я вынести, чтобы в ее памяти навеки остался образ маленького мальчика, которого наказывают, — униженного, пришибленного, — чтобы никогда больше в ее глазах не быть мужчиной? Руки мои, еще и по сей день, дрожат при этом воспоминании.

Англичане наводняли город. Изо дня в день прибывали пароходы из различных гаваней старой Англии. Они выгружали на набережные Сены все новые контингенты. Из трюмов кораблей выходили лошади, автомобили, ящики, и можно было видеть, как рычаги мощных подъемных кранов осторожно клали на землю, точно игрушки, тяжелые грузовики, испещренные рекламами лондонских торговых фирм. Английская кавалерия выходила из кораблей с такой же легкостью, как оловянные солдаты из картонной коробки. Она переправлялась через мост Сен-Север и направлялась к Гран-Куроннэ, где был ее лагерь.

Набережные были завалены ящиками, тюками всевозможного рода. Это было невероятное нагромождение товаров, съестных припасов, — всякой всячины. По вечерам английские солдаты приставали к вам, как в Париже это обычно делают продавцы просвечивающих карточек. Они предлагают вам самые разнообразные предметы по невероятно дешевой цене. Они не продавали — они вели обмен по смехотворным расценкам: Дугласовскими моторами, башмаками, коробками консервов, пачками папирос, табаком, фруктовыми консервами. Видел я и такого, который предлагал мне купить его лошадь.

Проезжая как-то утром на велосипеде, я заметил одного такого «томми», спасавшегося, согнув спину, и спешившего спрятаться за изгородью, между тем как какая-то женщина в ярости грозила ему кулаком, извергая проклятия.

— Это память? — спрашивали они ласково, стягивая кольцо, которое у женщин было на пальце...

Жорж Валле был развитой парень, начитанный и тонкий. Часто ходили мы с ним вместе пить кофе в ресторан у Оперы. Мы глядели на уличное оживление, на зрелища в гавани и на Сене, изборожденной большими кораблями, прибывшими с Темзы.

— Я хорошо понимаю, — говорил он мне, — твою точку зрения на войну. Может быть, ты и прав. Но, видишь ли, что касается меня — то это не так просто. У меня есть семья, обязательства, и мое положение запрещает мне думать, как ты, или, вернее, пренебрегать известными условностями. А потом, скажи-ка? — и он покраснел, — не думаешь ли ты, что это, быть может, чувство страха побуждает тебя глядеть так на вещи?

Мы шли вдоль набережных. Плавающие пробки, обломки, приносимые волнами, ложились нам под ноги. Вода, переплескиваясь, мочила подошвы сапог. Жестко схватив его за руку, я толкнул его к самому краю и удержал над черной и грязной водой.

— Прыгай! — крикнул я ему.

Он взглянул на меня. А я иронически прибавил:

— Что, испугался? трусость взяла?

Он не ответил. Он понял смысл моей выходки, бесполезность такого рода бравад и погрузился в задумчивость. Я внутренне следил за его мыслями и сделал вывод за него:

— Ты веришь в свою звезду. Это для тебя — единственный якорь спасения. В конце концов, весь твой патриотизм сводится к обязательствам и к вере в счастливый случай, к надежде на то, что ты вернешься. Но если тебя убьют, — будь уверен, жизнь пойдет все так же. Все, кто уцелеет в эту войну, что они будут такое, как не выжившие за счет убитых?

Леон был грузчиком. В Гавре, в Руане, в Дьеппе он появлялся время от времени, смотря по надобности, по прихоти настроения, из солидарности к артели, или — в погоне за более выгодным заработком. Он внезапно появлялся и нанимался под кирпич, известь или уголь. Обычным пределом его желаний был какой-нибудь кабак «Свидание моряков», который он находил в любом порту и где он накачивался красным вином, когда кончал работу, а иногда — и по целым дням, если вкуса к работе у него не было.

При медицинском осмотре Леон был признан негодным к фронту. Правда он был силен и совершенно здоров, но во рту у него не было не единого зуба. Он не испытывал от этого ни малейшего неудобства, ибо пил больше, чем ел, и будь он сколько-нибудь осторожен, так это и сошло бы.

Но Леон ежевечерне возвращался в казарму в беспамятном виде, а то и совсем не возвращался и устраивал скан-

дали, что было нетерпимо с точки зрения дисциплины и в особенности для сержанта, но которого ложилась ответственность. Стали поступать на Леона жалобы, — пошли наказания.

Спокойный и уверенный в своей безнаказанности из-за безоружной своей пасти, Леон не поддавался исправлению. Ротный командир, скрепя сердце, пошел к старшему врачу.

— Уберите от меня его. Он разлагает всю роту. Это дурной пример. Тут ничего не поделаешь.

Леон подвергся переосвидетельствованию и был признан годным к немедленной отправке. Когда же он сослался на отсутствие зубов, врач любезно обещал ему вставить в рот искусственную челюсть.

В день отправки Леон напился. Напрасно теряя время, его сотоварищи, уже в походной форме, пытались с невероятными усилиями ему растолковать, что он должен ехать вместе с ними. Ротный командир, пришедший в последний раз взглянуть на отправку, употребил весь свой авторитет, чтобы заставить Леона решиться. Но Леон в ярости не хотел ничего слышать.

— На какого черта она мне сдалась, эта самая война? Не будет у меня работы здесь, будет в другом месте... Леону на все в высшей степени наплевать, господин капитан!..

— Но ведь, милый мой, — говорил капитан примирительным тоном, — все ваши товарищи едут! Не можете же вы дать им уехать одним!

— Господин капитан, — отвечал Леон, — я же вам говорю, что это совсем меня не касается. А потом, господин ка-

питан, есть у меня думка, что ежели я туда поеду, так меня убьют.

— Но, милый мой, не весь же свет будет убит. Вот так мысли у вас... не хватало только, чтобы весь свет был убит!!!

Леон слабел, его пьяное упорство становилось все мягче, все податливее. Товарищи натягивали на него рукава шинели, перевязи, патронташ, сумку.

— Ну-ка, давай-давай, Леон, ты же не позволишь нам уехать одним, без тебя.

У него было еще несколько вспышек сопротивления.

— Я говорю вам, что плевать я хочу на вашу войну! А кроме того, у меня нет зубов...

— Вам встанят, когда приедете туда, искусственную челюсть, — сказал капитан с невозмутимой ласковостью.

Одетый, снаряженный своими боевыми товарищами, Леон встал в строй и уехал, чтобы никогда больше не вернуться.

Антуан Малер был крайне левых убеждений. В деревне и в округе всякий знал старика Малера. Реакционеры, умеренные, говорили, когда заходила о нем речь: этот старик Малер и его болтовня.

Во время каждой избирательной компании, шло ли дело о том, чтобы выбрать муниципального советника, окружного советника или депутата в парламент, старик Малер со всей неистовостью проявлял свои убеждения. Он заводил с противниками в винных погребках, окружавших коровий рынок, споры, которые кончались тем, что ничем не кончались. Все же особенно косо на него не глядели, ибо по суще-

ству считали его порядочным человеком. Крестьяне придавали немного значения его разглагольствованиям. Для них он был, в конце концов, просто немного тронувшимся.

Раз утром в сентябре 1914 года старик Малер появился на коровьем рынке с лошадьё, которую он держал под уздцы. Было там несколько местных фермеров и кое-какие еще люди из округа, кто — с одной лошадьё, кто — с двумя или тремя. Офицер, с листом в руке, заносил в список имя и профессию прибывающих. Это был интендантский чин, проводящий реквизицию скота для нужд армии. Вместе с ним было два ветеринара.

Старик Малер был не в духе и отвечал односложно на: «Вот и он... Здравствуй, Малер! Как дела нынче?» — Дела были неважные. Сын его только что поехал назад, в полк, и старику Малеру было не по себе.

Офицер и оба ветеринара подошли к лошади, осмотрели ее, заставили ее пройти, пробежаться, заглянули ей в зубы. Удовлетворенный состоянием животного, офицер повел речь о цене, которую надо было проставить на реквизиционной квитанции.

— Не надо мне денег. Нечего со мной разговаривать об этом, — сказал старик Малер. Моя лошадь... даром берите!..

Толпа вокруг чудака пришла в веселое настроение. Все решили, что ослышались.

— Не об этом вовсе речь, — сказал офицер, — цена вашей лошади тысяча восемьсот франков и ни одним су больше.

— А я вам говорю, что денег мне не надо. Что, не понятно? Не хочу денег! Не пойму я, как это сына у меня отбира-

ют, а за лошадь платят!.. Пусть тогда берут и лошадь! Уж такой я есть, Антуан Малер!..

Он произнес эти слова с силой, и звук его голоса выдавал гнев.

На сей раз малеровские штучки переходили все границы. Люди переглянулись, и в толпе крестьян поднялся ропот.

— Заткни глотку, Малер! Довольно нам твоего г..

Но Малер уходил, оставляя лошадь и реквизиционную квитанцию. Это был настоящий скандал, и языки стали источать яд.

— Прежде всего, неизвестно откуда он у нас появился, этот Малер. Не так уж давно живет он в округе...

— Малер — это совсем не французская фамилия.

— А может, его боши подкупили, чтобы говорить такие слова!

— Это пораженец! грязный бош! Чтоб говорить то, что он говорил, надо быть бошем или подлым человеком!.. Да, подлым человеком!

Он был учителем в окрестностях Руана и фельдфебелем в этапной роте. Люди находились на вокзале для разгрузки провианта и снаряжения. Мы были вдвоем, наедине, в кабинете командира роты. В камине горели дрова, на улице шел снег.

— Не говорите так, — сказал он мне, — я люблю родину. Не станете же вы утверждать, что именно мы хотели этой войны. Я пошел в первый же день, без сожаления, я жертвовал жизнью!

Легко раненный при отступлении от Мобёжа, он вернулся в тыл и был назначен фельдфебелем на этапный пункт.

Спустя несколько дней после этой маленькой пикировки, он поведал, в каком душевном состоянии был он в день объявления войны.

— Я только что потерял жену, и мне было все безразлично. Несколько раз я хотел кончить самоубийством. Мы уже раньше потеряли ребенка, и я отправился в надежде, что буду убит.

Теперь он каждый вечер уходил в город. У друзей он познакомился с одной девушкой. Жизнь завладевала им. Он был весел, ждал пяти часов с нетерпением. Он сообщил мне, что собирается снова жениться. И больше даже не заикался о том, чтобы вернуться на фронт.

Первые месяцы войны я встречал ее на улице. Она работала на заводе. Она была блондинкой, сдержанной и красивой. Я виделся с ней несколько раз. По вечерам мы гуляли, в сторонке под деревьями, на площади Бон-Секур. Мы сидели рядом на скамье, меня тянуло к ней. Она сопротивлялась несильно и слабела. Я чувствовал, что она дрожит.

— Нет, — сказала она мне, — это было бы очень гадко. Он ранен, в плену — это было бы гадко...

Она вынула из сумочки письма и показала их.

— Если бы ты прочел их, ты увидел бы, как плохо то, что мы делаем. Он верит мне, и он ранен.

Она собралась с силами, встала и легко вошла в трамвай, подошедший к остановке. Я услышал звонок кондукто-

ра, она сделала мне прощальный знак рукой, и вагон ушел...

Это было 15 октября 1914 года.

Фотограф нужен для любых okazji: для свадеб, для праздников, для банкетов. Происшествия каждого дня почти всегда тщательно запечатлеваются каким-нибудь фотографом, который точно бы случайно оказывается как раз на месте. Овальные портреты, жених, невеста, гости, семейная группа служат традиционными памятниками, рассылаемыми по родственникам, друзьям и знакомым или же вставляемыми в рамку, под стекло, и водружаемыми на мрамор камина. Так могло ли быть, чтобы война не породила фотографов в потрясающем количестве, на передовых линиях так же обильно, как в тылу?

Этапная рота размещалась на одном заводе, в самом конце одного из предместий Руана. Пожар, произошедший еще до войны, превратил половину здания в развалины. Куски стен поднимались прямо и голо. Почерневшие балки, развороченная крыша имели трагический вид. Двор был завален обгорелыми досками и всякого рода обломками. Несколько труб и остов строения вырисовывались на небе силуэтами.

Фотографу, который ежедневно снимал людей роты в самых выгодных позах, по пяти франков за дюжину, пришла в это утро артистическая идея.

Когда он изложил свой план, люди поняли его мигом. Одни взобрались на верхушку торчащих стен, с винтовкой в руке, и сделали вид, что стреляют из-за прикрытия; дру-

гие, примкнув штыки, словно бы шли в атаку. После кое-каких поправок, картина была признана превосходной. Несколько людей распростертых, раскинув руки, на переднем плане, другие с перевязанной головой, полулежащие на ворохе соломы, дополняли сюжет и придавали ему надлежащую рельефность. Все имело за душу хватающее правдоподобие.

...И для всех этих людей война была именно такой. Они узнали ее: это была настоящая война, война, какую они видели в книгах, в лубках, в альманахах: взятие Бузенваля, последние патроны, война на рисунках Детайя и Невилля, война, вызывавшая восхищение, война, изображавшая героизм и славу, война театра и кино, где после сеанса актеры идут разгримировываться.

Фотограф нажал, было, уже кнопку объектива, когда появился командир роты. Держа лист в руке, он собрал людей и прочел параграфы приказа, который требовал добровольцев.

— Я убежден, — выразил уверенность командир, — что люди моей роты откликнутся... и в большом числе.... Итак, кто поднимет руки?

Но во дворе полуразрушенного завода никто не пошелохнулся. Ни одного дыхания, ни малейшего движения. Над всеми этими мирными развалинами висело безмолвие, подобное тишине над полями битв.

Я был отправлен по мобилизации на военный завод. Я жил вместе с народом. Я жил его привычками, его бо-лестями, его радостями, его ненавистями и его любовью.

Народ — добр, жесток, благороден, мужествен и труслив. Он разом все. Он — народ. Боец в траншеях был таков же, как рабочий в тылу. Это был двойник, показывающийся одной стороной, когда он показывается другой, и чувства их, так же как их мысли, взаимно могли бы заменять друг друга.

Очень часто, прежде чем возвращаться к себе, я заходил в гастрономическую лавку, которая была по ту сторону моста, на главной улице деревни.

Маленькая продавщица, рыжая и соблазнительная, у которой только что во время атаки на Сомме убили жениха, исходила слезами. Бедная девушка, с тех пор как получила роковое извещение, потеряла стыд. Она плакала навзрыд перед всем светом. Больно было смотреть на ее горе. Слезы падали на масло и на яйца, глаза были распухшими и красными, и вынь она свой платок прямо из кадки с водой, — он был бы не мокрее.

На завтра я снова увидел ее. Она была безутешна. А так как и в следующие дни ее горе не утихало, хозяйка стала ей резко выговаривать:

— Поглядели бы вы, как смеются покупатели над вашим ревом! А кроме того, этим вы его не воскресите!

Три месяца спустя, когда я проходил мимо, маленькая продавщица, рыжая и соблазнительная, пела, энергично подметая пол лавки.

Мастер, с записной книжкой в руках, проходит среди машин, которые хрипят, воняют и пахнут горячим маслом.

Он настаивает, чтобы рабочие подписывались на заем победы. Большинство приобретает, подписывается на одну облигацию, на две или три.

— Значит, тебя я записываю тоже! — говорит он мне.

Я отказываюсь... Он подходит ко мне вплотную и конфиденциально говорит мне об опасности, которую влечет за собой такой отказ.

— Относительно тех, которые не хотят брать, у меня есть приказ отмечать их красным карандашом, Директор желает, чтобы рабочие его завода были на высоте положения. А ты знаешь, что те, которые будут отмечены красным карандашом...

Перед такой решительной опасностью я слагаю оружие и записываюсь на облигацию, оплачиваемую по частям при полумесячных получках.

Несколько месяцев спустя, тот же мастер проходит по цехам и раздает облигации, ставшие собственностью подписавшихся.

— Вот, — сказал я, глядя на него, — я не хочу устраивать себе ренту, в то время как другие платятся головой... Я отдам свою облигацию жене мобилизованного, у которого большая семья. И это я разглашу на весь завод.

Он растерянно глядит на меня. Двое рабочих, подошедших к нам, слышавших мои слова и понявших их тайную цель, отнеслись к ним отрицательно.

— Нечего делать глупости... — говорит мне мастер. — Каков парень? — продолжает он, обращаясь в тем двум, — ни за что не желает быть, как все. Вот помяните мое слово, он своими штучками еще наделает нам бед!

Летний день идет к концу. Битва при Вердене приводит всех в неистовство. Сообщения газет, несмотря на всю краткость, позволяющую строить только догадки, обдают нас волнами ужаса. Вагоны трамвайной линии Сюрэн — Порт Майо идет вдоль Булонского леса и направляются в Париж. Остановка, — влезает женщина. Она молода, недурна собой, грязна и пьяна. Юбка ее — вся в земле и грязи, а руки пытаются спрятать под шляпю опорожненный литр. Она садится. Пассажиры отодвигаются, — от нее несет вином. Она словно бы ничего не видит, — находится в каком-то другом мире. Время от времени она наклоняется к соседям и вежливо, с идиотской улыбкой, просит подавание.

— Не откажите подать двадцать су! На пропой!.. друга моего теперь убили... осталась одна, — вот и пью...

Она глупо ухмыляется. Литр мешает ей, она ставит его на пол, возле себя. Пассажиры хранят молчание, у них презрительный вид. Она не настаивает. Она наклоняется ко мне и повторяет просьбу. Трамвай останавливается, — я даю ей два франка.

К чему мешать ей пить? Разве то, что происходит, не является логическим следствием войны! Я чувствую единодушное одобрение публики моему жесту. Женщина сходит и ковляет дальше со своим литром, который она держит на руках, как держат матери своего ребенка.

Ратине родился в Лионе. Его предки были французами, его отец был француз, его мать была француженкой. А у Ратине был настоящий культ Германии. Он питал к кайзе-

ру необъяснимое почтение. Когда Ратине говорил об «императоре», у него слезы выступали на глазах. Он чувствовал к Вильгельму II такое же восхищение, как англичане — к Наполеону. Какая странная причина понесла и опустила патриотизм по ту сторону Рейна?

— Вы вырождаетесь, — говорил он.

Ратине не говорил «мы». Он ставил себя вне обличаемого им выражения и, не отдавая себе в том отчета, исповедовал «патриотизм наизнанку», «Deutschland über alles». Он ставил Германию превыше всего.

В винном погребе, куда он ходил обедать, все рабочие знали Ратине. Он работал в арсенале. Рабочие смеялись над ним и писали на стене, где он вешал свою шляпу: «Будьте настороже, молчите, неприятельские уши слышат вас!» Ратине не поводил и бровью. Это не мешало ему продолжать выказывать свою любовь и веру во вражеское отечество.

— Поглядите, — говорил он, — на кушак немецкого солдата, прочтите слова которые вырезаны на бляхе: «Gott mit uns!» За Бога, за кайзера! А вы? Какой у вас идеал? Деньги и бордель!..

С подлинным волнением Ратине торжественно заявлял, что после войны он уедет жить «туда». Это было настолько несуразно, принимая во внимание положение вещей, что его считали сумасшедшим. Никто не принимал это всерьез. Когда он говорил:

— Да накажет Господь Англию!.. — ему отвечали хором:

— И спекулянтов!

Если сообщения с фронта были плохи, если немцы отняли у нас траншею и забрали пленных, — у Ратине появ-

лялась на лице улыбка, и он пребывал в веселом настроении весь обеденный перерыв.

Я был в Пюто в критический момент немецкого наступления на Сомме и разгрома при Шемен-де-Дам. На набережной Галльени я встретил Ратине. Заметив меня, Ратине подошел в ликование. Ради осторожности военные власти перевели вниз, по реке, все баржи. И указывая рукой, как на неопровержимый знак нашего поражения, на пустынную Сену:

— Их уже ждут! — сказал он мне.

На заводах женщины храбро замещали собой мужчин.

Молодая, темноволосая, пышная и недурная собой одна из них, патриотически настроенная и благомыслящая, приходила в неопишную ярость при малейших разговорах о мире. Стоило только заикнуться об этом, как она заявляла, что вас надо ни больше ни меньше как арестовать. Нужно идти на Берлин, громить, таскать, жечь, отрубать руки детям бошей...

Случайно, однажды, я прочел ее имя в платежной ведомости.

Ее звали: Луиза Герхсмейер!

Париж врался в войну. Дети, предоставленные сами себе, занимались недозволенной торговлей, бродили вокруг вокзалов, покупали у английских, американских солдат папиросы, зажигалки, которые и перепродавали с небольшой прибылью. В пятнадцать лет у подростков были уже навыки банкиров и менял. Отцы ушли на фронт, — они их заме-

щали, изображали собой взрослых мужчин, спали с женщинами, курили и пили. Это были зеленые, но уже гнилые плоды. В предместьях мальчишки, с ножом в руках, забавлялись подражанием ударникам, устраивающим резню в траншеях. Торговли больше не было — люди обдeldывали дела, спекулировали, а от спекуляций переходили к игре: играли на сахар, на кожу, на кофе; играли на продолжительность войны! Патриотизм был оболочкой, прикрывавшей все мыслимые пакости, и лицемерно вуалировал преступления и быстро нажитые состояния. У женщин были фронтовые «крестники». Они становились любовницами одного или нескольких «фронтовиков». У поцелуев был вкус смерти.

Когда 4 августа остановилась нормальная жизнь, это событие одних спасло от близкого краха, других освободило от повседневной скуки, от опостылевшей работы, от нелюбимой жены. Третьи, наконец, радовались свободе, которой у них никогда не было и которой они уже не ждали. Для многих она наступила, эта война, слишком рано или слишком поздно. Я встретился, спустя несколько дней после наступления сроков платежей, с одним знаменитым конструктором аэропланов, потерпевшим крах. Он объяснил мне причины своей неудачи с обезоруживающей естественностью:

— Случись это полгода раньше!.. Если бы война началась шесть месяцев тому назад, я мог бы использовать моториум, я стал бы министром авиации... а тогда что значило бы для меня уплатить каких-то несколько миллионов моего пассива.

Деревни, лишившиеся трудовых рук, призвали иностранную рабочую силу. Нейтральные, союзники мирно завладели лачугами, фермами, деревнями. Люди со смуглой кожей сели за большой кухонный стол, за которым не было хозяина. Они убирали в поле и любезничали с хозяйкой и дочками. И какой-нибудь Жан-Матюрен, который там, на высоте 304, якобы защищал свою землю, жену и скотину, дал возможность, уходя, проникнуть в свой дом чужеземцу. Когда он исчезал, положение оформляли, и итальянец становился собственником его жены и земли.

Видели ли вы цирковой фарс, в котором для того, чтобы броситься за рыжим недругом, нацелившимся было дать ему пинок в зад, господин клоун выпускает из рук лестницу, на которой другой его рыжий собрат и друг делает гимнастику?

Ложь, эта скрытая, постоянная, преднамеренная и всеми уважаемая ложь, была для меня в течение всей войны худшим из мучений. Поистине то была «великая эпоха» лжи. Люди лгали другу ради самоутешения. Отец лгал сыну, сын — отцу.

Сообщение с фронта были грубыми или ловкими ворами лжи. Власть скрывала, газеты прятали, замазывали, приукрашали. Поражение становилось успехом, вынужденное отступление — тактическим маневром. Жены доносили на мужей, любовников, сыновей соседки, которым удалось как-то до той поры избежать линии огня. Чтобы подхлестнуть патриотизм, уже начинавший линять, чтобы поднять мораль войск, производили массовые экзекуции.

Расстрелы шли направо и налево — в назидание! Везде видели шпионов. Занимались доносами из страха, из ненависти, из мести, из-за пустяка, из-за слишком длинного носа, из-за рыжих волос, из-за того, что немецкие снаряды, видите ли, убивают. Запакощивали все, уничтожали целые леса, точно коробки спичек, убивали животных, без определенной нужды. Нации своим умственным уровнем превращались в мародеров. Все были одержимы одной идеей — своего рода универсальной страховкой: боши заплатят за всё! Чтобы считаться настоящим французом, надо было ничего не видеть, не пытаться что-либо понять. Надо было верить, что немцы — уроды, трусы, варвары. Надо было всё принимать на веру, все проглотить, не рассуждая. Провозглашали священную войну за освобождение народов — и «умиротворяли» Марокко.

В одну из эпох моей жизни я возымел фантазию заняться разведением породистой птицы и русских кроликов. В конце концов, кто не питал веры, что разведение цыплят — прибыль?

Вернувшись после отсутствия опять к себе, я был неприятно поражен, когда обнаружил, что помещения моих питомцев пусты. Они были явно очищены самыми обыкновенными жуликами. Случайно я нашел своих птиц у одного старого арендатора, типа мало привлекательного, живущего браконьерством. Я громко орал, тем сильнее, что он энергично защищался, с обезнадеживающим апломбом. Я грозил, что подам в суд, если он не признается, и уличал его, показывая на лапки птиц, где были мои метки. Не имея возможности дальше отнекиваться, он вынужден был

сознаться, но оправдывал себя таким вывертом, который я не знал, как оценить, ибо он, к моему изумлению, сам перешел в наступление:

— Куры ваши отощали! — сказал он. — стыдно иметь живность такой ценности и оставлять ее умирать с голоду. Когда сам не умеешь ходить за животными, тогда надо предоставить это дело другим.

Он — теперь мне это понятно — взял в аренду моих кур.

Год-два-три, а война все еще длится! Конца ей не видно. Вечером ночная смена заступает место дневной, — машины не останавливаются. Проходит еще год! Приближается развязка, — это чувствуется. Завтра — перемирие!

В одевальне я натягиваю синюю блузу с надеждой, что это в последний раз. Огромная радость бежит во мне. Неужели это в самом деле возможно, Бог мой! Я кричу:

— Ребята, войне конец!

Старый человек стоит здесь же, возле меня. Он ставит в свой гардероб старые башмаки, промасленные насквозь. Это — чернорабочий, подметальщик, возчик, и зарабатывает он двадцать пять франков ежедневно, с тех пор как начались военные действия. До войны, у себя, восвояси, он зарабатывал по три франка. Я опять — кричу:

— Ребята, конец войне!

Но сосед явно не понимает, чему я радуюсь. Для него, попросту, это означает, что опять приходят тяжелые времена.

— Да, что верно, то верно, на этот раз она кончается, ты прав, — что верно, то верно. Вот и радуйся... А только, что теперь делать будем?..

Когда известие о подписании перемирия стало общим достоянием, мир охватила безумная радость. Нельзя было представить себе, что смерть на самом деле кончила свою ежедневную гигантскую трапезу. Марта Шеналь, охваченная пасифистским энтузиазмом, разразилась «Марсельезой» на ступенях парижской Оперы. Уцелевшие не могли поверить, что на сей раз они окончательно помилованы. Это был мир!

Бойцы, возвращающиеся победителями, рассчитывали на хорошо заслуженный отдых, на шкуру побежденного, на раздел добычи. Миллиарды, которые боши должны будут заплатить, одному давали надежду на покупку небольшого домика, другому — коровы или торговой лавочки. Женщины уже видели себя в нарядных платьях и жемчугах. Они были в руках, — богатство, счастье! Для чего нужна была война, если она не даст больше благосостояния народу-победителю?

Заключение мира было доверено старцу восьмидесяти лет, сказавшему: «я веду войну!». Он стоял уже одной ногой в могиле и спал во время дележа. Мирный договор был в конце концов делом лишь нескольких посвященных, а что касается до благ, которые должны были дать будущности всего мира подписи, скреплявшие бумаги величайшей важности, — в этом отношении, народ, уставший от всей этой истории, длившейся слишком долго, полностью доверился компетенции тех, которые выиграли нам такую прекрасную победу.

Для меня, в течение всей войны, не было вопроса ни о поражении, ни о военном успехе, ни о колебаниях, ни о победе.

Я знал, что подлинно побежденными были мертвые.

Старуха Филу возвращается из лесу, нагруженная каждодневной порцией дров. В черном платье и белом чепце она напоминает сороку, тащащую ветки, чтобы строить гнездо.

Старуха Филу дряхла, наморщена. Я дружески здороваюсь с ней и предлагаю помочь проташить вязанку в отверстие двери. Старуха Филу необщительна. Редко позволяет она проникнуть в свою лачугу. Я заглядываю во двор. Я вижу кучки картофеля, моркови, которые она набирает в поле и делит со своими кроликами.

Ее сына убили под Верденом. Она живет одиноко, молчаливо и нелюдимо.

Вдруг колокола деревни поднимают трезвон. Что это — смерть или крестины? Я не знаю, но старуха Филу, которая слушает их так же, как я, как будто приходит в волнение. Она с трудом выпрямляется, поднимает голову и смотрит на меня маленькими черными глазами, в которых есть жесткость и подозрительность. На веках нет у нее ресниц, а цвет лица похож на старую перчатку или высохший цветок, забытый в сосуде без воды.

— С тех пор, как мне его убили, — говорит она, — я ни во что больше не верю! совсем ни во что! Если бы Бог действительно был... он бы не позволил такой войны.

Она произносит эти слова словно бы с трудом, как вызов.

— Я ведь очень стара! Совсем почти выросла в землю!.. А вот больше не верю!..

Грязная, несчастная, дрожащая, жалкая... и отрицает Бога! Это единственное оружие, которое у нее осталось, чтобы отомстить за сына.

Она кладет свою вязанку, прислоняет ее к стене, чтобы защитить от дождя. Но какое-то сомнение все-таки точно бы волнует ее. Может быть завтра ей придется предстать перед Создателем и оправдать свою хулу.

— Что же! — вызывающе говорит она, видя, что я подхожу, — Ему будет стыдно!

Ее мужа убили на войне, и она осталась вдовой с двумя детьми. Чтобы дать жить малюткам, она держит лавочку, где торгует овощами и рыбой. Я захожу к ней дважды в неделю, чтобы купить фруктов и селедок.

Муниципалитет маленького городка положил много труда, чтобы выразить свою благодарность памяти сынов своих, погибших за Францию. Он воздвиг памятник мертвым, поднимающийся в самом центре небольшого сквера.

Лавка овощницы помещается как раз напротив. Ее хозяйка может весь день читать имя мужа, выгравированное на камне.

Со слезами на глазах она говорит мне:

— Знали бы вы, как это трудно мне, — все время иметь перед глазами его имя, написанное на этой самой могиле!..

Потом она снова вышла замуж. Памятник поднимается теперь перед их общей дверью. Для него в этом нет никакого беспокойства, — он не знал героя. Для нее время

должно было стереть выгравированные буквы. Она не видит их больше, или, вернее, они стали каким-то именем, которое привычно потому, что это имя некоего далекого родственника. Она забыла бы его и вовсе, если бы двое ее детей иногда не напоминали ей об их отце.

Хотя в актах гражданского состояния значится, что он умер, рыжий Сос продолжает жить в том же городе.

Занесенный в списки пропавших без вести, Сос был ранен и взят в плен. Вернулся он не тут же — это промедление так и осталось покрытым тайной — но заставил себя ждать так долго после окончания войны, что его сочли умершим. В соответствии с этим и имя его дважды было выгравировано: во-первых, на памятнике, поставленном в сквере, и затем на мраморной доске, поставленной в парадном зале мэрии.

Сос сделал всё, что мог, чтобы снять свое имя. Но тщетно. Муниципалитет ничего и слышать не хотел. Муниципалитет считал, что это «испортило» бы и мраморную плиту, и камень памятника.

Этот преждевременный акт погребения не мешает Сосу жить припеваючи. Сос напивается, и, когда навеселе проходит мимо памятника, где выделяется не заслуженное им упоминание, Сос приподымает кепку и торжественно произносит дружелюбные слова:

— Привет Сосу!

Потом, все же очень довольный тем, что он еще живет на сем свете и пребывает в здравом уме, Сос вновь направляется в кабак.

Среди всех тех, кого я знал, есть несколько, о которых я вспоминаю сугубо в силу причин или качеств, зачастую совершенно противоположных. Одни тронули меня своей тонкой одухотворенностью, другие физической своей силой, своим мужеством, своей трусостью.

Гаспар Фортон представлялся мне прототипом силы и человеческой энергии. Родившись на севере Франции, Фортон был ростом 1 м. 80. Его сложение свидетельствовало о редкой мускульной силе, его взгляд — о неисчерпаемой живучести. Хотя повод, заставивший нас встретиться, должен был бы сделать нас врагами, мы стали скоро товарищами.

Фортон работал по поднятию судов. Он поднимал со дна Сены затонувшие буксиры и баржи, а со дна моря — корабли, увязшие в тине. Во всех речных портах Сены моряки знали Фортона. Он покупал по низким ценам обломки судов, считавшихся окончательно погибшими, и подымал их на свой собственный риск. Такого рода заработок требовал, чтобы Фортон составлял артели водолазов, которых он явно должен был нанимать из числа людей нехворых и вполне равнодушных к спиритическим сеансам и загробному миру. Спуск на двадцать пять метров в глубину требует кое-чего иного, нежели слабых легких и чрезмерной нервности. В Руане, где он пускал в дело артели из докеров, Фортон прекращал ссоры несколькими ударами кулака. Хотя его боялись и уважали, все же ежедневно раздавались угрозы по его адресу. Драки, побоища, мародерство, речное брако-

ньерство, — все эти вещи являлись радостью и жизнью для Фортона. Вызова ради, он внес в кассу кабака, где он производил расчет с нанятыми людьми, двадцать франков и написал на стекле, находящемся над кассой: «Здесь всегда найдется луи для того, кто проломит башку Фортону».

Во время войны Фортон получил задание военной власти поднять баржи, вагоны и локомотивы, упавшие в Марну. В его распоряжение была предоставлена инженерная рота. Он принял людей и отверг командира, который возмел претензию давать ему советы. Позднее он стал поднимать со дна военные суда, подводные лодки, и за многочисленные заслуги перед отечеством Фортон был награжден орденом Почетного легиона.

Я встретил Фортона спустя некоторое время после этого пожалования в одном из кабачков на берегу Сены. В фуфайке, в каучуковых сапогах, хотя и постаревший, он все еще был тем Фортоном, какого я знал. Сидя под круглым сводом, мы отпраздновали встречу. Его яхта была отшвартована под откосом берега, и он достал из кладовки жареной рыбы и угрей. Во время трапезы он пил с таким успехом, что к концу, совсем опьянев, он поднял одной рукой железный стул и, вытянув его в воздух, загремел «Интернационалом».

Он пригласил меня отобедать с ним на ближайшей неделе. Я пришел к нему на квартиру и застал его за тщательной очисткой мелкой рыбы.

С первых же слов я понял, что Фортон остепенился. Когда я рассказал ему, как он публично пел «Интернацио-

нал», он стал подавленным и осведомился, кто был при этом. Его опьянение помешало ему тогда заметить это.

— Ты понимаешь, — сказал он, — показывая на свою красную ленточку, — когда у тебя есть такая штука, то тебе нельзя больше делать глупостей.

— Так, значит и мародерство... и браконьерство... и сети!..

— Невозможно, — и снова показав на свой орден, — понимаешь! Конец со всякими глупостями. А потом... совсем бесполезно стало теперь браконьерствовать. Я взял в аренду несколько километров реки, чтобы ловить рыбы сколько хочу. Так удобнее, нет никаких историй. Все-таки, несмотря на это, в последнее воскресенье, когда я ловил рыбу сетью, была у меня схватка с удильщиками. Они, видишь ли, утверждали, что я все время сдвигаю их лодки. Я им сказал: это я — Фортон! Живу я там напротив, и если вы недовольны, вы всегда можете застать меня.

На минуту я снова увидел Фортона прежних дней. Мысль о драке заставила блеснуть его глаза.

— Ну, и что же?

— Ничего... чего ж ты хочешь теперь... — и, одновременно исполненный грусти и гордости, он в третий раз показал мне на свою бутоньерку — или ты думаешь, что мне пришло дратья?

Несчастный Фортон! Богатый и награжденный орден! Кончена жизнь, кончено любимое ремесло! Он стал степенным малым — пай-ребенком,

Мне жаль тех, кто не знал нужды. Но мне жаль и тех, кто не одолел ее. Нужда оставляет глубокий след. Слезы невзгод любви не забываются. В них есть горькая терпкость, о

которой всегда помнит рот. Сухой хлеб прекрасен на вкус, когда чувствуешь голод, и отсутствие денег дает вещам истинную цену. Ни один профессор философии не сможет вас научить этому.

Трапезы, о которых я все еще помню, — состояли из жареного картофеля и куска колбасы или самой простой вареной говядины и горшка бульона. Обстановка кругом была далеко не роскошная, лакей не предупредителен и не стоял почтительно сзади меня, разных деликатностей обслуживания не было, — но желудок у меня был пуст, и я был молод. Я утолял голод, от которого у меня слабели ноги, ломтем сыру и куском шпика: палило солнце, и дорога была еще длинной.

Случилось мне также, в одной харчевне, спать с женщиной, темноволосой и красивой. Комната была бедной, мебели не было, но девушка не просила у меня ничего другого, кроме того, чего я ждал от нее.

Да и можно ли просить у жизни другого, нежели она дает? Какова роль денег во всем этом? С тех пор я обедал в ресторанах, где цены — астрономические, но я не помню меню. Любовь роскошных женщин оставляет в памяти тот же след, что и все другие, за исключением убранства, которое одно и то же везде, где много денег.

Я жил в разных кругах, не ища этого и подчиняясь необходимости. Я коротко сходил с простым народом, не испытывая слабости, я был вхож в общество, знающее цену своим деньгам, я боролся с бедностью и тяготами, которые ей сопутствуют.

Я из всего извлекал урок и куда больше знаю о подобных себе, нежели путешественник, вернувшийся из Китая

или из Индии и считающий, что он знает свет, по которому он лишь пронесся.

Если очень трудно не быть ни вором, ни обворованным, — еще много труднее не быть ни глупцом, ни безумцем. Война, породившая такой хаос в идеях, просветила во мне много темных углов. Она дала мне одну уверенность: в гибели всяческих теорий, теорий гуманитарного интеллектуализма так же, как теорий интеллектуализма артистического. «Искусство для искусства» и прочие высокие проблемы не вызывали больше во мне мигреней, они интересовали меня не больше, чем платоническая любовь: та самая, которая ничего не может родить. Быть живописцем! Это значит лишь выражать себя, не присваивая себе наследия мертвых, не выкапывая из гроба Коро, не совершенствуя Курбе, не заявляя о Пуссене, что он твой близкий родственник. Это меньше всего значит кормиться художественной пищей, изготовленной другими, лишь бы не быть вынужденным собственным трудом зарабатывать хлеб. Индивидуум должен все создавать сам; глядеть на старых мастеров не значит копировать их вещи. Если энтузиазм моих двадцати лет заставил меня порвать узы, расходуя много веры и изводя много красок, — после войны надо было говорить о вещах более важных и более простых. Произведение искусства всегда нравственно и здорово, если цель его выше повода. Подлинная свобода — в нас самих... и свобода в нас — бесконечна.

— Это из цельного дуба!

В этих словах чувствовалось, что продавец намеренно подчеркивал то, что составляло его гордость.

— Цельный дуб! И у него настоящий вес!

Ему незачем было настаивать, — достаточно было взглянуть на ларь, чтобы тотчас же определить качество и вес мебели. Сдержанная по линиям, квадратная, массивная, с двумя цветками, вырезанными по верху панно, она говорила сама за себя, простая и крепкая, несмотря на свой возраст.

Несколько мгновений спустя, я повторил:

— Цельный дуб!

Раз вечером в одном из кафе у Северного вокзала к моему столику села женщина. Я говорил ей о Париже, о наступивших холодах. Она говорила мне о своей жизни.

— У меня есть своя старинная мебель, — сказала она мне. — К ним привязываешься, к этим вещам, в особенности, когда их покупал штука за штукой... У меня кровать и туалет — из американской сосны... из настоящей американской сосны!

Знамение времени! Вот, что носит печать эпохи: накладное красное дерево, накладной орех, накладное палисандровое дерево, поддельное белое дерево, копия с античного...

Я думал о людях, о людях, сделанных из «цельного дуба», о Зола, который резал прямо из массива, из камня, о его письме «Я обвиняю», о Мирбо, о Поле Сезанне, который, вдали от всяческих махинаций, преследовал все одну и ту же цель в течение всей своей жизни, ведомый единственным желанием возможно ближе подойти к правде, о Ван Гоге, — о, эти письма Ван Гога к брату, — письма, ли-

шенные какой бы то ни было позы, проникнутые единой волей, которая не оставляет места презрению ни к ее силе, ни к ее слабости, ибо это простые человеческие желания. Бедный Ван Гог! — из «цельного дуба»? — Даже из самой его сердцевины!

Что оставляет наша эпоха? Искусство нашего времени? — Искусство, созданное теориями, метафизическую живопись, в которой абстракция заменяет собой подлинное вчувствование, искусство, лишенное нравственного здоровья. Сведенное к умствованиям, оно делает заимствования у математики, у геометрии. Двадцать веков культуры! Искусство XX века, грабящее негров с Побережья Слоновой Кости и пожирающее антропофагов с Новых Гебрид! В искусстве теории приносят ту же пользу, что рецепты в медицине: чтобы верить в них, надо заболеть.

Я познакомился с Гильомом Аполлинером около 1903 года, в Шату, где жил и я сам. Круг людей, в котором вращался Аполлинер в это время, был необычным. Считалось хорошим тоном быть или казаться ненормальным, странным. Курили опиум, жевали гашиш, опьянялись алкоголем и эфиром. Иногда занимались педерастией. Художники, поэты, прозаики были бедны, и не поднималось еще вопросов о крупных гонорарах, о больших тиражах. Но было необходимым слыть неистово тонкой натурой, даже если эта самая тонкость исчезала или убивала то, что есть лучшего в человеческой природе. Тут проводились по желанию смеси кухни и фармацевтики, пафоса и любви. Жонглировали парадоксами, писали портреты самым взаврадавшим дерьмом, поды-

мали на смех любое проявление чувствительности, изгоняли здравый смысл. Я припоминаю, как однажды вечером некий бедный малый, занесенный в эту среду, оплакивал потерю матери, которую он похоронил утром того же дня.

— О таких вещах больше уже не плачут! — заметил ему самым естественным тоном один из друзей Гильома,

Гильом Аполлинер был человеком тонким — одухотворенным интеллигентом. Но в нем была большая наивность, которую он искусно превращал в оригинальный скептицизм. Он забывал или вернее делал вид, что забывает, что в искусстве, как и в жизни, одного ума мало и что в обоих случаях, кроме понимания, нужна еще душевная чистота сердца.

Его влекло, его волновало все странное. Разносторонний, обладающий эрудицией, которую он увеличивал по мере надобности, он был в то же время суеверен, посещал сомнамбул, верил в карточные предсказания.

В том же самом парадоксальном состоянии ума, которое побуждало его читать лубочные романы, *Ника Картера* или *Коршуна Сиерры*, он разглядывая какую-нибудь хромофотографию, говорил:

— Это, пожалуй, лучше Сезанна?

А на второй раз он уже утверждал:

— Это несомненно лучше Сезанна!

Так вел он игру с сомнениями, с хаосом, со здравым смыслом, с абсурдом.

Живописная головоломка создавала надежды. Шел поток выдумок. Появилась толпа конструкторов, изобретате-

лей. Вечером ложились спать, а утром подымались с изобретениями всякого рода, при помощи старых обломков. Была пущены в ход все трюки, все системы, чтобы создать-де истинную природу, на подобие того как безголовый певец возлагает надежды на удаление миндалевидных желез или на постановку искусственных голосовых связок.

Как-то раз Гильом Аполлинар, показывая мне холст, на котором параллелепеды пересекались с синими и желтыми квадратами, пройденными густым лаком, произнес:

— Сестры Бариссон!

О, этот смех Гильома Аполлинера — смех ребенка, выкидывающего озорство и не знающего, будут ли на него сердиться!

Он поощрял всем авторитетом, который у него уже появился и продолжал расти, самую сумасшедшую чепуху, самые худшие претенциозности и объявлял значительными каких-то жалких индивидуумов, сфабрикованных из разлетевшегося по ветру дерьма папаши Юбю.

Если чем он и был силен, так это ловкостью, с какой он разыгрывал все эти фантазии — ловкостью эквилибриста и учителя чарльстона, выдумавшего фигуры, которые один он может исполнить. Поощряемый, подталкиваемый лестью всех тех, которые в эту эпоху смуты надеялись извлечь для себя выгоды, — сейчас или в будущем, — равно как тех, которые рассчитывали под таким прикрытием получить для себя клочок известности и материальных благ, — он стал в подлинном смысле тем столбом, который поддерживал все кубистическое здание. Я думаю, что дойдя до этой стадии, он и сам уже не слишком ясно отдавал себе отчет,

действительно ли это его занимает или у него попросту кружится голова на вершине той Вавилонской башни, в которую превратилось французское искусство.

2 августа 1914 года я был у него на бульваре Сен-Жермен. Война не поразила его,

— Война будет длиться три года, — сказал он мне, — и самое лучшее — это быть солдатом!

Я снова увидел Аполлинера в апреле 1918 года. Я констатировал у него более реалистический образ мыслей. Он смеялся над всем, о чем я ему напоминал. Он смеялся над собой, смеялся над неразберихой, дурманом, охватившим умы, словно никаких последствий отсюда не должно произойти, и придавал всему этому не больше значения, чем неуплаченным долгам в кабачках, или блюдам, которые он приготовил себе на вечер к обеду: груши в горчице, одуванчики в одеколоне.

Он забыл, что это он способствовал тому, что всякого рода непонятность стала оплачиваться какой-то добавочной стоимостью, он сделал на время язык мысли в искусстве темным, он дал позу гения бессилию.

У меня сейчас перед глазами две строчки, написанные Аполлинером.

— «Художник такой-то — самый *изумительный* живописец нашей эпохи».

«Из цельного дуба»!..

Не из тростника ли, скорее?..

Я никогда не пытаюсь понять причины, заставляющие меня любить лицо, деревню, картину, книгу, предмет.

Я иногда завтракаю в одном кабаке, на берегах Уазы. На стенах его нарисованы виды местности. Художник, расписавший залу — инвалид, получивший увечье на работе «Компании массового транспорта». Ему отрезало одну ногу трамваем, и теперь он проводит время в занятиях живописью. Он вкладывает в это дело все сердце и много тщательности. Оттенки проработаны, подробности нанесены тщательно, как точки над «и». Мне кажется, будто завтрак мой происходит на свежем воздухе.

Полотно железной дороги для небольшой деревни — то же, что рана для человеческого организма: зияющее отверстие, через которое проникает инфекция. Эту роль выполняют: завод, загрязняющий речку и убивающий рыбу, газеты, создающие общественное мнение, преискусурат и отделение универсального магазина, — все то, что гонит в небытие нравы и облик места.

Каждый человек, появляясь на свет, приносит с собой свой собственный строй, особый ритм, черты, характерные для его индивидуальности. На этих различиях основана антропометрическая система доктора Бертийона.

Тенденции современности направлены на унификацию, на умаление личного «я», на единообразие. Они руководствуются эстетикой садоводов, которые подстригают, подправляют деревья и выравнивают бегонии. Они стремятся дисциплинировать индивидуальность, как командир полка старается перемолоть упрямецв. Надо обладать большим мужеством, чтобы повиноваться своему

инстинкту, чем для того, чтобы умереть героем на поле битвы.

Творчество художника является высшим проявлением его внутренней жизни. Школа, академия это — исправительные заведения, которые разрушают личность в угоду типизированному искусству. Одни не могут ни на что смотреть иначе, как глазами примерного ученика, другие — сквозь призму того, что они прочли или заучили, третьи — сквозь «литературу». Есть такие, которым нужны очки, чтобы перелистывать старые книги, старые формулы, есть и такие, которые слепы и смотрят глазами мертвецов.

Каждый человек обладает стилем своего лица. Бессилие разукрашивает себя разными словесами. Человек хилый, калека рассчитывает на искусство портного, чтобы исправить несовершенства своего сложения.

Когда Сезанн говорил: «Надо делать Пуссена по живой природе», Сезанн только перегруппировывал традиционные факторы. В действительности же надо обладать пуссеновской душевной чистотой и простотой перед природой.

Одна женщина, которая меняла мужей в течение целых двадцати лет жизни, сказала мне как-то, в час запоздалых сожалений: теперь, когда я так хорошо знаю жизнь и мужчин, я хотела бы вернуть свою девственность.

Живопись Сезанна — это искусство раскаявшегося грешника. Он всю свою жизнь рисовал с усердием и угрызениями совести грешника, который надеется в молитве

обрести отпущение. Полагал ли он, что вернет себе девственность при помощи науки? Удалось ли ему это?

Святой, пока он жив, всегда смешон. Двадцать лет назад Руссо, Таможенник, был бедным человеком. В «Салонах независимых» он бывал общей радостью, подобно тому как рождественский дед составляет радость детей. В этом состояла вся его слава.

Руссо носил свои полотна к Воллару совершенно так же, как пекарь относит хлеб или огородник — картофель. Он ничего не утаивал ни в своем искусстве, ни в своей жизни. Он всем доверял свою радость, свои незадачи, письма невесты и ключ от шкафа. Руссо был не классиком, а великолепным невеждой. Педантично честный, он не оставил после себя ни одного долга. Мастера прошлого и современники не могут предъявить ему счета. Ни Греко, ни Пуссен, ни Коро, ни Ренуар, ни Сезанн. Если он кое-что должен, так это иллюстрациям «Petit Journal illustré», учебнику естественной истории для начальных школ или альбому ботаники. Он очень любил академика живописи Бугро и говорил о нем с восхищением, не зная границ. Это был для него величайший из художников, и никто не мог идти в сравнение с ним. Рядом с Руссо, Сезанн — хитрюга.

В искусстве всегда излишне мудствуешь. Решимость быть самим собой нужнее всяких поз. Легче памятовать о великих мастерах, нежели их забыть.

На выставке «Независимых» в 1906 году смешливая публика держалась за бока перед полотнами Анри Руссо. Он же, ясный, укутавшись в старенькое пальтецо, плавал в блаженстве.

Он до такой степени отдавал всего себя своей живописи, с таким рвением стремился, чтобы она была равна ему самому, что ни на минуту ему и в голову не могло прийти, что эти взрывы смеха относились к нему.

Когда я пишу или говорю: «я никогда не хожу в музеи», — я лгу. Я лгу совершенно по тем же самым причинам, которые заставляют меня говорить: «я никогда не хожу в публичные дома!»

Во время эры кубизма, эры, длившейся целое десятилетие, — что оставалось делать? Что можно было отвечать всем этим фанфаронам науки? Надо было быть по меньшей мере или Фламарионом или Пуанкаре, чтобы противостать столь солидным ученым. Мне хотелось иногда реветь или, что то же, хохотать, но я просто говорил: я ведь не умею ни писать, ни читать.

Я ходил в музеи так же, как ходил в публичные дома, но никогда я не «садился в седло».

Однажды в ресторане «Доброго Козла», тому назад лет пятнадцать, два художника вели между собой беседу. Оба они были сифилитиками, хвастались этим и говорили о женщинах и связях. Один из этих адептов «606»^{*} сказал, глядя на меня:

— Всякий, кто не болен сифилисом, — дерьмо собачье...

Я ответил:

— Предпочитаю быть дерьмом...

^{*} Препарат для лечения сифилиса (сальварсан). — *М. В. Толмачёв.*

Сейчас обоих уже нет в живых.

Но так как кубизм не имеет таких смертоносных свойств, как сифилис, не все его адепты умерли, а пережившие ныне божатся Пуссенем, Коро, Энгром. И вот я продолжаю говорить: я не знаю музеев. Стану ли я читать лекции, чтобы объяснять, что музеи существуют для того, чтобы показывать нарождающимся поколениям, чего следует им остерегаться, дабы не начать делать того, что уже сделано?

— Я вынужден заставить тебя немного подождать, — говорит мне друг, — ты извинишь меня. Княгиня должна приехать к кофе. Она хочет познакомиться с тобой.

Княгиня? Это целый мир сплетен, комплекс хаоса, самое характеристическое, что есть в ультрасовременном Париже. Это сверхпродукт эстетики, доведенный до крайнего предела, это пароксизм формулы «Искусство для искусства».

Родившись в Праге, она провела жизнь в России, в Вене, в Польше. Она обожала Италию и окончательно во дворилась в Париже. Во всех четырех концах света она испробовала, — как сама говорила, — что-либо редкое, незнакомое.

Ее возраст? Один из близких ей людей сказал мне:

— У микробов нет возраста... они владеют и над временем... и над пространством...

Близясь к своему закату, она была охвачена ревностью, породившей желание унижить, разрушить все, что просто и здорово. Она презирала материнство.

— Поглядите, — сказала она мне, указывая на двух женщин, одна из которых несла на руках грудного младенца, а другая пыталась успокоить очаровательную девчурку, испускавшую какие-то животные крики, — поглядите на этих несчастных, что за существование! Дети?.. Надо было бы предоставить их производство прислуге! Женщина, имеющая детей — ни черта не стоит!

Я угадывал в ней ярость, рожденную тем, что она осталась без любви, без ребенка, без чего-либо ей одной принадлежащего. Так как ее жизнь была только кладбищем мечтаний, она занималась тем, что разрушала супружескую жизнь, подсовывая любовника одной, любовницу — другому, дабы создать непоправимую трещину. Понимая, что она ошибалась раньше, что она ошибается еще и теперь, она не прощала никому ни малейшей чистой радости. И из гордости, не желая уступить, она выказывала людям то презрение, какое бывает у пропойцы к тем, кто не пьет.

Проведя целую четверть жизни в роскошных стенах всех столиц, в музеях, среди обломков старого континента, она была теперь одинокой, исполненной яда и мечущейся из стороны в сторону.

Почему вызывала она у меня в памяти Ненетту и Ринтантина, этих двух марионеток, изобретенных войной, непристойных, порожденных садическим и суеверным воображением? Она искала любви в каких-то мимолетных соединениях на ходу, она считала, что знает народ, ибо общалась с какими-то великими князьями, и понимает искусство, ибо в ней было какое-то умственное бесстыдство.

— Вы путешествовали? — спросила она меня. — Знаете вы Италию, Венецию?

— Нет!

— Но вы, следовательно, ровно ничего не знаете! Вы что-то вроде крестьянина! Больше того, какой-то горец! О! Италия, это обрамление Искусства! Любви! это — феерия! это — нечто безумное... Когда Везувий изрыгает потоки лавы, когда, на закате солнца, вы слышите горячий голос неаполитанского певца!.. Кажется, точно вы живете во сне! Это хватает вас за живое, перевортывает все нутро!

Венеция? О, да, Венеция... Мне показал Венецию Мишель-Жорж-Мишель-Жорж-Мишель-Жорж и т.д. ... и Зим. И еще другие, и всякие иные... все и вся, в том числе и цветные открытки, и молодожены.

— Поедем ко мне, — продолжала она, — поглядеть на живопись!

Меня отнюдь не удивили персидские миниатюры, увеличенные и искаженные, которые украшали стены.

— Последите, какие сочетания, какая гармония, какая изобретательность!!!

Я увидел разные другие работы, где были применены все ученые материалы: геометрические чертежи, астрономические фотографии, скульптуры, сделанные при помощи домино. Целый мир искусства небольших изобретений для конкурса имени Лепина.

— Предмет? Но, милейший, предмет — это дело маленькое. Предмет? Вас должно интересовать не то, что здесь изображено, но только то, что это вам внушает, что это в

вас вызывает, чем это окружает вас! А вы все еще держитесь за предмет? Бог мой, какой вы еще мужлан, как вы грубы, мало артистичны... Я, собственно, отчасти предполагаю это, когда видела вашу живопись до знакомства с вами.

Я приснул со смеху! Как раз накануне один из друзей непременно желал пригласить меня отзавтракать с ним, чтобы дегустировать, видите ли, сусло. Я же чувствую к суслу неодолимое отвращение. И вот, чтобы убедить меня в том, что я ошибаюсь, мой друг то и дело повторял:

— Но, старина, сусло — это дело маленькое! Если его хорошенько приготовить, то самое восхитительное это — приправа!..

Когда я простился с княгиней, я внушал уже ей сожаление.

В сопровождении друга я вхожу в магазин фонографов. Я знаю одну из продавщиц, которая, с очаровательной грацией, заводит для клиентов фокстроты или сонаты Бетховена. Она прелестно одета в короткое платье, цельное и строгое. Ее волосы, точно так же, настолько коротки, насколько это возможно. Она сильно изумилась бы и не поверила бы мне, если бы я ей сказал, что эта мода на бритые затылки была пущена в ход перед войной в «Ротонде» на Монпарнасе двумя славянками, афишировавшими свои мужские склонности к слабому полу. Моя маленькая продавщица повертывается к нам спиной. Она ищет какой-то диск. Я гляжу на этот мальчишеский затылок и инстинктивно мне на губы приходят имена: Жан,

Андре, Альфред. Она так хорошо передает мужскую манеру держаться, что в ней появляется юношеская легкость школьников из училища имени Шанталь или лицея имени Кондорсе.

Мой друг погружен в слушание классиков. Он — артист. Подлинный. Музыкант. На нем широкополая шляпа. У него длинные, вьющиеся волосы. Он слушает мелодии Шуберта с мечтательным взглядом и сентиментальной позой.

— Это ваш друг? — спрашивает меня юная продавщица с мужественным и непринужденным видом.

— Он нравится вам?

— Да... он очень красив, — говорит она с видом «знатока». Потом, простодушно, она прибавляет:

— У него такие прекрасные волосы!*

1930

* Последние главки в переводе А.М. Эфросом опущены. — М. В. Толмачёв.

ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАПАДЕ*

Введение

Нуждаются ли в комментариях эти страницы стихов? Или достаточно немногих примечаний к эпохе, именам и темам? Уже прошла, большая и траурная, дата — 1-е августа 1924 года; в вечность отошло целое десятилетие с начала мировой войны. Но наше потрясенное поколение все так же ясно хранит память о пережитом. Окопная жизнь человечества еще полна для нас остроты только что перенесенного страдания. Нам интимно знакомо все: лабиринты траншей; гниение госпиталей; отравленные туманы газов; гигантские гусеницы танков; аэропланнские стаи; щупальцы прожекторов; прекрасные человеческие тела — мертвые; ужасные людские обрубки — живущие; земля, колющаяся железом; города, сквозящие дырами; неизмеримая кровь; неисчислимы слезы; отчаяние, вскипающее революцией; красные флаги, расплескавшиеся по окопам и городам; тысячи, тысячи, тысячи людей, сливающиеся в огромное, освобождающее себя единство; и медленно встающая, кровавая заря новой эры... Каждый образ, каждый намек в этой поэзии мы можем раскрыть сами,

* По отдельному изданию 1926 г. с последующей авторской правкой. — *М.В. Толмачев.*

без чьей-либо помощи. Мы слышим всякий ее ритмический ход; нам понятен любой строй ее чувств.

Одна девушка, слушая речь Ленина, сказала мне: «Когда Ленин говорит, кажется, будто это я сама себе говорю». Так мы читаем эти стихи, словно дневник, написанный нашей собственной рукой. Эта поэзия впервые, на протяжении нескольких сот лет, со времени Крестьянских войн и Реформации, может быть снова названа поэзией Анонима, поэзией глухих людских масс, поэзией, не имеющей автора, хотя под каждым ее стихом можно было бы подписать имя его физического создателя.

Еще у порога войны современный писатель считал долгом своей литературной чести ни на кого не походить. Он был свирепым индивидуалистом по жизнеощущению и по традиции. Но теперь, среди войны, из войны, в это страшное десятилетие, он заговорил каким-то общим голосом. Это был, так сказать, средний, родовой звук человеческой гортани, «cause commune», «общее дело» — как обозначали французы свою сторону в войне — распространило свои нивелирующие свойства и на поэзию этих лет. Один из западных ученых, Виллиам Кон, исследовавший проблему стиля дальневосточного искусства, отметил, как нечто наиболее поразительное для европейского культурного сознания, что художник Дальнего Востока антииндивидуалистичен. Он хочет делать так, как делали прежние поколения. Художник Китая и художник Японии видит свое высшее удовлетворение в том, чтобы его не узнали и не отличили от учителя. — Священный, оправданный плагиат антииндивидуалистического мирозерцания. Тысяча девятьсот четырнадцатый год надви-

нул на европейскую поэзию эту безымянность совершенно так же, как серо-желтым шлемом и серо-желтым сукном он обезличил воюющее человечество.

Этому отнюдь не следует придавать лишь иносказательный и условный характер, привычный для писательского пера. Судить так, значило бы забыть действительную жизнь нашей войны. Безымянная поэзия! Она в самом деле была такой в эту пору. Она была рождена неизвестными людьми, носившими имена, неведомые ни литературе, ни читателям.

Из окопной дыры раздавался голос, потрясенный и взволнованный смертью, и в окопной дыре снова затихал. Чей он? — Неуместное и бесплодное любопытство! Голос окопных миллионов, а не имярека столичной литературы. Имяреки печатали стихи о войне прекрасной печатью, лучшими шрифтами, на лучшей бумаге; имяреки носили прославленные имена Клоделя, Жамма, Ростана, Сюареса, Поля Фора или графини де Ноайль, — с аналогиями, немецкими, от Демеля до Лиссауэра, или итальянскими, от д'Аннунцио до Соффичи. А тут были настоящие, действительные безыменцы. Их стихи записывались на клочках бумаги, испятненной дождем, траншейной грязью, — я бы сказал «и кровью», если бы эта боевая действительность не звучала так риторично. Их стихи ползли по окопам, жгли сердца, подтачивали, подкапывали, разъедали войну и уходили в небытие, уничтожаясь вместе с листом, вместе с солдатом, носившим их в походной сумке. — То, что уцелело, что издано, — какую малую долю большой «поэзии траншей» оно составляет! Памятник, воздвигнутый в Париже «Неведомому солдату» — этот символ скорби по

всем безвестно погибшим — покрыл собой и поэзию Неведомого поэта.

Часто ставят вопрос о ее качественности; говорят о ее недостаточной художественности. Я не знаю, слабее ли она формально, нежели то, что было написано о войне признанными поэтами, — поэтами по призванию и по профессии. Но я думаю, что муза Верхарна была раздавлена колесницей войны раньше, чем сам он так ужасно погиб под колесами поезда. Я думаю, что «le soufflet de la France» («пощечина от имени Франции»), которую прокламирует в «Poèmes de France» «au monstrueux général, baron von Plattenberg» («чудовищному генералу, барону фон Платтенбергу»), принц поэтов, Поль Фор, забагровела, увы! на его же поэзии. Я думаю, что риторика Ростана в сюите его военных сонетов, и, прежде всего, в «Jour des morts» («Дне поминовения мертвых») может достойно соперничать со знаменитой «улыбкой президента республики», Раймона Пуанкаре, среди братских могил жертв войны. Я думаю, что Рихард Демель унизил свою тяжеловесную, но когда-то человеческую патетику, пулеметным пафосом своих военных песен. Я думаю, что знаменитый гимн Лиссауэра это — вой шакальей пасти; что военно-стихотворное бешенство Маринетти подлежит ведению не литературы, а медицины; что «1914 год» тогдашнего Сергея Городецкого есть «кузьма-крючковство», убившее небольшой, но в то время еще свежий талант. Я даже решаюсь думать, что «Poèmes de guerre» («Поэмы о войне») — эти судейские тяжбы с Господом-Богом, эти приходо-расходные росписи доблестям, грехам и возмездиям — далеко не на высоте ве-

ликолепного и глубокого дарования Поля Клоделя. И я думаю, что знаю (так как это знает сейчас каждый писатель), отчего лишь щепоткой пыли, лишь серым катышком стало творчество лучших поэтов в эти годы испытания, когда их голос мог звучать особенно сурово и веско.

Они не сумели хотя бы помолчать. Они вдыхали пар человеческой крови, соперничавшей с дождями в орошении земли, — и пьянели. Они пифически славил и освящали то, что было ужасом и позором человечества. Следом за ними, по их примеру, младшая братия прошла по литературе ордой. Она была уже растлена. Она плясала среди трупов. Никогда поэзия не произносила более бесстыдных слов и не делала более отвратительных жестов. Среди боевой лирики древних монгольских князьков нет равного тому, что было написано за первую половину войны, за трехлетие 1914—1916 годов. Эта поэзия поторопилась увековечить себя. Уже в начале 1915 года стали выплывать в свет антологии и сборники «Poètes de la Guerre» и «Kriegsdichtungen», — спустя всего несколько месяцев после объявления войны. Там заботливо запечатлены эти кроваво-сентиментальные гимны «Пушкам, цветами увенчанным», эти безумные акафисты «Au 75» — семидесятипятимиллиметровым орудиям, эти псалмы, радующиеся гниению вражеских трупов, эти изощренные издевательства над национальным, физическим обликом противника, — и прочее, и прочее, рожденное развратной и поощряемой к разврату фантазией! Это был литературный алкоголь, который спаивали солдатскую массу. Листки, сборники, книжечки стихов засыпали траншеи. На каждом сол-

дате они были такой же неизбежной принадлежностью, как окопные вши. На русском фронте — я помню — на каждом убитом, на каждом пленном немце мы находили какую-нибудь «Dein Fahnezeitung» («Твою присягу») или барабанную «Sie gehen nicht durch!» («Враги не пройдут!»).

И вот среди этой-то кровавой мути поднялась Песнь против Великого Преступления. Таково было заглавие второй из книг П.-Ж. Жува: «Le chant contre le Grand Crime», — Великое Преступление! Поэзия Великого Преступления, — да, так нужно назвать настоящую поэзию войны, поэзию «войны солдат», поэзию безвестных поэтов, решившихся бросить свой еще неведомый, невнятный, глухой, окопный голос против риторики смерти, созданной командорами литературы.

Первая же книга называлась простодушно и прямолинейно: «Vous êtes des Hommes!» («Ведь вы же Люди!»). Это был крик в ночи о человеке и человечности. С тех пор прошли годы, много лет, десятилетие, но нельзя без волнения читать ее строфы. То не был еще колокол «Проклятых годов» («Temps maudits») Мартине; то был лишь простой крик отчаяния скромного, но потрясенного человека. Однако, история запомнит имя этого «poète inconnu», нашедшего впервые слова мужественной правды о войне. «Vous êtes des Hommes» П.-Ж. Жува была *первой книгой* поэзии (1915), написанной *против войны*. Ее голос был голосом каждого: — «Я ведь только песчинка, только некто Европы, — но когда молчат даже могучие горла, как же не крикнуть мне о нашей общей боли!?!» («Европе»).

Это означало, что политический лозунг «Долой войну» становился простым, внутренним, обиходным лозунгом. Самые дешевые слова — «человек, человечество», «человечность» — теперь неожиданно стали самыми драгоценными. Они были опять извлечены на свет, — нет, они были как бы впервые открыты! Их несли такими бережными руками, словно это было что-то страшно хрупкое и не выносящее крепкого прикосновения. Но в заглавиях книг, в строках стихов, они стояли уже прочно и тяжело, точно слова варварской свежести, — многопудовые камни среди легкой стройки. Что же! у них был вес всей пролитой на войне крови.

«Hommes, Humanité», — «Mensch», «Menschheit», — перекликались из окопов поэты. Были сделаны поразительные открытия. Оказалось, что у врага есть человеческое сердце, что враг врагу может сказать: «Товарищ!». «Le coeur de l'ennemi», «Kameraden der Menschheit» называли себя сборники этой поэзии, посвященные братанию солдатских масс обеих линий.

«Поэты Германии, — о вы, незнакомые братья...», гудел колокол *Мартине*.

«Брат, я услышал твой крик...», отзывались немецкие строфы *Карла Оттена*.

«Я пою для вас, о, народы, о, исконные соперники на единой земле, где так легко было бы жить вам единой жизнью...», плыла над траншеями песнь *Жува*.

«Сердце мое велико, как слияние Германии и Франции!», шли навстречу стихи *Вильгельма Клемма*. — Поэтический центр был перемещен. Магистраль проходила те-

перь здесь. Официальные мастера были отодвинуты. Военная риторика выветрилась. Поэт, который носил в себе будущее, уходил сюда. Сюда пришли *Дюамель, Ромен, Вильд-рак, Шенневьер*; здесь сошлись *Цвейг, Газенклевер, Верфель*. Писательский интернационал — «Clarté» тех лет — начал вновь соединять разобщенную культуру Европы. Кровавому романтизму, воспевавшему смерть «маленького сен-сирца» Алена де Файоля, пошедшего в атаку в белых перчатках и с султаном на кепи («...Ganté de blanc Fayolle a remis son panache» — Э. Ростан; «Tu mis à ton képi ton plumet do Saint-Суг» — Р. Бертон) — ныне противостояло короткое и тяжелое слово: *правда*. — Правда о войне, война, как она есть: «De la mort, des haillons, de la grasse... voilà. C'est sale et triste!» — «Смерть, нечистоты, лохмотья... вот она. Это грязно и грустно!» (Henri Jacques, «Nous de la guerre...» — Анри Жак, «Мы, воюющие...») — поистине *солдатская* формула войны в поэзии, формула бессмысленности страданий и смерти миллионов.

Однако, эта бессмысленность продолжалась еще целое трехлетие. Писатели и поэты были только *нацифистами*. Благородная проповедь *Ромена Роллана* о мире, немедленном и братском, была для них определительным образцом. Поднять революцию против войны, убить войну революцией — означало для большинства из них лишь смену одной войны другой войной. Они же хотели мира, только мира. Но ведь мир пришел в кровавом версальском обличье; война продолжалась. Она только изменила маску. Как могли они, умевшие взять себе героем уже не Алена де Файоля, а Карла Либкнехта, и славившие его «великое красное

слово «нет!», принять *такой* мир? — Они любили Либкнехта, восставшего против военных кредитов, но не Либкнехта, ведущего на баррикады. Мир, пусть версальский, убрал с их глаз ежедневную повинность смерти. Этого было для них достаточно. Людская масса — номерные существа номерных полков — расслаивалась. Каждому возвращалась его индивидуальная жизнь. Окопный незнакомец становился поэтом среди поэтов, продолжая профессиональное существование писателя, или умолкал вовсе, заняв место за бюро в банке и за прилавком в магазине. Его линия, начатая в траншее, обрывалась. Оставались продолжать дело немногие. Но они должны были стать теперь уже политиками, партийцами, людьми социального дела. С жизненной неизбежностью это отодвигало у них поэтическое творчество на задний план. «Теперь тебе не до стихов...», по-тютчевски вынуждены были говорить они. Их поэзия, их проза набегали лишь от случая к случаю. Этот случай мог иногда разрастись в короткую революцию, как в ноябрьской Германии 1919 года, и тогда поднималась поэтическая волна, вынося *Бехеров, Толлеров, Бартелей, Мюзамов*. Но он мог и заставлять себя ждать год за годом, и тогда волна опадала совсем, превращая поэтов и беллетристов даже в политиков чистого типа: тому примером — Анри Барбюс. Таково положение на Западе теперь. Там есть стихи революционеров, но нет революционной поэзии. Это следствие очень короткой и очень смешной истины: чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь зайца.

Мечтающие обращают глаза на Восток, к нам: «Im Osten wächst das Licht... Die goldene Sichel! Und der goldene

Hammer!» (И. Бехер) — «С Востока брезжит свет... О, серп златой! И ты, златой мой молот!..»

Для этих немногих наша революция стала обязательной темой. *Мартине, Бехер, Шенневьер, Мюзам, Пиош, Бартель, Гильбо* поэтически приветствовали ее. Иначе и не могло быть, раз они продолжали судить о настоящем и думать о будущем. Октябрьский переворот был критерием для одного и залогом для второго. Правда, из своего далека они восприняли русскую революцию несколько упрощенно и однообразно. Ее трагической сложности и ее напряжения они так и не разглядели. Мы даже чуть-чуть улыбаемся, читая эти прямодушные стихи... Среди нашей огромной и трудной действительности они звучат немного наивно и простовато. Революция отражена ими слишком, я бы сказал, маршеобразно. У одних — это барабанный бой и «ура!» (Мюзам, Бартель); у других — барабанный бой и «бей!» (Бехер); у третьих — барабанный бой и «на молитву!» (Мартине); у четвертых — негативная разновидность того же характера, своего рода «похоронный марш» (Шенневьер). В этом упрощенстве есть даже что-то от традиционной «развесистой клюквы». Это, по-видимому, вообще свойственно каждой попытке дать русский колорит. От «полярного сияния», освещающего Россию у Мартине, до припева «*dorogaja!*» («дорогая!»), почему-то приглянувшегося Бартелю, по всей группе этих стихов разбросаны клюковки. Даже Анри Гильбо, написавший, в конце концов, лучшую поэму о России 1919—20 годов, не избежал этого, хотя он долго жил тогда среди нас, видел все, знал всех, побывал всюду, и к его клейкой памяти журналиста и поли-

тика пристали с убедительной точностью детали советского быта и советской Москвы тех лет. Но ему, в «Kras Kremle»'е, оказались дороги эти «valenki», «papirossi», «blini», «vodka», «Wassili le dwornik» («валенки», «папиросы», «блины», «водка», «Василий-дворник») и т. п., точно это является пломбой, гарантирующей читателям настоящее качество предлагаемого изделия.

Но, если мы и улыбаемся, то незлобиво. Эти слабые и смешные черты легко стираются страстным товарищеским пафосом, огромным сочувствием нашей стране, затопляющим эту поэзию. Оно переплавляет и очищает все. Оно настойчиво напоминает читателю, что это вовсе не «только литература». Как и поэзия окопов, это прежде всего — поэзия *дела*. В годы ненависти и клеветы, давления оружием и измором, печатать *urbi et orbi* поэтическую хвалу и защиту русской революции — значило реально бороться на ее стороне. *Марсель Мартине*, бывший и здесь *первым*, это понимал. Он высказал это во всеулышание с обычной прямотой и ясностью. Последние стихи его «Проклятых годов» уже смешивались с песнями, которыми он приветствовал революцию в России. Книжечка 1920 года, где он собрал их, так и называлась «Pour la Russie». Для Запада в то время это значило: «За Советскую Россию». Это была настоящая кампания помощи, массовая агитация. На заглавном листе брошюрки стояло: «Читайте и передавайте другим». Книжечка стоила десять сантимов — одну копейку на наши деньги. На ее издательской марке, с лозунгом «мир народам», была изображена рука, поднимающая сломанное надвое ружье. Мартине учил

публицистикой своего предисловия и стихами своих поэм, что судьба русской революции есть судьба трудящихся всего мира: «Если мировой империализм раздавит Россию, история назовет нашу страну убийцей русской революции... У женщин там нет молока, дети погибают от холода и голода, ибо мужчинам там есть лишь одна работа: защищать революцию против ваших нападений. Кровь лежит на деньгах, которые вы приносите домой. Поглядите на детей и жен; когда там, в России, люди будут побеждены вами, и ваш час будет уже недалог».

Здесь говорил общий голос этой «Советской поэзии Запада». То же самое, почти теми же словами, писал *Шенневьер* в «Poème pour un enfant russe» («Поэма о русском ребенке»); она тоже была выпущена в виде массовой листовки, в издательстве «Fêtes du peuple», в 1919 году; а в Германии молодой Бехер и старик Мюзам бурно состязались пламенностью, прямолинейностью и безоглядностью своих призывов и лозунгов.

Шли труднейшие годы русской революции. Она была в критическом зените. Каждая крупница была на счету. Поэты Запада бросили и свою долю на весы. Это нужно знать. Переводы их песен и раздумий — запоздавшая и малая выплата нашего общего исторического долга им.

А. Э.

П. - Ж. ЖУВ

Европа

(Фрагмент)

Песнь Европе!
Петь о Европе! За Европу надеяться! —
Я ведь только песчинка, только Некто Европы,
Но, когда безмолвствуют даже могучие горла,
Как же не крикнуть мне о нашей общей боли,
Как же не отпустить мне на свободу душу —
Горделивую и жалкую — живущих и умерших?

*

Как пловец нерасчетливый, о скалы брошенный валом,
На миг измерив море, в ослепленьи поет еще, —
Так и я пою песнь за вас, о, народы,
О, други, милые нашим взорам и мыслям.
Я пришел в эту жизнь, чтобы отдать вам сердце, —
Вам исконным соперникам на едином пространстве,
Где так просто жилось бы единой жизнью
На единой земле, столь счастливо очерченной,
Омываемой морями, в равновесии солнца и холода,
Искони покоренной, искони обработанной,
Великоволшебницы, ясноглазой Европы!

*

Я вас всех обниму чарованием песни,
Свободней, чем ветер на ваших взморьях,
Слышнее, чем гул в ваших столицах,
Могучей, чем грохот ваших пушек, —
О, народы России, Франции, Германии или Англии,
К которым сопричислю я все другие народы,
Мирно-свободные среди здоровой жизни.

*

О, народы, народы любимые!
Слушайте не язык мой, но этот звук моей песни,
Не французской или немецкой, но иной, несравненно
прекраснейшей,
Не обводите стенами этой великой и честной песни,
Затем, что она возникла в едином горниле народов:
Я слышу ее на Кавказе и на ледяных равнинах Пруссии,
И слышу ее в Париже — голоса единичные, смутные,
И слышу ее на море — ее поет матрос со своей мачты,
Поют под солнцем Голландии и поют
под солнцем Испании,
До многомошных водопадов Америки
эта песнь течет и ширится.

*

— Для чего ж задавать вам вопросы
и к чему вам еще противиться?

*

Я вижу Россию, ее товарищескую спаянность,
Ее волю к жертвам и волю к властительству,
Ее душу стремительную и покорную —
Она раскинулась на двух материках
И все же тянется дальше, к Востоку.

*

И я вижу Францию (я о ней говорю, как дитя ее),
Раскаленную пламенем традиции и пламенем
всех новаторств,
Мужественную в борьбе и, однако же, разъединенную,
Робкую, нерешительную, страдающую,
но вечно могучую, —
О, моя родина, Франция, первородная дочь Революции!

*

Я вижу их всех сегодня, эти великие, старые народы,
Распаленные человеческой подлостью
и человеческим бесчестьем,
Гнущиеся под их тяжестью,
как человек раздавленный горем:
Но, увы, ни один не поступился
своей великой жадностью,
Ни один, увы, не оставил властного соперничества,
Ни один, увы, не вспомнил
о любви простой и человеческой.

Мобилизация взяла молодых.
Мобилизация взяла стариков.

Мобилизация взяла также
Чахоточных и хромых.

Мобилизация цепкой рукой
Взяла даже юнцов.

Терпеньё! На фронтах армий
Голод еще не утолен.
Есть еще дети и женщины!

Слабеют деревни Европы.
Понемногу они рedeют.
По их плоти пошли завалы,
Пролежни — здесь и там, и дальше.

— Солнце греет все те же стены!
Всходит запах античного пламени
В шуме листьев и жужжании мошек.

Но этот треск!
Крыша, прогнувшаяся
Под дырой, под неожиданной пробоиной.
Жилище, внезапно осевшее
Над местом человека, только что убитого.

Слишком много скопилось жизни
В деревнях, слишком тучных плотью!
Терпенье! Скоро останутся
Лишь пустыри, рябые от гнили.

2

Европа! Я не приемлю
Твоей смерти в этом безумьи.
Европа! Я кричу им,
Что они еще услышат тебя, убийцы!

Европа! Они затыкают
Нам рот, и все же наш голос
Пробивается всюду, словно трава сквозь камни.

Пусть они грохочут, —
Я им тихо напомню
Тысячу людских радостей,

Пусть они злодействуют —
Я останусь хранителем
Немногих людских вещей.

М. МАРТИНЕ

Поэты Германии, о неизвестные братья...

(Фрагмент)

Поэты Германии, о неизвестные братья,
Вы, в рядах затерявшиеся,
На равнинах, изрытых снарядами,
На бескрайних дорогах,
Среди тысяч понурых товарищей,
Среди отсталых, бессильных, озлобленных;
В безглавых лесах,
В расселинах гор,
Настороженные, вечно ждущие гибели;
В жидкой грязи траншей,
Лежа в моче и в крови,
Видя гниение трупов,
Кинутых в двадцати пяти метрах,
И днями, и днями, и днями
Слушая только смерть;
Вы, в рядах затерявшиеся,
О, одинокие,
Как и все — умирающие и страждущие,
Убивающие вместе со всеми убивающими, —
Вы глядите тоскующим взглядом, о, други мои
затерянные,
Как неслышно спускается ночь над безлюдием этих
селений,

Долой ваши адские изобретения,
Ваши газы, ваши танки, ваши мины и ваши окопы!
Проклятие вашим конструкторам, вашим инженерам,
жадным к убийству.
Проклятие шутовскому веку — идиоту машины
и фабрики.
Вот я опять пред тобою, ты открыл мне глава, взял за руку,
Ты пожимаешь ее: да, это ты — узнаю тебя!
Я им всем говорил, что ты тут и что нет больше ненависти,
Что враг, это — вымысел машины, и что лишь человек
есть истина,
Что правда — вся надежда, и правосудие еще есть в этом мире.
И что нет: Машины! Техники! Врага! Истребления!
Их надо вытравить, вытравить,
Ибо есть лишь одно — Человек!

★

Все мы бежали, все — от лесов с крылатой листвою,
И падали на колени, и в жалкую грудь себя били:
Прощенья!
Но я лишь, бедный поэт в очках, бредущий по улицам,
Но все мы, миллионы, миллионы, мучились стыдом
и раскаянием.
Поверь же нам: эти виденья, насилье,
проклятье, марево,
Эти крики, речи, клятвы, удары, ярость — мы сами:
Это — страх наш, глупость, безделье, наша подлость
и наше неверие.

И вот мы теперь не знаем, куда пролегает наш путь,
И что есть утро и вечер, и что есть вчера и сегодня,

Нас гонит безумье позора.

О, братская длань, укажи мне

Дорогу к тебе!

О, братское око, проведи меня

Сквозь эту ночь!

О, братское сердце, прозвени мне

Свободу вновь!

О, братская длань, подай мне

Скорей сигнал!

Скажи, когда зазвучит нам Твое слово, Твоя вечная песня?

Ибо мы ждем, что настанет час, и все армии, братья и дети,

Наконец, познают друг друга и откроют друг другу

объятия,

И будет из их сердец навеки исторгнут враг.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР

Солдаты

Мне не забыть потухших лиц товарищей моих,

Когда на площадях казарм дрессировали их.

Их взгляд ослеп, их волю гнет война четвертый год,

Уже в них умер человек, и скоро жизнь умрет.

Ах, даже девки в кабаках портовых городов
Сквозь слой румян блеснут порой улыбкой милых слов.

Но неподвижен мертвый смех товарищей моих.
О Бог! о мир! о человек! — вернется ль жизнь для них?

НОЭЛЬ ГАРНЬЕ

В траншее

Бродит старуха взад и вперед,
Тише — старуха к нам идет!

Бродит она всю ночь без сна,
Кровью безумна, шумом пьяна.

Встретит солдата — целует в рот
(Бродит старуха взад и вперед).

Мы в блиндаже залегли втроем,
Трое нас здесь, укрытых в нем.

Тише — старуха к нам идет!
Слышите — мимо она бредет,

Стольких убила и нас убьет!..

Слезла в окоп и умолкла вдруг —
Спать улеглась, свернувшись в круг,

Мертвый солдат у нее меж рук...

В стуже ночной старуха храпит,
Спит старуха, траншея спит...

Напрягши слух,
Стоит часовой, —
Не бойся! — старуха
Спит в луже гнилой.

Звякнула проволока...
Мышь из дыр
Мешка гнилого
Тащит сыр...

Спит старуха, траншея спит.

С неба бежит,
Шумя над нею,
Дождь в траншею...

★

Спите! — старуха
Рано встает...

Спите, покуда
Смерть не идет.

Режет ракета
Мрак ночной,
Падает света
Дождь золотой.

★

Трупы лежат
Без крестов и плит.
Живые спят,
Старуха спит...

★

В мерзлом окопе, в рассветный час,
Встала и трет свой круглый глаз.

Напрягши слух,
Стоит часовой, —
Держись! — старуха
Следит за тобой!

Глаз слезится,
Холодно ей:
Крови напиться
Надо скорей.

Стучит костями,
Зубами бьет,
Декабрь ветрами
И стужей льнет.

Гей, потаскуха,
Твоя пора,
Спеши, старуха,
Любить с утра!

Похоть терзает
Гнилую грудь,
Рот не знает
К кому прильнуть.

Целься смело,
Хватай быстрее —
Солдатское тело
На заре горячей!

Сквозь дождь глухой
И монотонный
Рассвет над сонной
Встает землей...

Из каждой ямы встает мольба,
В каждое сердце стучится судьба.

Земля осыпается
Под ногой,
В яму спускают там
Труп нагой...

Кто-то стонет:
«Тоска... тоска...»
Трубку уронит
Иль штык рука...

Опять она
Без сна
Рыщет,
Ищет
Любовь,
Кровь
Ищет...

День встает
Сквозь дождь упорный.
Эй, дозорный,
За кем черед?

Перед атакой

16 часов 15 минут.

Еще пять минут — и я буду там,
У разбитой стены, прижавшись к камням.

Страх, вцепившийся в руку мне,
Жизнь мою охранит в огне.

Я побегу сквозь смерть и ад,
Бедный человек и усталый солдат.

В сердце мое забившийся страх
Скроет лицо свое в руках.

Бледным, бледным стало оно
И слезами искажено.

★

Еще пять минут — и я буду там,
У разбитой степы, прижавшись к камням.

Бедный человек и усталый солдат,
Я побегу сквозь смерть и ад,

Красные руки вверх подняв,
В липкую грязь лицом упав.

★

16 часов 20 минут.

«Вперед!» — то не злобы темный крик
Из сердца нашего возник,

Не кровь и не месть у нас на устах,
Но вся любовь в простых словах, —

«Вперед!» — то сердца безумный бой
Ведет нас к смерти за собой, —

То сердце к гибели нас ведет,
Ослепнувшее от забот, —

То страх, поднявшийся во весь рост.
Стучит клюкою о погост, —

Стучит, стучит своей клюкой,
Идя тропюю гробовой, —

Чтоб в смертный миг нас обмануть
И в смертный взор весной блеснуть, —

Чтоб прежде, чем настигнет мгла,
Нас жалость за руку взяла

И нам разверзла пелену
В обетованную страну.

Ж. ДЮАМЕЛЬ

Баллада о человеке с разорванным горлом

Брат, с разорванным горлом, — молчи!
Твой взгляд мне яснее всяких слов,

С меня довольно раны твоей,
Бегущей, пульсируя, до виска,

И этих метаний твоего зрачка,
Широко раскрытого под тенью век,

И этого тела, открытого мне,
Подобно тетради, где я писал;

Я знаю его до малых ногтей,
До жестких складок этих колен,

До этих от ветра бурых ушей,
До этих венами вздутых ног.

Брат мой, пойми, — если ты дрожишь,
Как тополь под ветром, и я дрожу;

Если рвется кашель в твоей груди,
Радости нет и в моей груди;

Если хрип разрывает твою гортань,
Может ли петь моя гортань?

Если ты не в силах уснуть эту ночь,
Как же и мне уснуть эту ночь?

Так-то, о, брат мой, молчи, молчи,
Не напрягай окровавленных вен, —

Лучше лишь просто гляди мне в глаза,
Лучше лишь в сердце мое гляди,

Лучше лишь в руку мою вложи
Большую, слабую руку твою;

Бедный брат мой, молчи, молчи, —
Ты, что так много мог бы сказать!

Баллада о солдатской смерти

Он боролся целых двадцать дней,
А его мать сидела возле него.

Он боролся долго, солдат Прюнье,
Ибо мать не пускала его умереть.

Когда весть пришла к ней, что ранен он,
Из далекой провинции она собралась.

Она долго шла по гремящей земле,
Где огромная армия зарылась в грязь.

У нее редкие волосы и жесткое лицо,
И она не знает, что значит страх.

Она двенадцать яблок принесла с собой
И свежего масла, в глиняном горшке.

*

День за днями она сидит
У койки, где умирает солдат Прюнье.

Она приходит в час, когда идет стрельба,
И сидит, пока не начнется бред.

Она выходит на миг, когда говорят: «Уйди!»,
И начнут ковырять его бедную грудь.

Если б ей позволили, — она б не ушла.
Ведь не чужая рана, а сына ее!

Как же не слушать ей, как он кричит,
Пока она ждет у дверей, среди луж?

Как собака, от койки она ни на шаг,
Она уже больше не ест и не пьет, —

Не ест ее сын, солдат Прюнье,
Пожелтело масло в его горшке.

*

Руками корявыми, как корни дерев,
Она гладит худую руку его.

Она не отводит упрямых глаз
От белого лица, где струится пот.

Она видит шею в веревках вен
И слышит дыханья мокрый хрип.

Она видит все, не отводит глаз,
Сухих и жестких, как ком земли.

Она не уронит ни одной слезы,
Ибо так должна держать себя мать.

Он скажет: «Мне кашель разрывает грудь»,
А она отвечает: «Ведь я же здесь».

Он скажет: «Я думаю, мне конец»,
А она отвечает: «Не пушу, сынок».

*

Он боролся целых двадцать дней,
А его мать сидела возле него.

Так старый пловец, плывя по волнам,
Слабое держит свое дитя.

Но однажды утром изнемогла она
После бессонных двадцати ночей.

Она свесила голову на один лишь миг,
На одну минутку забылась сном.

Тогда умер быстро солдат Прюнье, —
Тихо, тихо, чтоб не проснулась мать.

В. ГАЗЕНКЛЕВЕР

Убийцы сидят в опере

Поезд разбился. Двадцать детей убито.
Летчик бомбами все в куски разнес.
Но это неважно, и это забыто —
Убийцы слушают «Кавалера роз».

Солдаты жмутся вдоль стен, как собаки.
Генерал орденами в авто проблестел.
Дезертиров, не выдержавших безумья атаки,
Именем императора ведут на расстрел.

Встань, дирижер! Вон из-за пульта!
Ты людей убиваешь, — ты весел, мясник!
О, как гулок бой предсмертного пульса
И, не правда ль, как звонок предсмертный крик?

Человек стал дешев, а хлеб стал дорог.
Офицеры фланируют взад и вперед.
Сожгли два города и сожгут еще сорок.
Из братской могилы мой труп встает.

Желтый лейтенант рычит мне в ухо:
«Молчать, свинья!» — Я тянусь по швам.
Скелет сквозь саван звякает глухо.
В могильном рассвете я сер и прям,

Поле чести меня сюда изрыгнуло.
В королевскую ложу я вхожу, как тать.
Нагих лебедей караван потянуло
Сквозь золоченые двери в фойе гулять.

Они держат в когтях кровавое сало —
Где-то бедный растерзан гренадер иль матрос.
Две тысячи ночью сегодня пало,
Убийцы слушают «Кавалера роз».

Инвалиды в отрепьях подаянья просят.
В ресторане славит войну мастодонт.
Врачи привиденьям лекарства разносят.
Толстый король уехал на фронт.

«Здесь, ваше величество, решалось сражение!», —
Фельдмаршал тычет в какую-то даль.
В награбленном серебре подают угощенье.
Золотится шампанским чужой хрусталь.

Без отдыха трудятся военные трибуналы.
Смерть ставит печати на кипы бумаг.
Спеши, дружище, — ты получишь не мало,
Если им предашь меня. Ведь я же враг!

Огромный фельдфебель с наглой рожей
Несет свою тушу, багров и строг.
Карл Либкнехт на площади еще кричит прохожим:
«Долой войну!». Его тащат в острог.

В опере герои под марши скачут.
В каменных мешках голодаем мы.
Истомленные узники стоят и плачут
У железных решеток вечной тюрьмы.

Страны поделены. Белеют кости.
Души камень дробят под звон оков.
Строят памятник жертв на мировом погосте
Рекламным столбом для всех веков.

Бьют в барабан. Его раздирают звуки.
Стала кровь — водой, и едой — отброс.
О, бедная родина, — что твои муки?
Убийцы слушают «Кавалера роз».

АНРИ ГИЛЬБО

Карл Либкнехт

В жарко наполненном, наэлектризованном зале
Канцлер держит речь, торжественный и важный:
— «Война объявлена, и мне нужны кредиты»,
И единодушно встают с мест депутаты.
Все поднимаются, и все голосуют, —
Все.
И он тоже! Молнийноглазый,
Он, как и все, вотирует, он одобряет кредиты, —
Нервной рукой, поправляя на носу нетвердые стекла.
Он, как и все, вотирует, он одобряет кредиты, —
Он тоже.

Выйдя из залы, о ждущих друзьях не думая,
Он широкими шагами идет вдоль канала,
Глядя рассеянным взором на привязанные барки,
На монотонные здания, тянущиеся в геометрическом
равнении,
На движущиеся пятна людей, бегущих по улицам.
Он идет вперед, он шагает без цели:
Он вотировал тоже, он одобрил кредиты —
Из дисциплины, из дисциплины.

Сыплются времени часы песочные,
Льется алая кровь народов,
Всюду буйствуют меч и пламя,

Всюду всходит нужда и злодейство;
Лгут газеты баснями отчаяния:
В Берлине сообщают о революции в Париже,
А в столице Франции — о смерти Либкнехта.

— «Что же я сделал, — я, сын Вильгельма?
Интернационалист? Антимилитарист?
Смертельный враг Крезю и Круппа?
Обличитель мирового разбоя?»
Он идет вперед, он шагает без цели:
Он вотировал тоже, он одобрил кредиты,
Из дисциплины, из дисциплины.

Казачи, уланы, бельгийцы, французы,
Англичане, сербы убивают друг друга,
И льется кровь, рвет железо тело,
И пылают жилища, воют дети и женщины;
А министры, дипломаты, журналисты, политики
Разъезжают в авто, спят с актрисами
И обжираются.

Он упрямо думает упрямую думу,
Его взор горит, его лоб набухает:
— Война войне!
Долой правительство,
Долой дисциплину,
Да здравствует Интернационал!
И Карл, сын Либкнехта, вскипает восстанием,
Подымает мятеж песенник возмущенья.

Лоб высоко набухает, взгляд окован сталью.
— Война войне — восстание — революция!
Брошенный, отверженный близкими даже друзьями,
Он один, один, как никто, — пусть так, пусть так,
ну, что же!

Так вновь воскрешает он идеал Революции,
Растапывая дисциплину, как ненужную ветошь.

Он призывает массы, он агитирует среди народа,
И когда канцлер вновь требует кредитов и доверия,
Он протестует открыто: «Мой голос будет подан
против!».

И его осмеивают и поносят,
И забрасывают оскорблениями,
Даже товарищи клеймят его глупцом, анархистом,
и безумцем.

Но Карл, сын Либкнехта, каменно-непоколебимый,
Твердо стоит под градом всех поношений:
— Война войне — забастовка — восстание —
революция!

Он не устает повторять, он сыплет вокруг свои лозунги,
И над бойней народов встает зарево его призывов,
И вновь оживает мужество, воскресает из мертвых вера,
И вновь зеленеет грядущее и цветет золотыми цветами.

Его забирают в солдаты.
Тело свободного человека стягивают общим мундиром.
— Война войне, — отвечает Либкнехт.

Его хватают, сажают в тюрьму, томят, мучат судами.
— Война войне, да здравствует революция! — отвечает
Карл, сын Либкнехта.

И вот: вопреки властному, тяжелому, стальному гнету,
Вопреки винтовкам и пулеметам,
Вопреки неслыханной дисциплине,
То здесь, то там отвечают люди на зов героя,
И всходят опять зелеными радостные надежды.

Солдат Либкнехт, узник Либкнехт, сапожник Либкнехт,
Ты — наш восторг, ты — любовь наша,
Ты — магнит, влекущий к себе все мужественные силы,
Собирающий воедино все живые и чистые энергии,
Ты стал новым кузнецом общего братства народов,
Ты разбил союз тиранов,
Разорвал союз предательств,
Тебя глупость венчает почетом.
Но то истинный пурпур славы, славы твоей, о Либкнехт!

Бежит по устам народов слава твоего имени,
Пусть стоят в стороне спекулянты, лакеи, эстеты,
Недостойные произнести даже букв твоего имени;
Товарищ Либкнехт,
Ты для нас стал орифламмой чистоты и свободы, —
Слава ж тебе, безупречный герой Революции!

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Памятник Карлу Либкнехту

Один,
Как никто никогда
Не был один в мировой этой буре, —
Один поднял он голову
Над семидесятью миллионами черепов, обтянутых
касками.

И крикнул,
Один,
Видя, как мрак застилает вселенную,
Крикнул семи небесам Европы,
С их оглохшим, с их умершим Богом,
Крикнул великое, красное слово:
— Нет!

ИОГАННЕС БЕХЕР

Красный марш

(Фрагмент)

Сегодня человечество вновь начинает свой марш:
Миллионы шагов стекаются со всех стран.
Звезды над ними колеблют неугасимый блеск.

Пронзительно кричит в даль труба:
Вперед! Марш! Марш!
Рабочие, служащие поют в рядах колонн.
Далеко впереди разворачиваются фронты борцов:
Марш!
Марш!
Тяжким шагом подходят из деревень батраки,
Следом топочут глухо массивы стад.
Воют сирены фабрик во всех городах.
Матросы режут гудками судовых котлов,
Рабочие портов и верфей идут по мостам,
Сколоченным из неотесанных,
Свежих тесин,
Маляры, штукатуры сползают с шатких лесов.
Бригады машинистов отбивают такт,
Звенья циклопическими тисками и тяжестью рычагов.
Штрафные солдаты мерно держат шаг,
Построившись в батальоны новых полков:
Раз-два! Раз-два!
Потом,
По сотням,
Одетые в болтающееся рядно,
Арестанты,
Дезертиры,
Политические — из каменных мешков...
Вот он, народ,
Идущий мимо
Сотнями тысяч! Сотнями тысяч!
Высоко парят плакаты.

Горят световые лозунги.
Реет над всем
Огненным облаком
Алое знамя —
Марш!
Кого еще нет здесь, кто там спит?!
Выползайте все из своих конур!
Сегодня человечество вновь начинает свой марш —
В ногу, вперед!
В ногу, вперед!
Вот он сбывается, тысячелетний сон!
Довольно голода!
Довольно нужды!
Вы, угнетенные! Вы, забытые!
Народы-рабы!
В ногу!
В ногу!
Смотрите: уже почивших пронесли вперед —
Слава вам, павшие!
Вперед!
Марш! Марш!

М. МАРТИНЕ

За Советскую Россию

(Песнь свободы)

Льву Троцкому,

в то время изгнаннику России,
Германии, Франции, Испа-
нии, Швейцарии и узнику
Канады.

Бледная, простертая по снегу, ожидающая смерти
с улыбкой,

Ты лежишь, одинокая, вдоль твоих ледяных океанов,
О, Россия, —

По твоим степям, по твоим лесам, по твоим луговинам,
Под ветром,

По излукам рек и озер, цветущих лазурью и снегом,

И вплоть до ржаных равнин и далеких гаваней юга, —

О, Россия

Фабрик, портов, городов, пожираемых малярией и
тифом,

От Юга до Севера,

И от великой Германской равнины,

До пропастей света и тьмы земли-праматери, Азии!

О, Россия,
В часы горчайшие ночи,
Когда всех нас тоска уносит
В зыбкий туман безумий, под мгlistую темень неба;

В час, когда мучит отчаяние
Даже тех, кто никогда не отчаивался;
Когда все мы никнем к обломкам, уносимым
девятым валом,

Чтобы больше не знать и не видеть;
В час, когда души и руки,
И губы словно влажны от крови;
О, Россия, ты, пребывающая в чернейшей пропасти
ночи,

Ты, наполнявшая нас горчайшим из всех отчаяний,
О, Россия, вот ты восстала,
Свободная, юная, сильная,
Девственно улыбающаяся улыбкой лазури и снега,
Там, там, далеко, под северным великим сиянием.

Как ты поздно пришла, Освобожденная!
Как ты поздно пришла, Освободительница!
Взгляни — здесь больше нет уже ни земли, ни снега,
Взгляни — здесь только грязь, перемешанная с кровью,
И все эти трупы, холодные, окровавленные,
И все эти души, — о, взгляни на них!

О, как поздно пришла ты,
России, великая незнакомка,

Там, далеко, восставшая,
Озаренная северным сиянием,
Но еще бледная от могильной сени.

Земля Толстого, земля Достоевского,
И старого Бакунина, и старого Герцена,
Земля Российская, земля неистовая,
Страна людей, голодающих и мерзнущих,
Страна кнута и тюрьмы, и ссылки.
Расстреливаемых детей и молчания, и мученичества,
Жертв и палачества.
— О, Россия мятежная, России восставшая,
Вот ты зовешь своих сыновей...

Сыновья твои бродят но свету,
О, Россия радужных дней тысяча девятьсот пятого года,
О, Россия воскресшая, —
На пороге этой весны нового года бойни,
О, страна пробужденная, мы все, мы все — сыновья
твои!

Помоги же нам, помоги, о, воскресшая из мертвых,
Взгляни сюда: среди грохота паденья Западного мира,
Нераздробленные звенья твоей распавшейся цепи
Стягиваются вокруг нас и тяжело давят нам сердце.

Мы устали ждать и устали надеяться,
Но сегодня, с тобою, мы не так уж слабы,
О, Россия, — сегодня мрак не так уж темен.
Молодая Свобода, не угасай!

Песнь Красного Знамени

Во имя мира и во имя хлеба,
Там, далеко,
Крестьяне, рабочие, в серой шинели,
Во имя хлеба для тех, кто голоден,
Во имя мира для тех, кто под пулями,
Там, далеко, —

Во имя мира и во имя хлеба,
Все вы, все вы, там поднявшиеся,
Под пламенем ветра, великого, бьющегося,
Знамени алого, знамени рдяного,
Под пламенем Красного Знамени, —

Во имя мира крестьяне восставшие,
Рабочие, восставшие во имя хлеба, —
Привет, привет вам, за нас сражающимся.
Привет отсюда, с далекого Запада,
Привет наш Красному Знамени!

О, Красное Знамя.
Там развевающееся,
Там трепещущее, там заревающее,
О, Россия,
Заря, поднимающаяся из-за крови,
Россия снежная, Россия пылающая, —
Привет России Красного Знамени!

Во имя хлеба, во имя свободы.
Во имя мира, за союз ваш, трудящиеся!
Книжные фразы, слова сочиненные,
Падающие с жаркой трибуны,
Бегущие к тысячам лиц
(О, лица взволнованные, бледные,
С трепещущим ртом, с окованным взглядом, —
Волны тысячи лиц, волнующихся в этом цирке!),
— Слова, отягченные душой и пламенем,
Вот они, вот они, живые, бьющиеся,
Ударами сердца, ударами крыльев,
В твоих складках плещущиеся, огневое знамя!

Огневое знамя, лоскут кровавый,
Лоскут, составленный из ваших лохмотьев,
Дети нужды!
Лоскут кровавый, кровью окрашенный,
Отсюда, отсюда, с полуночи Запада,
Привет наш Красному Знамени!

Против вас. спекулянты биржи,
Против вас, спекулянты крови
И нищеты.
Но за тебя, о, свет с Востока,
О, лоскут заревающий,
Несущий пожар от города к городу,
За вас, крестьяне, за вас, рабочие,
Вставшие во имя земли и свободы,
Правосудия и хлеба!

Красное Знамя, пылающее.
Вейся, вейся повсюду, —
Наполни бедняцкую ночь, о, заря Востока!
Смотри, они ждут тебя,
Не смея надеяться, —
Глаза их погасли,
Сердца их застыли;

— Возьмите и глаза, и сердце,
Земля полна наших мертвых,
Погибших под чужими знаменами, —
Хозяева свои войны окончили,
А наши мертвые лежат неотмщенными.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

В шахтах, на фабриках,
В грязи вернувшиеся.
Как прежде, гнут спины.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

Умирают и под твоим факелом,
О, знамя семьдесят первого года.
Старое знамя свободы, —
Но кровь на камнях улиц,
О, Варлен, — тот, кто пролил ее,
Ее пролил не понапрасну.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

ИОГАННЕС БЕХЕР

Привет немецкого поэта Российской социалистической федеративной советской республике

С Востока брезжит свет. Ему навстречу
Поэт раскрыл объятия. — Никни, ночь!
Твой старый мрак уже лучом рассечен.
Набега дня ничем не превозмочь!

О, серп златой! И ты, златой мой молот!
Алеющий безмерно небосклон!
Дрожит буржуа, смятением расколот,
И гибели почуя близкий холод,
Перед тобой колени клонит он.

Но будьте жестки! Бейте непреклонно!
Прощению — не час и не черед!
Ломайте вглубь! — Тогда лишь обновленно
Благое поколение взойдет.

Какие юноши! Какие жены!
Свобода, братство, равенство — гори!
О, дальних рас союз осуществленный,
Кровь с наших рук прощающе сотри!

Сегодня ж — зорче! Вкруг ползет измена,
Убийцы, отравители, лгуны, —

Твоих бойцов опутаны колена,
И новых жертв фаланги их полны.

Поэт кричит вам: жестче! Свежи раны!
Сегодня милосердие есть ложь!
Лишь ты, народ, дашь миру мир желанный,
Ты миллионам хлеб дашь невозбранный,
И Божье царство на землю сведешь.

Привет тебе, Республика Советов!
Демократиям Запада — конец!
Уж Альбион растратил силы дедов,
И Франции бесславно пал венец.

Палач торжествовать не может:
Его стремительно низложит
Дней наших непреклонный суд.
Напрасно высятся ограды,
Рабов восставших мириады
Уже свои оковы рвут.

Хвала борцам неукротимым!
Смотри, каким веселым дымом
Жилища бедноты цветут!
Сияет ангел с баррикады,
И через грохот канонады
Напевы мира к нам растут.

ЭРИК МЮЗАМ

Советская марсельеза

Чего вы медлите, народы?
День нарастает все быстрее.
Вы ожидаете свободы,
Когда свобода у дверей.

Иль вам не слышен зов с Востока?
Он к вам летит, он ищет вас —
Освобожденья близок час,
И он раскинется широко.

Вставай же, беднота, на бой.
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Дрожит банкир за целость ренты,
Но подкуп — прочный пьедестал,
И охраняют парламэнты
Его священный капитал.

Но зерен, солнцем разогретых,
Не удержать в земном гробу:
Молчи ж, богач! Твою судьбу
Решит народ в своих советах,

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!

Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Солдат, крестьянин, пролетарий,
Смелей за дело нищеты!
Ломай тем яростней, чем старей,
Те стены, где томился ты!
Тебе пример дала Россия,
Уж венгры с нею стали в ряд —
Чего ж ты спишь, пролетариат?
Что дремлют массы трудовые?

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Пора кончать с бедняцким горем!
Для битв не хватит ли огня?
Мы наступление ускорим
Социалистического дня.
Сбылось учителей вещанье:
В обломках старый мир лежит,
Уже Советский строй крепит
Счастливых стран соревнованье!

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Ж. ШЕННЕВЬЕР

Поэма о русском ребенке

Далеко, далеко, в глухой избе,
У края снегов и сосновых чащ,
Плачется тихо больное дитя,
Дитя, не знавшее румянца щек.

Лихорадка изъела его лицо,
Голод выявил каждую кость,
Его тело высохло, словно плетень,
На котором развешивают белье.
«Спи, уже поздно», говорит ему мать.
«Зимой бывает поздно всегда»,
Тихо шепчет больное дитя,
Потому что ему уже страшен сон.

Вот его сказкой баюкает мать:
Про Бабу-Ягу, Костяную ногу,
У которой на курьих ножках изба
Может вертеться по всем ветрам.

Вот напевает она ему песнь:
Про колдунью с косой, зеленой травы,
У которой голос так нежен и тих,
Точно у квакушки из болотных вод.

Вот она рассказывает былинный сказ:
Про Владимира-Солнце, про стольный град,

Про новгородского богатого гостя, Садко,
И про семь дочерей морского царя.

★

Она бьет поклоны всем святым
И золотонимбому своему Христу,
Но зима сильнее всех богов,
Богов, которых она зовет.

Он не откроет больше глаз,
Дитя, не знавшее румянца щек, —
О, мать, ему уж не нужно слов.
Бедный птенец опочил навек.

Так он легок и так иссох,
Лихорадкой замученное дитя,
Что только и виснет его голова,
И тяжести больше нет ни в чем.

Так он легок и так иссох,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Что матери даже не надо сгибать
Дрожащих рук, чтоб его поднять.

Чтоб его поднять и его простереть,
Тихо шатаясь от безмолвных слез,
Неумолимой пустоте
Европы, наведшей незрячий взор.

★

Умер ребенок, и в том же селе
Умер ребенок еще другой,
И в ближнем городе вместе с ним
Умерло сто детей еще.

Зима Востока, зима без границ,
Зима Тобола, зима Оки,
Тебе не хватит твоих снегов,
Чтобы погибших прикрыть детей!

★

Он умер под вечер, октябрьским днем,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Он умер под вечер, октябрьским днем,
Что был бы яснее, чем летний день,

Когда б его не гнала тоска,
Горькая тяжесть материнских слез,
Что выжгла на нашем поникшем лбу
Молчанья Каинову печать.

★

Народ Европы, народ столиц,
Толпы театров и кабаков,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Мертв из-за ваших песен и игр.

Он мертв потому, что стальным кольцом
Сжимают армии всех государств
Страну, обращенную ими в тюрьму,
И воздух, которым нельзя дышать.

Он мертв потому, что живет союз
Безумья и Ненависти — двух сестер,
Адским огнем бороздящих мир,
Дряхлеющий мир, идущий ко дну.

Он мертв, потому что мы сносим стыд —
Жалкие люди! — терпеть и знать,
Что он умирает, и каждый день
Он должен вновь и вновь умирать.

Он мертв, потому что на эту смерть
Мы отвечаем только слезой.
Ребенок, не знавший румянца щек,
Мертв потому, что мы — ничто!

МАКС БАРТЕЛЬ

Москва

О, Москва, золотая птица-
— Dorogaja!
Мчишь ты молний колесницы,
К светлой цели светел путь!

Широко раскинут вход!

— Dorogaja!

Широко народ идет!

— Dorogaja!

Ночью в небе звезды тают,

— Dorogaja!

Ночью девушки гадают,

К светлой цели смутен путь!

Но уж утра ждут цветы,

— Dorogaja!

Час пришел, вставай и ты!

— Dorogaja!

Бей во вражье сердце смело,

— Dorogaja!

И вперед, чрез вражье тело, —

К светлой цели ясен путь!

Как сердца тобой горят.

— Dorogaja!

О, Москва, священный град!

— Dorogaja!

Не навек богатый давит.

— Dorogaja!

Беднота отныне правит, —

К светлой цели верен путь!

Знамя красное горит,

— Dorogaja!

Знамя красное парит!
— Doroĝaja!

Над голодным краем знамя,
— Doroĝaja!
Очистительное пламя, —
К светлой цели труден путь!
Но готов бальзам для ран,
— Doroĝaja!
Поднимайся ж! бей! тарань!
— Doroĝaja!

АНРИ ГИЛЬБО

Из поэмы «Краскремль»

Ленин

...Кремль! — город средь города.
Восток, кирпичи, купола, соборы.
Древняя резиденция царей и великих князей.
Сегодня — это ВЦИК, Совнарком, Ленин.
В Красном Кремле строится Коммунистический
Интернационал.
Те, кто после тюрем, каторги, пыток, Сибири —
Эмигранты Женевы, Цюриха, Брюсселя, Парижа,
Нью-Йорка —

Вдруг пошатнули мощные, золотые колонны храма,
Вот они ставят фундамент новых законов и прав.
Ленин, исконный россиянин, прямодушный друг
народа,
Ленин, стремительный вожатый мирового
пролетариата,
Грозный раскольник, неистовый большевик,
ненавидимый, невозмутимый, —
Он все так же скромн, жизнерадостен, тонок
и ироничен.
Своим марксистским стилетом он пронзает Лонге,
Мартова, Каутского.
Ясный, непоколебимый, на своей капитанской вышке,
Он ведет свой красный корабль сквозь гуцу
бесчисленных рифов.
Его мозг все рассекает и все сочленяет заново,
Его глаз все замечает и все зондирует донизу,
Точным своим компасом он выверяет огромные планы.
Новый Лютер, но более истинный, более широкий,
более прямой, более последовательный,
Он создал схизму Интернационала.
Циммервальд и Киенталь — первые, решительные
вехи.
Шагая чрез трупы проститутов, куртизанов,
изменников,
Строит он новый храм, пролетарский, мировой,
атлетический,
И уже мощные органы извергают свои фуги и
свои осанны.

Пошел, пошел извозчик, живе́й понука́й свою клячу,
Сплевывай и ругайся, обращайся ко всем прохожим,
Сморкайся и зеленой слизью
Марай рукава кафтана, когда-то бывшего синим.
Пошел, пошел, извозчик, живе́й погоня́й свою лошадь,
Сыпь своими проклятьями, раскидывай свою ругань,
Лишь вези быстрее и проворней!

*

То не здание из железа, не бетонное укрепление,
Не вокзал, не мост, не элеватор, не народный дом,
не электрическая станция, —
Но пестрое и странное строение,
Как шатры Василия Блаженного,
У которых купола расцветают, многоцветные,
многообразные,
Как гигантские набухшие фрукты, созревающие
среди тропиков.
И повсюду сцепление ритмов громающей, тряской
пролетки,
И советских автомобилей, и автобуса Коминтерна.

*

Вдоль Никитской, где, издырявленные, выгибаются
тротуары,
В черных обручах, хлюпая жидкостью,
Тянется поезд баков с нефтью;

Потные, но могучие идут двойные упряжки;
Букинисты свою книжную ветошь выставляют прямо
на воздух;
Рабочие, служащие, красноармейцы, толпящиеся
вдоль по стенам,
Читают «Правду», «Известия» и телеграммы «Роста».

*

Выше — изломанный перекресток,
Пересечение улиц, нагромождение развалин,
На бульваре высится остов, металлический,
искривленный;
В центре из кирпичей обожженных сложена голая
пирамида,
Это — дом, где юнкера засели в октябре семнадцатого
года.
Еще выше — телефонное зрелище:
Постукивая подошвой, приладив трубку к уху,
Монтер проверяет линию, расщепляет и связывает
нити.

*

В сапожищах, укутанные по нос, напоминающие
ГНОМОВ,
Крича: «Папиросы, спички»,
Галдят мальчишки и пристают к прохожим.

Навьюченные мешками, вооруженные лукавством и
нюхом,
Фамильярничая, хватая руками.
Тыча и лъстя своим проблематическим клиентам,
Татары торгуют одежду и ветошь.

*

Пьяница, стяжатель, вор и забулдыга,
Дворник Василий метет тротуары;
Его кличут, рвут на части, — он всем обещает помощь,
Но ничего, — он вмиг все забывает, пьянствует
и бездельничает.
Порой он готовит дрова, собирает их в охапки
И похваливает свою датскую пилу,
Сверкающую новыми белыми зубьями.

*

Пошел, пошел, извозчик, живей погоняй свою лошадь
По мостовым булыжным кривых московских улиц
Иль по изрытому и редкому асфальту вдоль бульваров;
Сплевывая и ругайся, обращай ко всем прохожим,
Называя меня «барин» или «товарищ», — все едино!
Только пошел, извозчик, живей погоняй свою лошадь,
Сыпь кругом свою ругань, раскидывай проклятья,
Лишь вези быстрее и проворней!

*

Перед Иверской Богоматерью,
Мерцающей и смутной, среди стрел горящих свечек,
Оборванные и нарядные люди кладут поклоны,
И текут их мысли и их мистические надежды.
Разминая руки и шеи, хлопая себя по груди,
Извозчики состязаются в ругани, плевках и сопеньи.

*

На Городской думе, большой и красной,
Чей фасад еще кажет игру пулеметов,
Черным свинцом своих оперений
Комья ворон и галок тесно пестрят по фронтону,
Взрезывая воздух карканьем, мрачным и крепким.

*

Скандируя пенье, мерно шагая,
Прорезывая площадь серой цепью,
Красная армия идет к «Метрополю»
В прямоугольной и движущейся симметрии.
Тяжко дремлющим храмом высится Большой театр;
Полихромные ритмы «Игоря», «Бориса» иль
«Салтана»
Обесцвечивают алость и золото нависшей уродливой
лепки,
Когда четкий и патетический Голованов ведет свой
оркестр.

Очкастый, зубастый, быстрый Радек сочиняет
и диктует.
А там, во Дворце Потешном,
С ало-желтыми и зелеными арабесками,
Анатолий Васильевич составляет какой-нибудь доклад
или пьесу,
Между тем как в его приемной, отражаясь
в черной глади рояля,
Терпеливые, его ждут и говорят меж собой посетители.
И вдоль всего Кремля, тяжкого и громадного,
Подземный, воздушный, звенит многосложный голос
телефона.
Запертые и немые, отдыхают кремлевские соборы,
И невидимый средь строений, между сложенных
штабелей дров,
Прячется Спас-на-Бору, замкнутый и одинокий.

*

А тут, против Кремля: нервный центр Советской
России,
Высится обширный квадрат здания «РКП
(большевиков)».
Знаменка, чье устье посвящено Красному Марсу,
Летом кажется улицей мирной, осененной листвою.
В уединенном доме, замкнутом и молчаливом,
Жизнерадостью, восторгом, гореньем своих полотен
Ван Гог, Моне, Матисс, Ван Донжен, Сезанн, Дерен
Еще более оттеняют мрачность усыпальницы
Третьяковых.

*

Не стой же, пошел, извозчик, трогай, трогай скорее,
Вези меня к Красным воротам, дальше вези, к вокзалам,
Цеди сквозь зубы ругань.
Сквернословь и плюйся, марай кафтан своей слизью,
Но только пошел живее.
Ты точно стоишь на месте, вези же меня через город.
Пошел, пошел, извозчик, живее трогайся с места!

*

Полифонии, полихромии
Бедности и богатства,
Темные переулки, просторные улицы,
Краски Европы, спорящие с ритмами Азии,
Одноэтажные домики, многоярусные фасады,
Мертвенный Академизм, лязгающий Футуризм,
Сказочное смешение двух рас, двух столетий.
Молниеносный и легкий Рольс-Ройс,
И тут же, рядом, медленный караван азиатский.
«РСФСР» — «МПК»; «Наркомпрос» — «Наркомпрод»,
Потом «Гастрономия», «Трактир» и «Кондитерская»,
И буйное круговращение миллионов бумажных денег,
И мена, и торговля, и неистовая спекуляция.

*

«Народная столовая» — ее неустанный говор
Дышит супом из воблы, вызывающим тошноту.

В тесном, темном подвале, в отдаленном переулке,
У столов, в клубах дыма, пьют терпкие кавказские вина.
В стильном и старинном особняке балерины,
На безгрешной глади скатерти ширококостельной
Блины громоздятся, икра воздымается,
И светится водка бесцветно и белесо,
Между тем как в комнатке нищей и оголенной,
Близ агломерата хлеба, подобного земляным комьям,
Алая и торжествующая сверкает тарелка борща.

*

На Трубной торгуют хлебом, мясом, сосисками, яйцами,
Мебелью, одеждой, ломом и непонятными мне вещами;
На нетвердых столах радостно поют самовары.
Спекулянты, красноармейцы, крестьяне покупают,
кишат и толкаются.
Пронзительные и глухие смешиваются крики, призывы,
ругательства.
Но вот из небесной коробки, затянутой серой тканью,
Плотно, мягко, бессчетно, сыплются кристаллы снега.
Все прозрачнее, все реже день выпрядает нити,
И ширятся и плотнеют густые заставы тумана.

*

Тут перемежаются, там проникают друг в друга
Хрупкие конусы света и массивные кубы тени.
Подобны опрокинутым кубарям
Мохнатые, смутные прохожие.

*

Москва — это Коминтерн, это — Кремль, это —
Советская Россия,
И это немножко — весь мир, в его круженьи, в его
пульсации, —
Надежды, брожения, смеси, осадки, соединения,
Вся жизнь, вся химия, вся динамика...

Москва, 1920 г.

1926

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 1930–1940-Х ГОДОВ

ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ

Баллада о Яне Митуре

Ян Митура честно проливал свой пот, –
Утром шел на поле, ночью на завод;

Но с завода был он выброшен, как пес,
А потом хозяин его домик снес;

Что ж ему осталось? красть? – но он не вор;
А его толкают люди под забор.

Панствует в Липине замок над холмом,
А кабак под замком травит его вином.

Через Островицу перекинут мост;
Знает Ян, что делает, – план у Яна прост!

Умер сын у груди Яновой жены,
Янов труп уносят прихоти волны.

Ляшская песенка

В Бескидах над нами сто лет вы корпели
И все же осилить вы нас не сумели.
Дыханье Москвы ловит ныне наш слух,
Средь шахт оживает вновь ляшский наш дух.

Уж флаги пришельцев в кострах полыхают,
Уж прадеды к нам из могилы зывают,
Уж приняли предки нас, ляхов, в свой круг,
Уж землю взрывает прадедовский плуг.

Ташкентские арыки

Когда в тени аллея брожу, раздумий полн,
И слышу, как во сне, ослов далеких крики, –
Я вижу в зеркале зеленых ваших волн
Высокий небосвод, ташкентские арыки.

В заманчивую даль тропа аллея ведет,
И утренняя сень не ведает границы;
Арык журчит волной, волна во мне поет,
И мнится мне, что я у милой Островицы.

Хочу насытиться цветистой пестротой
Обличий, что спешат вам в зеркало втесниться.
Листву окутал дождь, сверкающе густой,
И ловит в сеть лучи, и буйно веселится.

Ужель мы в городе? Не верю – мы в лесу!
В зеленом воздухе ручьи звенят, сверкая;
Я рокот ваших волн стихом перенесу
В девичий гибкий шаг на празднованьи мая,

Когда зеленый свет и синева лучей,
Врываясь в белизну и золото одежды,
Под красным зонтиком играют горячей...
О, пышный жизни блеск, смыкающий нам вежды!

Здесь Запад и Восток в гармонии нам дан,
Как дети, голову мы клоним перед чудом:
За караванами проходит караван,
Качается верблюды, шагая за верблюдом.

Волна вослед волне, волна вослед волне
Пустыней катится к оазису чуть внятно...
Все стихло. Лунный диск сияет в вышине,
Стирая смутные, коричневые пятна.

Последний канул в ночь навьюченный верблюд,
Многоголосье птиц сливается хоралом,
Арыки вторят им и все слышней поют,
Луна спускается над треснувшим дувалом,

Где стебли гибких трав торчат поверх стены
И щеки месяца щекочут влать им ленты...
Где я? – на берегах таинственной страны?
О, нет, – на улице полночного Ташкента!

Стою под топодем, задумчивости полн,
И слышу, как во сне, ослов далеких крики,
И вижу в зеркале серебристых ваших волн
Созвездия небес, ташкентские арыки!

В заманчивую даль тропа аллей ведет,
Полуночная мгла не ведает границы,
Арык журчит волной, волна во мне поет,
И мнится мне, что я у милой Островицы.

Ташкентские тополи

Ужель и впрямь нигде не преклонить главы,
А песне никогда не выйти из фрагмента?
Нигде я не нашел таких друзей, как вы, –
Как вы, о тополи весеннего Ташкента!

Средь одиночества, в томлении моем,
Когда мою тоску любое ранит слово, –
Смотрю, как врезались зеленым лезвием
Вы в ласковую синь прозрачного покровы.

Стволы, свидетели отбушевавших лет, –
Не сдвинет ветер вас полуденной порою,
Когда за тенью тень кладет свой четкий след
И накрывает путь узорной пестротой.

Что тропы торные обыденных людей
Пред той дорогою, что вы мне указали!
Тверды мои шаги меж жизненных сетей,
Ведущие меня в неведомые дали.

Задумчивость влекла меня когда-то в тень,
И я согбенно шел, вперяя взоры в землю.
Теперь гляжу в ту высь, где солнцем блещет день,
Затем что, тополя, я вашей песне внемлю,

И в ней одной исход из мглы я нахожу,
И вашим именем все входы мне раскрыты,
И вечность в миг, когда в лазурь гляжу...
О, мой парящий дух, прозрачностью омытый!

Я приношу его в свои стихи, как плод,
Под солнцем осени наполнившийся соком...
Из одиночества вы дали мне исход,
К прозрачной простоте ваш путь меня ведет,
Где будет песнь расти в цветении высоком.

Туман в горах

Тропы кремнистые полны печали,
Иглы лесов серебриться устали,
Поят туманы жажду целин,
Сходят туманы в бездны долин.

Тонкий туман многоцветностью манит,
Ветер порой его нежно оттянет, –
Вижу: в тени, где в расселинах скат,
Синим ковром колокольчики спят.

Вон проступает сквозь рыжую хвою
Гриб-мухомор своей шлякой цветною,
Иглы тащил он на красной спине,
Труд завершил – и застыл в полусне.

Птаха из чащи на ветку вспорхнула,
Робким движением ветку качнула,
Друга зовет трепетанием крыл,
Полог тумана их тайну прикрыл.

СТАНИСЛАВ БАЛИНСКИЙ

Спасенье

Там, где людские руки из облаков бросают
Смерчи воющих бомб, чтоб дома с основ пошатнуть, —
Там, где другие руки в хаосе тьмы разрывают
Засыпанные подвалы, пробивая к воздуху путь, —

Там бывает мгновение, когда сила, шедшая книзу,
Будит мертвые вещи и давит оземь собой, —
Тут зловещей кометой сорвется камень с карниза,
Там раздастся стена с бегущей по ней струей.

Тогда туманятся взоры и дышет грудь все короче,
Лишь руки, влажные кровью, выступающею из пор,
Нащупывают неустанно, средь внезапно ослепшей ночи,
Лестницу и ступени в лишенный границ простор.

Так меж руин и пожарищ бредет человек без надежды,
Не разжимая губ, скорбно насупив бровь, —
Так бредет он от века и все ж не смыкает вежды,
В гордую Человечность взыскуя поверить вновь.

Баллада о двух свечах

Я обращаюсь я ксендзу, к приходскому ксендзу, который
За пение польских песен фашистами насмерть замучен:
Если ксендз за пределом добра и зла нам опорой
Служит, как встарь, а не спит, и с нами, как встарь,
неразлучен, —

Доброму ксендзу понятно, почему я не в состоянье
Выполнить свой обет, данный ему пред рассветом,
В ночь моего отъезда при нашем последнем прощанье,
Возле часовни, облитой звездным студеным светом.

Так! После долгих скитаний —тяжкой была дорога! —
Горестный и усталый, я доплелся до Рима,
Но и там не нашел я, нигде не нашел я Бога,
Ни в мерцаниях пурпура, ни в клубах кадильного дыма.

Тщетно входил я в костелы, странствовал по соборам,
С сердцем, дотла спаленным, несущим горькое бремя, —
Я не мог ни единожды прочесть молитвы, которым
С истовым рвением ксендз обучал меня в оно время.

Пусть же меня не хулит он, не предстает виденьем,
Ночью в окно не стучится окровавленную рукою, —
Старых молитв не дано мне с прежним читать
убежденьем,
Хоть каждодневно твержу их, бессмысленно и с тоскою.

Чтобы воспрянула вновь в них правда мощно и зримо,
Чтобы внимать без отчаянья горечи их глаголам,
Должен Бог загасить скорей все светочи Рима
И затеплить опять лишь две свечи у престола, —

Две свечи неказистые, две свечи одинокие,
Как те, горевшие ночью, при отъезде, перед рассветом,
В жалкой деревенской часовне, — две свечурки убогие,
Когда смерть стояла пред нами под звездным студеным
светом,

Последняя мелодия. 1940

Когда весь в розах, уж ненужных,
Париж, как привиденье, гас, —
Я в лавку мод, на перекресток,
Шел встретиться, в последний раз,

С француженкой, подростком милым,
Наивно-свежей, словно май,
И веровавшей, что свобода
И Франция — единый край.

Но лавка на замке, — и смотрят
С витрины пустота и мрак,
И приближается угрюмый,
Размеренный немецкий шаг.

И на обрывке календарном
У входа кто-то, млад иль стар,
Дрожащею рукою вывел:
«Fermé jusqu'à la victoire»*.

Листок со скудными словами,
Прибитый на глухих дверях,
Меня преследует в дороге,
Звучит мелодией во снах.

Париж громадою за нами
Стоит, подобно лавке чар,
Где на дверях висит записка:
«Fermé jusqu'à la victoire».

1942—1944

* «Заперто впредь до победы».

АБРАМ МАРКОВИЧ ЭФРОС

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Абрам Маркович Эфрос родился 21 апреля (3 мая) 1888 г. в Москве, в семье инженера М. А. Эфроса, личного почетного гражданина. Среднее образование он получил в гимназии Креймана, затем в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, которые окончил с золотой медалью в 1907 г. С детства у него обнаружился интерес к литературе и искусству, поддерживавшийся его двоюродным братом Н. Е. Эфросом, известным театральным критиком, близким к Художественному театру, знавшим А. П. Чехова. Во время обучения в Лазаревском институте А. М. Эфрос принял участие в Московском вооруженном восстании 1905 г., был арестован, сидел в Таганской тюрьме.

В 1907 г. А. М. Эфрос поступил в Московский университет, на юридический факультет, окончил его и сдал государственные экзамены в 1911 г. «Но правоведческая специальность, — писал он, — уже со второго курса стала меня все меньше удовлетворять, и хотя я счел необходимым «дотянуть» до конца, однако параллельно стал слушать лекции на историко-филологическом факультете» (Автобиография, архив А. М. Эфроса в Отделе рукописей Рос. гос. библиотеки). В студенческие годы А. М. Эфрос играл активную роль в университетском Обществе искусства и литературы и, по словам А. Белого, выступал «лидером молодежи». Так, им был подготовлен текст приветствия от московского студенчества Обществу любителей российской словесности по случаю

100-летия Н. В. Гоголя. В 1910 и 1911 гг. А. М. Эфрос побывал в студенческих двухмесячных экскурсиях в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Турции, Греции. Первую свою печатную работу (если не считать юношеского стихотворения «В тюрьме») он выпускает за два года до окончания университета в 1909 г. Это был перевод библейской «Песни песней», вышедший с предисловием В. В. Розанова в издательстве «Пантеон» по рекомендации В. Я. Брюсова. Владея французским, итальянским, немецким, латинским, английским, древнееврейским языками, А. М. Эфрос занимался переводами стихов и прозы на всем протяжении своей творческой деятельности.

В университете Эфрос начал также усиленно заниматься историей русского искусства и с 1911 г. стал систематически выступать как художественный критик, будучи приглашен вести художественно-критический отдел в газете «Русские ведомости». Здесь он печатал статьи за подписью Россций в течение семи лет, до 1918 г., когда издание «Русских ведомостей» прекратилось. Молодой критик настолько быстро завоевывает известность и авторитет, что уже в конце 1913 г. видный московский издатель И. Кнебель поручает ему совместно с К. Ф. Юоном редактирование задуманного им художественного журнала «Русское современное искусство» (издание не состоялось ввиду войны 1914 г. и прекращения деятельности издательства И. Кнебель).

В 1914—1917 гг. Эфрос находится в действующей армии, сначала ефрейтором; затем, в 1915 г., за отличие в боях его производят в младшие унтер-офицеры. Приезжая с фронта на побывки, Эфрос продолжает вести обзоры выставок на страницах «Русских ведомостей», начинает печататься в «Аполлоне». В январе-феврале 1916 г. Эфрос организует внушительную общественную демонстрацию в

поддержку деятельности И. Э. Грабаря во главе Третьяковской галереи. Еще в 1913 г. на страницах «Русских ведомостей» он поддержал реформы Грабаря по созданию научной экспозиции галереи, подвергавшиеся нападкам части прессы и общественного мнения. В 1916 г., в связи с высказываниями члена Совета Третьяковской галереи кн. С. А. Щербатова, была начата новая кампания против Грабаря, в защиту которого на страницах газеты «Утро России» было напечатано «Заявление художников и деятелей искусства» за подписью Н. Крымова, М. Сарьяна, К. Юона, Ф. Шехтеля, К. Богаевского, В. Ватагина, П. Кузнецова, Н. Бартрама, В. Домогацкого, Н. Ульянова, И. Нивинского, С. Меркурова, В. Фаворского, бр. Весниных, И. Машкова, В. О. Гиршмана, С. А. Полякова, С. И. Шукина и др. Автором этого заявления, как свидетельствует сохранившийся рукописный текст, был А. М. Эфрос.

После февральской революции 1917 г. А. М. Эфрос возвратился из армии в Москву (окончательно осенью) и 6 мая 1917 г. был назначен помощником хранителя Третьяковской галереи, оставаясь в этой должности до 12 апреля н. с. 1918 г., когда попечительский совет и прежний состав хранителей были упразднены. В июле 1917 г. А. М. Эфрос был избран гласным Московской городской думы по списку партии с.-р. и стал председателем комиссии по внешнему благоустройству города, будучи им, как и членом партии с.-р., до роспуска городской думы весной 1918 г. В марте 1918 г. на Всероссийском кооперативном съезде А. М. Эфрос, вместе с И. Э. Грабарем, П. П. Муратовым, Н. И. Романовым, А. В. Чайновым, были избраны в президиум Комитета по охране художественных и научных сокровищ России, деятельность которого продолжалась до начала 1919 г. С января 1919 г. Эфрос заведует учетом и охраной памятников искусства в Музейном отделе Наркомпроса,

возглавляемом Н. И. Троцкой. Оставаясь в этой должности до сентября 1927 г., А. М. Эфрос проделал большую работу по регистрации и охране художественных ценностей в трудных условиях гражданской войны и первых послереволюционных лет. Работа в Наркомпросе позволила А. М. Эфросу в октябре 1919 г. вернуться к исполнению его обязанностей хранителя Третьяковской галереи (до этого против его работы в галерее выступал «трудовой коллектив» служащих из-за его антибольшевистских выступлений в 1917–1918 гг.). Здесь он работал до 1 января 1929 г., став в 1926 г. членом правления, а в августе 1927 г. заведующим отделом новейшей живописи. А. М. Эфрос был одним из инициаторов промывки «Боярыни Морозовой» Сурикова и принимал деятельное участие в заседаниях реставрационной комиссии по этому поводу в 1926 г., наряду с А. И. Анисимовым, Д. Ф. Богословским, П. П. Кончаловским, А. В. Щусевым, И. С. Остроуховым, В. Н. Яковлевым, А. М. Васнецовым. С 1924 по 1929 г. Эфрос работает также в Государственном музее изящных искусств, сначала хранителем отдела французской школы, затем заместителем директора по научной части. Работая в ГТГ и ГМИИ, Эфрос много сделал для дальнейшей разработки принципов научной экспозиции этих музеев, для пополнения их коллекций первоклассными произведениями.

Особое место в деятельности Эфроса в 1920-х годах занимает заведование им художественной частью Художественного театра и его Музыкальной студии, где он работал в 1920–1926 гг. в тесном контакте с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. В частности, он был инициатором привлечения к работе над оформлением спектакля «Лизистрата» И. Рабиновича, декорации которого имели большой успех во время американских гастролей Музыкальной студии в 1925 г. Одновременно он заведовал худо-

жественной частью в Госете, где им привлекались к работе такие художники, как Н. Альтман, Р. Фальк, М. Шагал (первая книга, посвященная Шагалу, принадлежала также Эфросу, — он выпустил ее в соавторстве с Я. Тугендхольдом еще в 1918 г.).

Наряду с художественно-административной деятельностью, в 1920-х годах А. М. Эфрос продолжает выступать с искусствоведческими и литературными работами в журналах «Художественная жизнь», «Москва», «Среди коллекционеров», «Русское искусство», «Театральное обозрение», «Современный Запад», «Русский современник», «Прожектор», «Искусство» (журнал ГАХН), в конце 20-х годов одно время ведет обзоры выставок в «Литературной газете».

По линии общественной А. М. Эфрос в 1920-х годах является видным деятелем Всероссийского союза писателей, крупного литературного объединения тех лет, возникшего в 1921 г. и с 1926 г. вошедшего в Федерацию объединений советских писателей (существовала до 1932 г.). Вплоть до 1929 г. Эфрос входит в правление Всероссийского союза писателей и представляет его, вместе с В. Вересаевым и А. Воронским, в исполбюро ФОСП. Наряду с М. Горьким, Е. Замятиным, А. Н. Тихоновым, К. Чуковским, он участвует в издании журнала «Русский современник», работает с приезжающими в СССР зарубежными писателями Ж. Дюамелем, Л. Дюртеном, С. Цвейгом. Он также активный деятель Российского общества друзей книги (1920—1929), на заседаниях которого выступает с докладами о петербургском и московском собирательстве, о «Медном всаднике» в иллюстрациях Бенуа, о Фаворском и современной ксилографии, о творчестве Бакста, об издательской деятельности М. В. Сабашникова, о Бодлере-рисовальщице и др., а также с мемуарными этюдами о встречах с А. Франсом и Л. Толстым.

По поручению Совнаркома СССР А. М. Эфрос вместе с И. Э. Грабарем в 1927 г. работает в комиссии СНК по организации художественной выставки к десятилетию Октябрьской революции. В награду за эту работу он получил двухмесячную командировку в Германию и Францию, где по заданию Наркомпроса подготовил в Париже выставку новейшего французского искусства, которая состоялась в Москве в 1928 г. В 1927 г. Государственным ученым советом А. М. Эфрос был утвержден в звании действительного члена Государственной академии художественных наук (состоял с 1923 г.) и оставался им до 1931 г., когда ГАХН была преобразована в ГАИС (Гос. академия искусствознания).

Нельзя не отметить и такой вид деятельности А. М. Эфроса в 1920-х годах, как участие его в различных публичных диспутах и дискуссиях в прессе, главным образом, по вопросам театра. Здесь ему, как деятелю и критику, близкому к Художественному и Камерному театрам, пришлось быть оппонентом такого видного полемиста тех лет, как Мейерхольд. Большой общественный резонанс имел его доклад «Трагедия Серова» (прочитан в ГАХН в декабре 1926 г., лег в основу статьи о Серове в книге «Профили»), который дочь художника О. В. Серова считала лучшим из всего написанного об ее отце, доклад на чествовании П. В. Кузнецова в связи с 25-летием его художественной работы в феврале 1929 г.

30-е годы открывают новый этап в жизни и деятельности А. М. Эфроса. Вытесненный после 1929, «года великого перелома» с административных должностей, он полностью переходит на литературную деятельность. В 1930 г. он выпускает книгу «Профили», которая, по его замыслу, должна была объединить лучшее из написанного им в области художественной критики за 1917–1929 гг. Своеобразное «прощание с прошлым», книга, которая по его сло-

вам, «принесла ему много радости и много горя», «Профили» отразили то, что он «думал и чувствовал в разгар борьбы за «свое место в искусстве». Почти одновременно с «Профилями» Эфрос издает в 1930 г. книгу «Рисунки поэта», которая явилась основополагающим исследованием в области исследования графического наследства А. С. Пушкина. В 1931—1935 гг. им подготавливаются к изданию литературные тексты и документы таких художников, как Венецианов, Сильвестр Щедрин, Вазари, Рубенс, Ван Гог, Леонардо да Винчи. Появление этих книг, в которых А. М. Эфрос принял единоличное или коллективное участие, было большим вкладом в отечественную культуру. Когда в 1932 г. было преобразовано издательство «Academia», одним из членов его редсовета, возглавляемого М. Горьким, стал А. М. Эфрос. Здесь он руководит отделом французской литературы и, совместно с А. В. Луначарским (затем И. К. Лупполом), отделом искусствоведения, участвует в работе отдела итальянской литературы. При его личном участии или под его редакцией выходят, кроме указанных выше текстов художников, такие издания, как «Актриса» Э. де Гонкура, «Опасные связи» П. Шодерло де Лакло, «Собрание сочинений» Мериме, «Vita nova» Данте, «Полное собрание сочинений» А. Франса. В издательстве «Художественная литература» он знакомит советского читателя с избранными произведениями П. Валери. Активное участие принимает он в выпуске первой советской энциклопедии (среди его статей и заметок для БСЭ до сих пор не потеряли своего значения такие, как «Бакст», «Барбизонская школа», «Ватто», «Грабарь», «Давид», «Дягилев», «Жерико»). Продолжает Эфрос и свою деятельность художественного критика. В 1933 г. журнал «Искусство» печатает его большую статью «Вчера, сегодня, завтра», в которой он подводит итог пятнадцатилетне-

му существованию советского изобразительного искусства, определяет тенденции его дальнейшего развития. В 1933—1937 гг. журналы «Искусство», «Новый мир», газеты «Известия», «Советское искусство», «Литературная газета», «Le Journal de Moscou» печатают статьи Эфроса о дневниках Н. Н. Купреянова, творчестве П. Кончаловского, А. Лентулова, М. Сарьяна, Н. Кузьмина, А. Фонвизина и др. В статье «Вчера, сегодня, завтра», а затем на страницах «Le Journal de Moscou» он первым приветствует возвращение к художественной жизни М. В. Нестерова, сущность творчества которого он проницательно определил еще в 1911 г. в связи с росписями Марфо-Мариинской обители. Как историк искусства и литературы Эфрос выступает в своих публикациях в «Литературном наследстве» и других изданиях, посвященных Гёте и Пушкину.

Общественная деятельность А. М. Эфроса в 1930-х годах характеризуется его участием в подготовке ряда выставок, связанных с юбилеем 15-летия советской власти. Так, он является членом правительственной комиссии по организации юбилейной выставки «Художники РСФСР за 15 лет», членом выставочных комитетов выставок «Художественная литература СССР», «15 лет советской графики». Кроме того, он является одним из организаторов в 1934 г. Международной выставки детского рисунка, а в 1936 г. назначается консультантом Всесоюзной Пушкинской выставки по разделам «Рисунки Пушкина» и «Пушкин в искусстве». В 30-х годах, как и раньше в 20-х, А. М. Эфрос нередко приходит знакомить с русским и советским искусством таких политических деятелей зарубежных стран, приезжающих в нашу страну, как Эррио, Бенеш, Иден. Выступает он в это время и с такими проблемными докладами, как «Русские и западные традиции в советском изоискусстве» (1935 г., МОССХ), «Выставка восьми скульп-

торов» (1935 г., МОССХ) и др. В 1934 г. А. М. Эфрос принял участие в качестве делегата в работе I съезда советских писателей. Членом ССП и членом МОССХ он состоял с момента их основания.

В сентябре 1937 г. А. М. Эфрос подвергается аресту и административной высылке на три года, по статье 58 пункт 10 Уголовного кодекса РСФСР в г. Ростов Ярославский, где продолжает писательскую работу, выполнив для «Литературного наследства» две капитальные публикации о связях французской литературы с русскими деятелями и для энциклопедического словаря «Гранат» большой обзор истории русского искусства XVIII— начала XX вв., который впоследствии лег в основу начатой им книги «Два века». В Ростове Ярославском А. М. Эфрос перевел, снабдил статьей и комментариями избранные стихотворения Микеланджело Буонарроти, изданные посмертно, а также начал работу над переводами лирики Петрарки.

В 1940 г. А. М. Эфрос возвращается в Москву после окончания срока высылки (судимость с него была снята в 1944 г.), возобновляет критические выступления в газетах «Советское искусство», «Вечерняя Москва», журнал «Театр». По совету А. Н. Тихонова он решает обратиться к педагогической деятельности, которой он занимался еще в 1919—1920 гг., когда читал курсы истории русского искусства в реорганизованном Училище живописи, ваяния и зодчества («Государственные свободные мастерские»), как читал лекции по русскому искусству и музееведению на музейных курсах Наркомпроса. С сентября 1940 г. по середину октября 1941 г. А. М. Эфрос является преподавателем истории искусства Московского государственного института изобразительных искусств. Зимой 1940—1941 гг. он выступает с интереснейшими докладами о театральном художниках В. Дмитриеве и П. Вильямсе в ВТО и

проникновенным словом о Коровине на вечере памяти К. Коровина в МОССХ.

С ноября 1941 по июль 1943 г. А. М. Эфрос находится в эвакуации в Ташкенте. Здесь он читает лекции по истории русского искусства и ведет практикум по музееведению на искусствоведческом отделении филологического факультета СаГУ, участвует в подготовке выставки детских рисунков в Доме Красной Армии, выступает с литературными работами. По возвращении в Москву А. М. Эфрос приступил в качестве профессора к чтению лекций по курсу истории декоративного и русского искусства в Государственном институте театрального искусства и в Школе-студии МХАТ. В ноябре 1944 г. А. М. Эфрос вошел в состав старших научных сотрудников только организованного под руководством И. Э. Грабаря Института истории искусств Академии наук СССР. Когда в обстановке большого патриотического подъема в августе 1944 г. в стране отмечалось столетие И. Е. Репина, А. М. Эфрос выступил в Союзе писателей с речью о художнике, вскоре напечатанной в переводе на французский язык в журнале «Интернациональная литература». Это было последним по времени его печатным критическим выступлением.

В 1945 г. А. М. Эфрос активно выступает как докладчик — на конференции театральных художников в Ленинграде, на чествовании Качалова в ВТО, на творческих вечерах И. Фрих-Хара и А. Осмеркина в МОССХ, на седьмой Шекспировской конференции. 25 декабря 1945 г. состоялся его исключительно глубокий, содержательный доклад в Третьяковской галерее «Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи», послуживший едва ли не главной причиной разнuzданной травли критика, начиная с 1947 г. В то же время А. М. Эфрос продолжает

свои историко-художественные исследования: в 1945—1946 гг. выпускает два дополнительных этюда о Пушкине-рисовальщике, в 1948 г. — статью о живописи Гонзаго в Павловске, работает над источниковедением русского искусства XVIII века, готовит книгу «Два века. Основные проблемы и явления русского искусства XVIII — начала XX вв.». В июле 1945 г. А. М. Эфрос был утвержден ВАК в ученном звании профессора по кафедре «История театра». В 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР награждает его медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В апреле 1947 г. совместно с А. К. Дживелеговым он выступает инициатором издания Академией наук СССР серии классических памятников мировой культуры. По докладу президента Академии С. И. Вавилова РИСО АН СССР принимает это предложение и поручает Дживелегову и Эфросу представить проект плана изданий (издание серии под названием «Литературные памятники» было начато в 1950 г., уже без участия ее инициаторов).

В 1947 и 1949 гг. критическая деятельность Эфроса, в частности, его книга 1930 г. «Профили», подверглись резкому осуждению в печати, сначала в связи с учреждением Академии художеств СССР во главе с А. М. Герасимовым, затем в ходе кампании против «космополитизма». Результатом этого было отстранение его от педагогической деятельности в ГИТИС и Школе-студии МХАТ в 1947 г., научной деятельности в Институте истории искусств в 1948 г. По приглашению А. В. Щусева в 1948—1949 гг. он работает консультантом проектного управления Академии наук СССР, весной 1949 г. в этом качестве наблюдает за ходом строительства Театра оперы и балета им. Навои в Ташкенте (надо думать, что отсутствие в Москве во время бушевавшей «антикосмополитической» истерии почти наверное спасло Эфроса от нового ареста).

В 1949—1950 учебном году Эфрос состоит внештатным профессором Государственного библиотечного института в Москве, а в сентябре 1950 г. Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР направляет его профессором кафедры искусствоведения в ГИТИС им. А.Н. Островского в Ташкенте. Здесь он читает курсы истории русского театра XIX века, истории театрально-декоративного оформления, ведет критический и историко-театральный семинары. В Ташкенте он завершает работу над переводами лирики Петрарки (вышли в свет в 1953 г.), переводит сонеты Данте, стихотворения, включенные в книгу Дж. Бруно «О героическом энтузиазме», и Ш. Бодлера. Летом 1954 г. тяжело заболевший А.М. Эфрос возвращается в Москву и здесь умирает 19 ноября 1954 г. Смерть помешала ему закончить начатый в больнице перевод латинского трактата Данте «О народной речи».

М.В. Толмачёв

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авенир (Абнер), *библ.* — 16
Авиноам, *библ.* — 9
Аврора, *миф.* — 123
Азон, ресторатор — 258–259
Аквилон, *миф.* — 121
Актеон, *миф.* — 113, 116
Александр, садовник у Вла-
менков — 196, 197
Альмерейда, Мигель — 232,
240
Альтман, Н. И. — 421
Амалик (Амалек), *библ.* — 10
Аминадав (Аминадаб), *библ.* —
37 (дважды)
Амур («Отрок»), *миф.* — 105,
106 (трижды), 118, 120
Анджелико, Фра Джованни —
183
Андре, Луи, ген. — 233
Анисимов, А. И. — 420
Аполлинер, Гийом (Гильом) —
191 (дважды), 258, 320–323
Аполлон (Феб), *миф.* — 113,
120, 141
Арам (Рам), *библ.* — 37 (дважды)
Аргус, *миф.* — 106
Асир (Ашер), *библ.*: его коле-
но (потомство) — 10
Астрей, *миф.* — 123
Баба-Яга, *сказ.* — 389
Бакст, Л. С. — 421, 423
Бакунин, М. А. — 381
Балиньский (Балинский),
Станислав — 413–416
Банс, Эмиль — 234
Барбюс, Анри — 341
Бартель, Макс — 341, 342
(трижды), 392–394
Бартрам, Н. Д. — 419
Бах, Йоханн Себастиан — 189
(дважды)
Белый, Андрей — 417
Бенеш, Эдуард — 424
Бенуа, А. Н. — 421
Бертийон, Альфонс — 324
Бертон, Р. — 340
Бетман-Холльвег, Теобальд
(«Канцлер») — 372, 374
Бетховен, Людвиг ван — 189,
190, 331

- Бехер, Йоханнес (Иоганнес) — 341, 342 (дважды), 344, 376—378, 385—386
- Бисмарк, Отто князь фон — 347
- Бог (Господь Бог; Создатель) — 157, 159, 164—186, 198 (дважды), 251, 304, 311, 312 (дважды), 336, 358, 376, 414, 415
- Богаевский, К. Ф. — 419
- Богоматерь (Дева Мария) — 155, 184, 233 (трижды), 400
- Богословский, Д. Ф. — 420
- Бодлер, Шарль — 137—161, 421, 428
- Бородин, А. П. (как автор «Князя Игоря») — 400
- Брак, Жорж — 258
- Бреси, гонщик — 277
- Броше, садовник у Вламенков — 196
- Бруно, Джордано — 103—134, 428
- Брюне, торговец лошадьми — 280, 282, 283
- Брюсов, В. Я. — 418
- Бугро, Адольф — 326
- Буротте, гонщик — 277
- Буссенар, Луи — 199
- Бюхнер, Людвиг — 232
- Вавилов, С. И. — 427
- Вагнер, Рихард (в т. ч. как автор «Тангейзера» и «Летучего голландца») — 188 (трижды)
- Вазари, Джорджо — 423
- Вакх, *миф.* — 113
- Валери, Поль — 423
- Валле, Жорж — 292—293
- Ван Гог, Винцент — 319—320, 402, 423
- Ван Гог, Тео («брат») — 319
- Вандерпиль, Фриц — 258
- Ван Донжён, Кес — 258, 402
- Ванна, монна — 94
- Варак (Барак), *библ.* — 9, 10
- Варлен, Луи Эжен — 384
- Василий, блаженный — 140, 397
- Васнецов, А. М. — 420
- Ватагин, В. А. — 419
- Ватто, Антуан — 423
- Вебер, Карл Мария фон (как автор «Фрейшю(т)ца / Вольного стрелка») — 188
- Венера (Киприда), *миф.* — 123 (дважды)

- Венецианов, А. Г. — 423
- Вениамин (Беньямин), *библ.* — 10
- Верди, Джузеппе (в т. ч. как автор «Риголетто») — 188 — 189
- Вересаев, В. В. — 421
- Верлен, Поль — 162—163
- Верн, Жюль — 202, 203
- Верфель, Франц — 340
- Верхарн, Эмиль — 336
- Веснины, В. А., Л. А. — 419
- Вильгельм (Вильхельм) II, германский император (кайзер) — 270, 276, 303—304
- Вильдрак, Шарль — 340
- Вильсон (Уилсон), Вудро — 190
- Вильямс, П. В. — 425
- Владимир, св. равноапостольный князь Киевский («Владимир-Солнце») — 389
- Вламенк, Морис де — 187—332
- Вламенк, М. де: его бабка — см. Рембо г-жа
- Вламенк, Морис деВламенк-дед — 211
- Вламенк-мать — 187, 197, 198 (трижды), 200, 214
- Вламенк-отец — 187, 193—195, 197—198, 205—207, 209—213, 214(дважды), 216, 218
- Воллар, Амбруз — 190, 257, 326
- Вооз (Бооз), *библ.* — 31 (трижды), 32 (трижды), 33 (трижды), 34 (пять раз), 35 (пять раз), 36 (трижды), 37 (трижды)
- Воронский, А. К. — 421
- Вулкан, *миф.* — 107, 122
- Газенклевер — см. Хазенклевер
- Гайдн (*собственно*: Хайдн), Йозеф — 189
- Галаад (Гилад), *библ.* — 10
- Галлиени (Галльени), Жозеф Симон — 305
- Гарнье, Ноэль — 358—364
- Гарпия, *миф.* — 106
- Гарро, Ролан — 268
- Гвиницелли, Гвидо — 94
- Герасимов, А. М. — 427
- Герхсмейер — см. Херхсмайер
- Герцен, А. И. — 381
- Гёте, Йоханн Вольфганг фон — 135—136, 424
- Гийом, Поль — 264
- Гильбо, Анри — 342, 342—343, 372—375, 394—406

- Гиршман, В. О. — 419
 Гоголь, Н. В. — 418
 Гойе (Гогие), Юрбен (Урбен) — 233
 Голованов, Н. С. — 400
 Гонзаго, Пьетро Готгардо — 427
 Гонкур, братья Жюль, Эдмон де — 232
 Гонкур, Эдмон де — 423
 Городецкий, С. М. — 336
 Горький, Максим — 421, 423
 Грабарь, И. Э. — 419
 (четырежды), 422, 423, 426
 Гранат, братья — 425
 Гудон (*собственно*: Удон), Жан Антуан — 191
 Гюго (*собственно*: Юго), Виктор — 153, 211, 232

 Давид, *библ.* — 16 (трижды), 17–18, 37 (дважды), 50
 Давид, Жак Луи — 423
 Дагон, *библ.* — 27
 Далида (Делила), *библ.* — 26–27
 Дан, *библ.*: его колено (потомство) — 10, 19
 Даная, *миф.* — 113
 Д'Аннунцио (д'Аннунцио), Габриэле — 335

 Данте Алигьери (Dante Alighieri) — 90–102, 423, 428 (дважды)
 Девора (Дебора), *библ.* — 8–12
 Делиб, Лео — 188
 Демель, Рихард — 335, 336
 Денель, Анри — 277–278, 280, 282
 Дерен, Андре — 234, 256–260, 262, 402
 Детай, Эдуар (Эдуард) — 300
 Дидро, Дени — 232
 Джанни, Лапо — 94
 Дживелегов, А. К. — 427
 (дважды)
 Диана («богиня»), *миф.* — 113
 Дмитриев, В. В. — 425
 Доде, Альфонс — 232
 Домогацкий, В. Н. — 419
 Дон Жуан, *легенд.* — 143–144
 Дон Луис, *легенд.* — 143
 Достоевский, Ф. М. — 381
 Дрейфус (*собственно*: Дрейфюс), Альфред — 234
 Дюамель, Жорж — 340, 365–369, 421
 Дюма-отец, Александр — 212
 Дюма-сын, Александр — 188
 Дюпюи, литератор — 259

- Дюриё, Жорж — 222—227
 Дюртен, Люк — 421
 Дягилев, С. П. — 423
- Ева, *библ.* — 157
 Елимелех (Элимелек), *библ.* —
 29 (дважды), 31, 35, 36
 Енукидзе, А. С. — 401
 Есром (Хесрон), *библ.* — 37
 (дважды)
 Ефрем, *библ.*: его колено (по-
 томство) и край — 10
- Жак, Анри — 340
 Жакоб, Макс — 258
 Жамм, Франсис — 335
 Жанна д'Арк, св. (*катол.*)—
 238
 Жарри, торговец красками —
 256
 Жарри, Альфред (как автор
 пьесы «Юбю-король») — 322
 Жерико, Теодор — 423
 Жув, Пьер Жан — 338 (дваж-
 ды), 339, 345—350
- Завулон (Збулон), *библ.*: его ко-
 лено (потомство) и край — 10
 (дважды)
- Замятин, Е. И. — 421
 Зием (Цием), Феликс — 330
 Зо д'Аксà (Zo d'Аха), журна-
 лист — 240
 Золя (Зола), Эмиль — 232,
 234, 240, 319
- Иаиль, *библ.* — 11
 Иаков, *библ.* — 7 (дважды),
 73, 75 (дважды)
 Иафет (Яфет), *библ.* — 5
 Иван IV Грозный, царь — 164,
 171—174
 Иден, Энтони граф Эйвон —
 424
 Иегова (Ягве), Господь Бог,
библ. — 5 (дважды), 6
 (трижды), 7 (дважды), 8—
 12, 12—15, 19 (трижды), 20
 (одиннадцать раз), 21 (че-
 тырежды), 23, 24, 25, 27, 28,
 29 (дважды), 30 (трижды),
 31 (трижды), 32 (четыреж-
 ды), 34, 35, 37 (трижды), 67,
 71, 72 (десять раз), 73 (во-
 семь раз), 74 (пять раз), 75
 (тринадцать раз), 76 (четыр-
 надцать раз), 78 (пять раз),
 79 (семь раз), 80 (четыре-

- надцать раз), 81 (четыре-
 ндцать раз), 82 (девять раз),
 83 (девять раз), 84 (тринад-
 цать раз), 86 (трижды), 87
 (дважды), 88 (трижды), 89
 (семь раз)
 Иеремия, *библ.* — 70—89
 Иессей (Исей, Ишай), *библ.* —
 16, 37 (трижды)
 Иисус Христос — 184, 241, 390
 Иксион, *миф.* — 108
 Ионафан, *библ.* — 17—18
 Иосиф Аримафейский, *еванг.* —
 184
 Исаак, *библ.* — 7 (дважды)
 Исав, *библ.* — 7
 Иссахар, *библ.*: его колено (по-
 томство) — 10 (дважды)
 Иуда, сын Иакова от Лии,
библ. — 37, 75, 76

 Кадм, *миф.* — 113
 Каин, *библ.* — 5, 391
 Карко, Франсис — 227
 Карпантье, композитор — 187
 Каутский, Карл — 395
 Качалов, В. И. — 426
 Кибела, *миф.* — 110
 Клемансо, Жорж («старец
 восьмидесяти лет») — 310
 Клемм, Вильгельм (Виль-
 гельм) — 339
 Клодель, Поль — 335, 336—337
 Кнебель, И. Н. — 418 (дважды)
 Кок, Поль де — 212
 Кокто, Жан — 191
 Командор, *легенд.* — 143
 Кон, Виллиам — 334
 Кондорсе, Жан Антуан маркиз
 де — 332
 Конрад, Джозеф — 264
 Кончаловский, П. П. — 420,
 424
 Коро, Камиль — 318, 326, 328
 Коровин, К. А. — 426
 Крезо — см. Шнейдер
 Крейцёр, Родольф? Жан Ни-
 колà Огюст? — 187, 189
 Кропоткин, П. А. кн. — 232
 Крупп фон Болен (Крупп), Гу-
 став (как глава концерна
 Крупп в 1914 г.) — 373
 Крымов, Н. П. — 419
 Крючков, Кузьма — 336
 Кузен, Виктор — 249, 250
 Кузнецов, П. В. — 419, 422
 Кузьмин, Н. В. — 424
 Купер, Фенимор — 212

- Купреянов, Н. Н. — 424
Курбе, Гюстав — 318
- Лабори, Фернан — 234
Ладжа, монна — 94
Ламартин, Альфонс де —
249
Леда, *миф.* — 113
Ле Дантек, Феликс — 232
Леклерк, Жорж, призывник —
289–291
Ле Купше, Феликс — 187
Лемех, *библ.* — 5 (трижды)
Ленин, Н. / В. И. — 334,
394–396, 401
Лентулов, А. В. — 424
Леонардо да Винчи — 423
Леон, грузчик — 293–295
Лепин, Луи — 330
Либертад, Жозеф — 240
Либкнехт, Вильгельм (Виль-
гельм) — 373 (дважды), 374, 375
Либкнехт, Карл — 340–341,
371, 372–375
Линдберг, Чарлз (Чарльз) —
214
Линтон, братья, гонщики —
277
Лиссауэр, Эрнст — 335, 336
- Лия (Лея), *библ.* — 37
Лонге, Жан — 395
Лорен, депутат — 276
Луи Филипп, король — 193
Луначарский, А. В. («Анато-
лий Васильевич») — 402,
423
Луппол, И. К. — 423
Лысогорский, Ондра —
407–412
Лютер, Мартин — 395
- Мазэ, Жак Франсуа Марк —
187, 189
Мак-Орлан, Пьер — 208
Малато, журналист — 240
Малёр, Антуан — 295–297
Маликоко, король — 252
Мальт-Брён, Конрад — 249
Маной (Маноах), *библ.* — 19
(пять раз), 20 (десять раз),
22, 28
Маной (Маноах): его жена,
библ. — 19–22
Мара, *библ.* — 31
Маринетти, Томмазо — 336
Мария Козодоев, св./мученица
— 289
Мария Косоглазая, служанка

- у Вламенков — 198—199
- Маркс, Карл — 232
- Марс, *миф.* — 402
- Мартине, Марсель — 338, 339, 342 (трижды), 343—344, 353—354, 354, 379—384
- Мартов, Л. / Ю. О. — 395
- Массне, Жюль (в т. ч. как автор «Иродиады») — 188 (дважды)
- Матисс, Анри — 402
- Матта́, г-жа — 241
- Махир, *библ.*: его колено (потомство) и край — 10
- Махлон, *библ.* — 29 (дважды), 36
- Машков, И. И. — 419
- Мейербер, Джакомо (в т. ч. как автор «Гугенотов» и «Семирамиды») — 188 (дважды)
- Мейерхольд, В. Э. — 422
- Мериме, Проспер — 423
- Меркурий, *миф.* — 113
- Меркуров, С. Д. — 419
- Микеланджело Буонарроти — 183—185, 425
- Мимиль, сержант — 287—289
- Мирбо, Октав — 319
- Мнемозина, *миф.* — 113
- Моисей, *библ.* — 164
- Молешотт (Молескотт), Якобус — 232
- Моне, Клод — 402
- Мопассан, Ги де — 232, 252
- Моцарт, Вольфганг Амадеус — 189, 190
- Муратов, П. П. — 419
- Мусоргский, М. П. (как автор «Бориса Годунова») — 400
- Мюзам, Эрих — 341, 342 (дважды), 344, 387—388
- Наассон (Нахшан), *библ.* — 37 (дважды)
- Навои, Алишер — 427
- Наполеон I, имп. — 204
- Невилль, Альфонс де — 300
- Немирович-Данченко, В. И. — 420
- Ненетта, марионетка — 329
- Нептун, *миф.* — 113, 133
- Нестеров, М. В. — 424
- Неффалим (Нафтали), *библ.*: его колено (потомство) — 10
- Нивинский, И. И. — 419
- Николай II, имп. («царь») — 240, 270
- Нимфы Темзы — 127, 134

- Ноай (Ноайль), Анна графиня де — 335
- Ноеминь (Нооми), *библ.* — 29 (трижды), 30 (трижды), 31 (семь раз), 32, 33 (пять раз), 34, 35, 36 (трижды), 37 (трижды)
- Ной, *библ.* — 5
- Овид (Овед), *библ.* — 37 (трижды)
- Одран, Эдмон (как автор оперетты «Мисс Хеллиетт / Геллиетт») — 189
- Оллан, актер — 258–259
- Осмеркин, А. А. — 426
- Островский, А. Н. — 428
- Остроухов, И. С. — 420
- Оттен, Карл — 339, 354–357
- Оффенбах, Жак (как автор оперетты «Дочь тамбур-мажора») — 189, 246
- Пан, *миф.* — 141
- Паскаль, Блез — 232
- Пелльё, ген. — 234
- Петр I Великий, имп. («император российский») — 164
- Петрарка, Франческо — 425, 428
- Пикассо, Пабло — 191, 203, 258 (дважды)
- Пиош, Жорж — 240, 342
- Писсарро (Писсаро), Камиль — 253
- Пистойя, Чино да — 95, 102
- Платтенберг, ген., барон фон — 336
- Поляков, С. А. — 419
- Прозерпина, *миф.* — 113
- Пророки, большие и малые, *библ.* — 132
- Пророки Иерусалима — 76, 77, 78, 79, 86–87
- Пуанкаре (*собственно*: Пуэнкаре), Анри — 262, 327
- Пуанкаре (*собственно*: Пуэнкаре), Реймон (Раймон) — 270, 336
- Пуансар, солдат — 221–222
- Пуссен, Никола — 318, 325, 326, 328
- Пуччини, Джакомо — 191
- Пушкин, А. С. — 423, 424 (трижды), 427
- Рабинович, И. М. — 420
- Равашоль, Франсуа Клодиус — 241

- Радек, К. Б. — 402
Ратине, рабочий — 303—305
Рафаэль (Санцио, Раффаэлло) — 183
Рахиль, *библ.* — 37
Рейёр, Эрнест (в т. ч. как автор оперы «Сигурд») — 188 (дважды)
Рейсдаль, Якоб ван — 236
Ремарю, генерал — 204—205, 206, 214
Ремарю, генеральша — 204
Рембо, г-жа (бабка М. Вламенка) — 192—193, 195—196, 202—204, 212, 214
Рембрандт ван Рейн — 248, 261
Ренуар, Огюст — 326
Репин, И. Е. — 426
Ригаль, Анри — 252—255
Риго — 189
Рильке, Райнер Мария — 164—186
Римский-Корсаков, Н. А. (как автор «Сказки о царе Салтане») — 400
Ринтинтин, марионетка — 329
Розанов, В. В. — 418
Роллан, Ромен — 340
Романов, Н. И. — 419
Ромен, Жюль — 340, 350—352
Рондель, Анри — 248
Роншоно, полковник — 238
Ростан, Эдмон — 335, 336, 340
Руабэ, Фердинан (Фердинанд) — 248
Рубенс, Питер Пауэл — 423
Рувим, *библ.*: его колено (потомство) — 10 (дважды)
Руссо, Анри («Таможенник») — 326—327
Руфь, *библ.* — 29—37
Рюд, Франсуа — 274
Сабашников, М. В. — 421
Садко, гуслир — 390
Салмон, *библ.* — 37 (дважды)
Сальмон, Андре — 259
Самегар (Самгар), *библ.* — 9
Самсон, *библ.* — 19—28
Самсон: его братья, *библ.* — 28
Самсон: его жена-филистимлянка, *библ.* — 22, 23 (дважды), 24
Самсон: отец его жены-филистимлянки, *библ.* — 23—24
Сарьян, М. С. — 419, 424
Сатана, дьявол — 137, 154
Сатурн, *миф.* — 113

- Саул, *библ.* — 16, 17–18
 Станарель, *легенд.* — 143
 Сезанн, Поль — 259, 319, 321–326, 326 (дважды), 402
 Сен-Санс, Камиль — 188
 Сернадà, Фернан — 234
 Серов, В. А. — 422
 Серова, О. В. — 422
 Сигон (Сихон), *библ.* — 8
 Сим, *библ.* — 5
 Сисара (Сисера), *библ.* — 11 (дважды), 12 (дважды)
 Соломон, *библ.* — 38–69
 Сос, ложно пропавший без вести на войне — 313
 Соффичи, Арденго — 335
 Станиславский, К. С. — 420
 Стивенсон, Роберт Луис — 264
 Суламита (Суламифь), *библ.* — 38–69
 Суламита (Суламифь): сестра ее, *библ.* — 68
 Суриков, В. И. — 420
 Сю, Эжен (Евгений) — 212
 Сюарес, Андре — 335
 Таван, композитор — 188
 Тайад, Лоран — 240 (дважды)
 Талия, *миф.* — 155
 Тансилло, Луиджи — 103–126
 Тереза из Лизьё, св. (*катол.*) — 238
 Террон, Шарль — 214
 Тибо, отец, учитель Вламенка — 201–202
 Тизифон, *миф.* — 106
 Титан, *миф.* — 122
 Тихонов, А. Н. — 421, 425
 Тозелли, Энрико — 191 (дважды)
 Толлер, Эрнст — 341, 357–358
 Толмачёв, М. В. — 1, 2, 4, 90, 327, 332, 333
 Толстой, Л. Н. граф — 381, 421
 Третьяковы, П. М., С. М. — 402
 Троцкая, Н. И. — 420
 Троцкий, Л. Д. — 379
 Тугендхольд, Я. А. — 421
 Тютчев, Ф. И. — 341
 Ульянов, Н. П. — 419
 Фаворский, В. А. — 419, 421
 Файоль, Ален де — 340 (дважды)
 Фальгьер, Александр — 248

- Фальк, Р. Р. — 421
Фамарь, *библ.* — 37
Фарес (Перес), *библ.* — 37
(трижды)
Феникс, *миф.* — 119, 120
Филу (Filloux), старуха —
311–312
Фихте, Йоханн Готтлиб — 347
Флажель, девица — 207–209
Фламарион, Камиль — 327
Фонвизин, А. В. — 424
Фор, Поль — 335, 336
Фор, Себастьян — 240
Фортон, Гаспар — 314–316
Фоссье, гонщик — 277
Франс, Анатолий — 421, 423
Фремон, Фредерик Анри —
234
Фрих-Хар, И. Г. — 426
- Хазенклевер (Газенклевер),
Вальтер — 340, 369–371
Ханаана (Канаана) цари,
библ. — 10
Харон, *миф.* — 143
Херхсмайер (Герхсмейер), Лу-
иза — 305
Хилеон (Кильон), *библ.* — 29
(дважды), 36 (дважды)
- Цвейг, Стефан — 340, 376, 421
Цезарь, Гай Юлий («Победо-
носный вождь») — 119
Цием — см. Зием
Цилла, *библ.* — 5
Цирцея, *миф.* — 127–132
- Чаянов, А. В. — 419
Чехов, А. П. — 417
Чуковский, К. И. — 421
- Шагал, М. З. — 421 (дважды)
Шанталь, св. (*катол.*) Жанна
де — 332
Шекспир, Уильям — 426
Шеналь, Марта — 310
Шенневьер, Жорж — 340, 342
(дважды), 344, 389–392
Шехтель, Ф. О. — 419
Шнейдёр, Эжен (как глава
концерта Крезю / Шней-
дер-Крезю в 1914 г.) — 373
Шодерло де Лакло, Пьер —
423
Штраус, Рихард (как автор
«Кавалера розы(роз)») —
369–371
Шуберт, Франц — 332
Щедрин, Сильв. Федос. — 423

Щербатов, С. А. кн. – 419
Щукин, С. И. – 419
Щусев, А. В. – 420, 427

Эльвира, *легенд.* – 143
Эль Греко (Греко), Доменико –
326
Энгр, Жан Огюст Доминик –
328
Эол, *миф.* – 118
Эррио, Эдуар (Эдуард) – 424
Эфрос, А. М. (Э., А.) – 2–4,
332, 333–344, 417–428

Эфрос, М. А. – 417
Эфрос, Н. Е. – 417

Юлий II, папа Римский (Джулио/
Юлий делла Ровере) – 184
Юон, К. Ф. – 418, 419
Юпитер (Зевс, «бог богов»),
миф. – 113, 122, 133–134

Яковлев, В. Н. – 420

Moore, T. Dr. – 90

СОДЕРЖАНИЕ

БИБЛЕЙСКАЯ ЛИРИКА. <i>Перевод с древнееврейского</i>	5
СКАЗАНИЯ О САМСОНЕ. <i>Перевод с древнееврейского</i>	19
КНИГА РУФЬ. <i>Перевод с древнееврейского</i>	29
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА. <i>Перевод с древнееврейского</i>	38
ПЛАЧ ИЕРЕМИИ. <i>Перевод с древнееврейского</i>	70
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ. ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН». <i>Перевод с итальянского</i>	90
СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КНИГИ ДЖОРДАНО БРУНО «О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ». <i>Перевод с итальянского</i>	103
ИЗ ГЁТЕ. ФУЛЬСКИЙ КОРОЛЬ. <i>Перевод с немецкого</i>	135
БОДЛЕР. ИЗ «Цветов зла». <i>Перевод с французского</i>	
Читателю	137
Альбатрос	139
Соответствия	139
Большая муза	140
Враг	141

Цыгане в пути	141
Человек и море	142
Дон Жуан в преисподней	143
Красота	144
Гигантша	144
«Ты согнала б весь мир в свой переулок...»	145
«Волной своих шелков нам застилая мир...»	146
«В ту ночь, что я провел с Еврейкою ужасной...»	147
Песнь Осени. I—II	147
«Дарю тебе стихи...»	149
Грустная луна	149
Треснувший колокол	150
Сплин («Плювиоз, хрипун, брюзга...»)	151
Сплин («Я словно царь страны...»)	151
Одержимость («Великие леса, вы жутки, как соборы...»)	152
Старушки. I—IV	153
Слепые	157
Прохожей	158
Разрушенье («Вокруг меня всегда юлит какой-то Демон...»)	158
Путешествие (<i>Фрагмент</i> : «Смерть, старый капитан...»)	159
Голос	159
«Смирись, о Скорбь моя...»	161
ИЗ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА. «В ПУТИ ПОВСТРЕЧАЛСЯ МНЕ РЫЦАРЬ...».	
<i>Перевод с французского</i>	162
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. ИЗ «РАССКАЗОВ О ГОСПОДЕ БОГЕ».	
<i>Перевод с немецкого</i>	
Чужой человек	164
Как завелась измена на Руси	168
Как случилось, что наперсток стал Господом Богом	175
О том, кто слышит камни	182
МОРИС ВЛАМЕНК. ПОВОРОТ! ОПАСНО! <i>Перевод с французского</i>	
Часть первая	187
Часть вторая	267

ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАПАДЕ

Абрам Эфрос. Введение	333
П.-Ж. Жув. Европа (<i>Фрагмент</i>). <i>Перевод с французского</i> ...	345
Жюль Ромен. Европа. <i>Перевод с французского</i>	350
М. Мартине. «Поэты Германии...». <i>Перевод с французского</i> .	353
Карл Оттен. Марселю Мартине. <i>Перевод с немецкого</i>	354
Эрнст Толлер. Солдаты. <i>Перевод с немецкого</i>	357
Нозль Гарнье. В траншее. <i>Перевод с французского</i>	358
Нозль Гарнье. Перед атакой . <i>Перевод с французского</i>	362
Ж. Дюамель. Баллада о человеке с разорванным горлом. <i>Перевод с французского</i>	365
Ж. Дюамель. Баллада о солдатской смерти. <i>Перевод с французского</i>	366
В. Газенклевер. Убийцы сидят в опере. <i>Перевод с немецкого</i> .	369
Анри Гильбо. Карл Либкнехт. <i>Перевод с французского</i>	372
Стефан Цвейг. Памятник Карлу Либкнехту. <i>Перевод с немецкого</i>	376
Иоганнес Бехер. Красный марш (<i>Фрагмент</i>). <i>Перевод с немецкого</i>	376
М. Мартине. За Советскую Россию. <i>Перевод с французского</i> .	379
М. Мартине. Песнь Красного Знамени. <i>Перевод с французского</i>	382
Иоганнес Бехер. Привет немецкого поэта РСФСР. <i>Перевод с немецкого</i>	385
Эрик Мюзам. Советская марсельеза. <i>Перевод с немецкого</i> ..	387
Ж. Шенневьер. Поэма о русском ребенке. <i>Перевод с французского</i>	389
Макс Бартель. Москва. <i>Перевод с немецкого</i>	392
Анри Гильбо. Из поэмы «Краскремль». <i>Перевод с французского</i> Ленин	394
Москва	396

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 1930–1940-Х ГОДОВ. *Перевод с польского*

Ондра Лысогорский	
Баллада о Яне Митуре	407
Ляшская песенка	408
Ташкентские арьки	408
Ташкентские тополи	410
Туман в горах	411
Станислав Балинский	
Спасенье	413
Баллада о двух свечах	414
Последняя мелодия. 1940	415
АБРАМ МАРКОВИЧ ЭФРОС. Биографическая справка	417
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	429

СОБРАНИЕ ТРУДОВ А.М. ЭФРОСА

Составление М.В. Толмачёва

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЕСТИ

Статьи, заметки и рецензии в газетах «Русские ведомости»
и «Свобода России». 1911–1918

Издано в 2015 г.

ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Издано в 2015 г.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШТУДИИ

(в двух выпусках с продолжающейся пагинацией)

Подготовлено к печати

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

А.Г.Венецианов в документах. Сильвестр Ф. Щедрин. Письма из Италии

Готовится к изданию

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА XVIII–НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Два века русского искусства.

Художники петровской поры (по новым материалам).

Юность Степана Щукина

Готовится к изданию

GALLICA

Готовится к изданию

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Готовится к изданию

О ТЕАТРЕ

Готовится к изданию

На задней стороне обложки –
фотопортрет А.М. Эфроса (1924)

Художественное оформление и макет –
Любовь Михайловна Ордынская,
Никита Георгиевич Ордынский

Научное издание

Эфрос Абрам Маркович

ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Верстка —

Ольга Николаевна Иванова

Подписано в печать 19.10.2015.

Формат 70х90/32

Тираж 300 экз.

Гарнитура PT Octava